

COMPET
MOGM

COMPET
MOGM

9

COMERCET
МОЭМ



СОМЕРСЕТ МОЭМ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ
ТОМАХ



КТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
2001

СОМЕРСЕТ МОЭМ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Том 9

РАССКАЗЫ

ТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
2001

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)
М87

Разработка оформления художника
И. МАРЕВА

Художник
Б. ЛАВРОВ

Мозм С.

М87 Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9: Рассказы / Пер с англ. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2001. — 376 с.

ISBN 5-300-02947-5 (т. 9)

ISBN 5-300-02728-6

Уильям Сомерсет Мозм (1874–1965) — один из самых проницательных писателей в английской литературе XX века. Его называют «английским Мопассаном». Ведущая тема произведений Мозма — столкновение незаурядной творческой личности с обществом.

В девятый том Собрания сочинений вошли рассказы С. Мозма, написанные в разные годы.

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)

ISBN 5-300-02947-5 (т. 9)
ISBN 5-300-02728-6

© ТЕРРА—Книжный клуб, 2001

РАССКАЗЫ



БЕЗВОЛОСЫЙ МЕКСИКАНЕЦ

— **В**ы любите макароны? — спросил Р.
— Что именно вы имеете в виду? — отозвался Эшенден. — Все равно как если бы спросили, люблю ли я стихи. Я люблю Китса, и Вордсворта, и Верлена, и Гете. Что вы подразумеваете, говоря про макароны: spaghetti, tagliatelli, vermicelli, fettuccini, tufali, farfalli или просто макароны?

— Макароны, — ответил Р., который был скуп на слова.

— Я люблю все простые блюда: вареные яйца, устрицы и черную икру, *truite au bleu*¹, лососину на вертеле, жареного барашка (предпочтительно седло), холодную куропатку, пирожок с патокой и рисовый пудинг. Но из всех простых блюд единственное, что я способен есть каждый божий день не только без отвращения, но с неослабевающим аппетитом, это — макароны.

— Рад слышать, так как хочу, чтобы вы съездили в Италию.

Эшенден прибыл в Лион для встречи с Р. из Женевы и, приехав первым, пробродил до вечера по серым, шумным и прозаичным улицам этого процветающего города. Теперь они сидели в ресторане на площади — Эшенден встретил Р. и привел его сюда, потому что, как считалось, во всей этой части Франции не было другого заведения, где бы так же хорошо кормили. Но поскольку в таком многолюдном месте (лионцы любят вкусно поесть) никогда не знаешь, не ловят ли чьи-нибудь любопытные уши каждое полезное сведение, которое сорвется с твоих уст, они беседовали лишь на безразличные темы. Роскошная трапеза подходила к концу.

¹ Отварная форель (*фр.*).

— Еще коньяку? — предложил Р.

— Нет, спасибо, — ответил Эшенден, более склонный к воздержанию.

— Надо, по возможности, скрашивать тяготы военного времени, — сказал Р., взял бутылку и налил себе и Эшендену.

Эшенден, сознавая, что ломаться дурно, смолчал, зато счел себя обязанным возразить против того, как шеф держит бутылку.

— Когда мы были молоды, нас учили, что женщину надо брать за талию, а бутылку за горлышко, — негромко заметил он.

— Хорошо, что вы мне сказали. Я буду и впредь брать бутылку за талию, а женщин обходить стороной.

Эшенден не нашелся, что ответить. Пока он маленькими глотками пил коньяк, Р. распорядился, чтобы подали счет. Он, бесспорно, был влиятельным человеком, от него зависели душой и телом многие его сотрудники, к его мнению прислушивались те, кто вершили судьбы империй; однако, когда надо было дать официанту на чай, такая простая задача приводила его в замешательство, заметное невооруженным глазом. Он опасался и переплатить и тем свалить дурака, и недоплатить, а значит, возбудить ледяное презрение официанта. Когда принесли счет, он протянул Эшендену несколько стофранковых бумажек и попросил:

— Рассчитайтесь с ним, ладно? Я не разбираюсь во французских ценах.

Слуга подал им пальто и шляпы.

— Хотите вернуться в гостиницу? — спросил Эшенден.

— Пожалуй.

Была еще совсем ранняя весна, но к вечеру вдруг сильно потеплело, и они шли, перекинув пальто через руку. Эшенден, зная, что шеф любит номера с гостинными, снял ему двухкомнатный номер, куда они теперь и направились. Гостиница была старомодная, помещения просторные, с высокими потолками. В гостиной стояла громоздкая, красного дерева мебель с обивкой из зеленого бархата, кресла чинно расставлены вокруг большого стола. По стенам на бледных обоях — крупные гравюры, изображающие битвы Наполеона, под потолком грандиозная люстра, первоначально газовая, но теперь переделанная под электрические лампочки. Они заливали неприветливую комнату сильным, холодным светом.

— Прекрасно, — входя, сказал Р.

— Не очень-то уютно, — заметил Эшенден.

— Согласен, но, судя по всему, это здесь самая лучшая комната, так что все превосходно.

Он отодвинул от стола одно из зеленых бархатных кресел, уселся и закурил сигару. И при этом распустил пояс и расстегнул китель.

— Раньше мне казалось, что нет ничего лучше манильской сигары, — сказал он, — но с начала войны я полюбил гаваны. Ну, да вечно она продолжаться не будет. — Углы его рта тронуло подобие улыбки. — Во всяком деле есть своя положительная сторона. Плох тот ветер, который никому не приносит удачи.

Эшенден сдвинул два кресла, одно — чтобы сидеть, другое — чтобы положить ноги. Р. посмотрел и сказал:

— Неплохая мысль, — и, подтянув к себе еще одно кресло, со вздохом облегчения уложил на бархат свои сапоги.

— Что за стеной? — спросил он.

— Ваша спальня.

— А с той стороны?

— Банкетный зал.

Р. встал и медленно прошелся по комнате, отворачивая край тяжелых репсовых портьер, выглянул, будто бы невзначай, в каждое окно, потом возвратился к своему креслу и снова уселся, удобно задрав ноги.

— Осторожность не мешает, — произнес он.

И задумчиво посмотрел на Эшендена. Его тонкие губы слегка улыбались, но белесые, близко посаженные глаза оставались холодными, стальными. Под таким взглядом с непривычки легко было растеряться. Но Эшенден знал, что шеф просто обдумывает, как лучше приступить к разговору. Молчание длилось минуты три. Потом Р. наконец сказал:

— Я жду к себе сегодня одного человека. Его поезд прибывает около десяти. — Он мельком взглянул на часы. — Этот человек носит прозвище Безволосый Мексиканец.

— Почему?

— Потому что он без волос и потому что мексиканец.

— Объяснение исчерпывающее, — согласился Эшенден.

— Он сам вам о себе все расскажет. Он человек разговорчивый. Я познакомился с ним, когда он сидел совсем

на мели. Он принимал участие в какой-то революции у них там в Мексике и вынужден был удрать налегке, в чем был. И когда я его нашел, то, в чем он был, уже тоже пришло в негодность. Захотите сделать ему приятное, называйте его «генерал». Он утверждает, что был генералом в армии Уэрты, да, помнится, Уэрты; во всяком случае, по его словам, если бы обстоятельства сложились иначе, он был бы сейчас военным министром и пользовался бы огромным весом. Он оказался для нас человеком весьма ценным. Худого про него не скажу. Вот только одно: любит пользоваться духами.

— А при чем тут я? — спросил Эшенден.

— Он едет в Италию. У меня для него имеется довольно щекотливое поручение, и я хочу, чтобы вы находились поблизости. Я не склонен доверять ему большие суммы. Он игрок и слишком любит женщин. Вы приехали из Женевы с паспортом на имя Эшендена?

— Да.

— У меня есть для вас другой, кстати дипломатический, на имя Сомервилла, с французской и итальянской визой. Думаю, что вам лучше ехать вместе. Он занятный тип, когда разойдется, и вам полезно будет познакомиться поближе.

— А что за поручение?

— Я еще не решил окончательно, насколько вас стоит посвящать в это дело.

Эшенден промолчал. Они сидели и смотрели друг на друга, как смотрят два незнакомых человека в одном купе, вчуже гадая, что собой представляет сосед.

— На вашем месте я бы говорить предоставил в основном генералу. Вам лучше не сообщать ему о себе ничего лишнего. Вопросов задавать он не будет, в этом могу поручиться, он в своем роде, как бы сказать, джентльмен.

— Кстати, а как его настоящее имя?

— Я зову его Мануэль. Не уверен, что ему это нравится, его имя — Мануэль Кармона.

— Насколько я понимаю из того, о чем вы умалчиваете, он проходимец высшей пробы.

Р. улыбнулся своими белесо-голубыми глазами.

— Пожалуй, это слишком сильно сказано. Конечно, он не учился в закрытой школе. Его понятия о честной игре не вполне совпадают с вашими и моими. Может быть, я и побоялся бы оставить вблизи от него золотой портсигар, но если он проиграет вам в покер, а потом стянет ваш

портсигар, он его тут же заложит, чтобы вернуть карточный долг. При мало-мальски удобном случае он непременно соблазнит вашу жену, но в трудную минуту поделится с вами последней коркой. Он будет проливать слезу у патефона, если ему завести «Ave Maria» Гуно, но попробуйте оскорбить его достоинство, и он пристрелит вас как собаку. В Мексике, например, считается оскорбительным становиться между человеком и его выпивкой, так вот, он рассказывал мне, что один голландец по неведению прошел как-то между ним и стойкой в баре, а он выхватил револьвер и застрелил его.

— И ничего ему не было?

— Нет, он принадлежит к одному из лучших семейств. Дело замаяли, в газетах было сообщение, что голландец кончил жизнь самоубийством. Так оно в каком-то смысле и было. Безволосый Мексиканец, кажется, не очень высоко ценит человеческую жизнь.

Эшенден, внимательно слушавший Р., чуть вздрогнул и взглянул пристальнее прежнего в желтое, изможденное, в глубоких складках лицо шефа. Он понимал, что это было сказано не просто так.

— На самом деле о ценности человеческой жизни говорится много вздора. С таким же успехом можно приписывать самостоятельную ценность фишкам, которыми пользуются в покере. Они стоят столько, сколько вы назначите. Для генерала, дающего бой, солдаты — всего-навсего фишки, и очень глупо будет, если он посентиментальничает и позволит себе относиться к ним как к людям.

— Но дело в том, что эти фишки умеют чувствовать и рассуждать и, если сочтут, что их растрачивают впустую, еще, глядишь, откажутся служить.

— Ну, да не о том речь. Мы получили сведения, что некто по имени Константин Андреади выехал из Константинополя, имея при себе ряд документов, которые нам нужны. Он грек, агент Энвера-паши, Энвер ему очень доверяет. Он дал ему устные поручения, настолько важные и секретные, что их сочтено невозможным доверить бумаге. Этот человек отплывает из Пирея на судне «Итака» и высадится в Бриндизи, откуда проследует в Рим. Депеши он должен доставить в Германское посольство, а устное сообщение передать лично послу.

— Так. Понятно.

В это время Италия еще сохраняла нейтралитет. Центральные державы напрягали все силы, стремясь удержать ее в этой позиции, а союзники давили на нее как могли, чтобы она объявила войну на их стороне.

— Мы ни в коем случае не хотим неприятностей с итальянскими властями, это могло бы привести к самым скверным последствиям. Но нельзя допустить, чтобы Андреади попал в Рим.

— Любой ценой?

— За деньгами дело не станет, — сардонически усмехнулся Р.

— И что предполагается предпринять?

— Это не ваша забота.

— Но у меня богатое воображение.

— Я хочу, чтобы вы вместе с Безволосым Мексиканцем поехали в Неаполь. Он сейчас рвется на Кубу. Его друзья готовят выступление, и он стремится быть поблизости, чтобы в удобный момент одним прыжком очутиться в Мексике. Ему нужны деньги. Я привез с собой некоторую сумму в американских долларах и сегодня же передам ее вам. Деньги лучше всего носите при себе.

— Много там?

— Порядочно, но я считал, что вам будет удобнее, если пакет окажется компактным, поэтому здесь тысячедолларовые банкноты. Вы вручите их Безволосому Мексиканцу в обмен на документы, которые везет Андреади.

На языке у Эшендена вертелся вопрос, но он его не задал. Вместо этого он спросил:

— А он знает, что от него требуется?

— Несомненно.

Раздался стук. Дверь отворилась — перед ними стоял Безволосый Мексиканец.

— Я приехал. Добрый вечер, полковник. Счастлив вас видеть.

Р. встал.

— Как доехали, Мануэль? Это мистер Сомервилл, он будет сопровождать вас в Неаполь, генерал Кармона.

— Приятно познакомиться, сэр.

Он с силой пожал Эшендену руку. Эшенден поморщился.

— У вас железные руки, генерал, — заметил он. Мексиканец бросил взгляд на свои руки.

— Я сделал маникюр сегодня утром. К сожалению, не очень удачно. Я люблю, чтобы ногти блестели гораздо ярче.

Ногти у него были заострены, выкрашены в ярко-красный цвет и, на взгляд Эшендена, блестели, как зеркальные. Несмотря на теплую погоду, генерал был в меховом пальто с каракулевым воротником. При каждом движении он источал резкий парфюмерный запах.

— Раздевайтесь, генерал, и закуривайте сигару, — пригласил Р.

Безволосый Мексиканец оказался довольно рослым и скорее худощавым, но производил впечатление большой физической силы; одет он был в модный синий костюм, из грудного кармана эффектно торчал край шелкового носового платка, на запястье поблескивал золотой браслет. Черты лица у него были правильные, но неестественно крупные, а глаза карие, с гляncем. У него совсем не было волос. Желтоватая кожа гладкая, как у женщины, ни бровей, ни ресниц; а на голове довольно длинный светло-каштановый парик, и локоны ниспадали на шею в нарочито артистическом беспорядке. Эти искусственные локоны и гладкое изжелта-бледное лицо в сочетании с франтовским костюмом создавали вместе облик, на первый взгляд слегка жутковатый. Безволосый Мексиканец был с виду отвратителен и смешон, но от него трудно было отвести взгляд — в его странности было что-то завораживающее.

Он сел и подпернул брючины, чтобы не разгладилась складка.

— Ну, Мануэль, сколько вы сегодня разбили сердец? — с насмешливым дружелюбием спросил Р.

Генерал обратился к Эшендену:

— Наш добрый друг полковник завидует моему успеху у прекрасного пола. Я убеждаю его, что он может добиться того же, если только послушает меня. Уверенность в себе — вот все, что необходимо. Если не бояться получить отпор, то никогда его и не получишь.

— Вздор, Мануэль, тут нужен ваш природный талант. В вас есть что-то для них неотразимое.

Безволосый Мексиканец рассмеялся с самодовольством, которое и не пытался скрыть. По-английски он говорил прекрасно, с испанским акцентом и с американской интонацией.

— Но раз уж вы спрашиваете, полковник, могу признаться, что разговорился в поезде с одной дамочкой, которая ехала в Лион навестить свекровь. Дамочка не так чтобы очень молодая и посухощавее, чем я люблю, но все же приемлемая и помогла мне скоротать часок-другой.

— А теперь перейдем к делу, — сказал Р.

— Я к вашим услугам, полковник. — Он посмотрел на Эшендена. — Мистер Сомервилл — человек военный?

— Нет, — ответил Р. — Он писатель.

— Что ж, как говорится, Божий мир состоит из разных людей. Я рад нашему знакомству, мистер Сомервилл. У меня найдется немало историй, которые вас заинтересуют; уверен, что мы с вами превосходно поладим, у вас симпатичное лицо. Сказать вам правду, я весь — сплошной комок нервов, и если приходится иметь дело с человеком, мне антипатичным, я просто погибаю.

— Надеюсь, наше путешествие будет приятным, — сказал Эшенден.

— Когда этот господин ожидается в Бриндизи? — спросил Мексиканец у Р.

— Он отплывает из Пирея на «Итаке» четырнадцатого. Вероятно, это какая-то старая калоша, но лучше, если вы попадете в Бриндизи загодя.

— Вполне с вами согласен.

Р. встал с кресла и, держа руки в карманах, присел на край стола. В своем потертом кителе с расстегнутым воротом он рядом с вылощенным, франтоватым Мексиканцем выглядел довольно непрезентабельно.

— Мистеру Сомервиллу почти ничего не известно о поручении, которое вы выполняете, и я не хочу, чтобы вы его посвящали. По-моему, вам лучше держать язык за зубами. Он уполномочен снабдить вас суммой, потребной для вашей работы, но какой именно образ действий вы выберете, его не касается. Разумеется, если вам нужен будет его совет, можете его спросить.

— Я редко спрашиваю и никогда не выполняю чужих советов.

— И если вы провалите операцию, надеюсь, я могу рассчитывать на то, что Сомервилл останется в стороне. Он не должен быть скомпрометирован ни при каких обстоятельствах.

— Я человек чести, полковник, — с достоинством ответил Безволосый Мексиканец, — и скорее позволю себя изрезать на мелкие куски, чем предам товарища.

— Именно это я только что говорил мистеру Сомервиллу. С другой стороны, если все пройдет удачно, Сомервилл уполномочен передать вам оговоренную сумму в обмен на бумаги, о которых у нас с вами шла речь. Каким образом вы их добудете, не его забота.

— Само собой разумеется. Я хочу только уточнить одно обстоятельство. Мистер Сомервилл, надеюсь, сознает, что дело, которое вы мне доверили, я предпринимаю не ради денег?

— Безусловно, — не колеблясь, ответил Р., глядя ему прямо в глаза.

— Я телом и душой на стороне союзников, я не могу простить немцам надругательства над нейтралитетом Бельгии, а деньги если и беру, то исключительно потому, что я прежде всего — патриот. Я полагаю, что мистеру Сомервиллу я могу доверять безоговорочно?

Р. кивнул. Мексиканец обернулся к Эшендену.

— Снаряжаются экспедиционные силы для освобождения моей несчастной родины от тиранов, которые ее эксплуатируют и разоряют, и каждый пенс, полученный мною, пойдет на ружья и патроны. Лично мне деньги не нужны: я солдат и могу обойтись коркой хлеба и горстью маслин. Есть только три занятия, достойные дворянина: война, карты и женщины; чтобы вскинуть винтовку на плечо и уйти в горы, деньги не нужны — а это и есть настоящая война, не то что всякие там переброски крупных частей и стрельба из тяжелых орудий, — женщины любят меня и так, а в карты я всегда выигрываю.

Эшендену начинала положительно нравиться эта необыкновенная, вычурная личность с надушенным платочком и золотым браслетом. Не какой-то там «средний обыватель», (чью тиранию мы клянем, но всегда, в конце концов, покоряемся), а яркое, живое пятно на сером фоне толпы, настоящая находка для ценителя диковин человеческой природы. В парике, несуразно мордастый и без единого волоса на коже, он был, бесспорно, по-своему импозантен и, несмотря на нелепую внешность, производил впечатление человека, с которым шутки плохи. Он был великолепен в своем самодовольстве.

— Где ваши пожитки, Мануэль? — спросил Р.

Возможно, что Мексиканец чуть-чуть, самую малость, нахмурился при этом вопросе, заданном, пожалуй, не без доли высокомерия, едва он успел закончить свою пышную тираду. Однако больше он ничем не выказал недовольства. Эшенден подумал, что он, наверно, считает полковника варваром, которому недоступны высокие чувства.

— На вокзале.

— У мистера Сомервилла дипломатический паспорт, он сможет, если угодно, провезти ваши вещи со своим багажом, без досмотра.

— Моя поклажа невелика, несколько костюмов и немного белья, но, пожалуй, будет действительно лучше, если мистер Сомервилл возьмет заботу о ней на себя. Перед отъездом из Парижа я купил полдюжины шелковых пижам.

— А ваши вещи? — спросил Р. у Эшендена.

— У меня только один чемодан. Он находится в моем номере.

— Велите отправить его на вокзал, пока еще в гостинице кто-то есть. Ваш поезд отходит в час десять.

— Вот как?

Эшенден только сейчас впервые услышал о том, что их отъезд назначен на ту же ночь.

— Я считаю, что вам надо попасть в Неаполь как можно скорее.

— Хорошо.

Р. встал.

— Не знаю, как кто, а я иду спать.

— Я хочу побродить по Лиону, — сказал Безволосый Мексиканец. — Меня интересует жизнь. Одолжите мне сотню франков, полковник. У меня при себе нет мелочи.

Р. вынул бумажник и дал генералу одну банкноту. Потом обратился к Эшендену:

— А вы что намерены делать? Ждать здесь?

— Нет, — ответил Эшенден. — Поеду на вокзал и буду там читать.

— Выпьем на прощанье виски с содовой. Вы как, Мануэль?

— Вы очень добры, но я пью только шампанское и коньяк.

— Смешиваете? — без тени улыбки спросил Р.

— Не обязательно, — совершенно серьезно ответил Мексиканец.

Р. заказал коньяк и содовую воду, им подали, он и Эшенден налили себе того и другого, а Безволосый Мексиканец наполнил свой стакан на три четверти неразбавленным коньяком и осушил его в два звучных глотка. А потом поднялся, надел пальто с каракулевым воротником, одной рукой взял свою живописную черную шляпу, а другую жестом романтического актера, отдающего любимую девушку тому, кто достойнее, протянул Р.

— Полковник, пожелаю вам доброй ночи и приятных сновидений. Вероятно, следующее наше свидание состоится не скоро.

— Смотрите, не наломайте дров, Мануэль, а в случае чего — помалкивайте.

— Я слышал, что в одном из ваших колледжей, где сыновья джентльменов готовятся в офицеры флота, золотыми буквами написано: «В британском флоте не существует слова «невозможно». Так вот, для меня не существует слова «неудача».

— У него много синонимов, — заметил Р.

— Увидимся на вокзале, мистер Сомервилл, — сказал Безволосый Мексиканец и с картинным поклоном удалился.

Р. поглядел на Эшендена с подобием улыбки, которое всегда придавало его лицу такое убийственно-проницательное выражение.

— Ну, как он вам?

— Ума не приложу, — ответил Эшенден. — Клоун? Самоупоение, как у павлина. С такой отталкивающей внешностью неужели он вправду покоритель дамских сердец? И почему вы считаете, что можете на него положиться?

Р. хмыкнул и потер ладони, как бы умывая руки.

— Я так и знал, что он вам понравится. Колоритная фигура, не правда ли? Я считаю, что положиться на него можно. — Взгляд его вдруг стал каменным. — По-моему, ему нет расчета играть с нами двойную игру. — Он помолчал. — Как бы то ни было, придется рискнуть. Сейчас я передам вам билеты и деньги и простимся; я страшно устал и пойду спать.

Десять минут спустя Эшенден отправился на вокзал. Чемодан двинулся вместе с ним на плече у носильщика.

Оставалось почти два часа до отхода поезда, и Эшенден расположился в зале ожидания. Здесь было светло, и он сидел и читал роман. Подошло время прибытия парижского поезда, на котором они должны были ехать до Рима, а Безволосый Мексиканец не появлялся. Эшенден, слегка нервничая, вышел поискать его на платформе. Эшенден страдал всем известной неприятной болезнью, которую называют «поездной лихорадкой»: за час до обозначенного в расписании срока он начинал опасаться, как бы поезд не ушел без него, беспокоился, что служители в гостинице так долго не несут его вещи из номера, сердился, что автобус до вокзала подают в самую последнюю секунду; уличные заторы приводили его в исступление, а медлительность вокзальных носильщиков — в бессловесную ярость. Мир, словно сговорившись, старался, чтобы он опоздал на поезд: встречные не давали выйти на перрон, у касс толпились люди, покупающие билеты на другие поезда, и так мучительно долго пересчитывали сдачу, на регистрацию багажа затрачивалась бездна времени, а если Эшенден ехал не один, то его спутники вдруг уходили купить газету или погулять по перрону, и он не сомневался, что они обязательно отстанут, то они останавливались поболтать неизвестно с кем, то им срочно надо было позвонить по телефону и они со всех ног устремлялись в здание вокзала. Просто какой-то вселенский комплот. И отправляясь в путешествие, Эшенден не переставал терзаться, покуда не усаживался на свое законное место в углу купе и чемодан уже лежал в сетке над головой, а до отхода поезда все еще добрых полчаса. Были случаи, когда он приезжал на вокзал настолько раньше времени, что поспевал на предыдущий поезд, но это тоже стоило ему нервов, ведь опять-таки выходило, что он едва не опоздал.

Объявили римский экспресс, но Безволосый Мексиканец не показывался; поезд подошел к платформе — а его все нет. Эшенден не на шутку встревожился. Он быстрыми шагами прохаживался по перрону, заглядывал в залы ожидания, побывал в отделении, где велась регистрация багажа, — Мексиканца нигде не было. Поезд был сидячий, но в Лионе много пассажиров сошло, и Эшенден занял два места в купе первого класса. Стоя у подножки, он озирали платформу и то и дело взглядывал на вокзальные часы. Ехать без Мексиканца не имело смысла, и он решил, как только

прозвучит сигнал к отправлению, вытащить из вагона свою поклажу, но зато уж он и задаст этому типу, когда тот отыщется. Оставалось три минуты, две, одна; вокзал опустел, все отъезжающие заняли свои места. И тут он увидел Безволосого Мексиканца — тот не спеша шел по платформе в сопровождении двух носильщиков с чемоданами и какого-то господина в котелке. Заметив Эшендена, Мексиканец помахал рукой:

— А-а, вот и вы, мой друг, а я-то думаю, куда он делся?

— Господи, да поторопитесь, поезд сейчас уйдет.

— Без меня не уйдет. Места у нас хорошие? Начальник вокзала ушел ночевать домой, это его помощник.

Господин в котелке в ответ на кивок Эшендена обнажил голову.

— Да, но это обыкновенный вагон. В таком я ехать не могу. — Он милостиво улыбнулся помощнику начальника вокзала. — Вы должны устроить меня лучше, *mon cher*.

— *Certainment, mon général*, я помещу вас в *salon-lit*. Само собой разумеется.

Помощник начальника вокзала повел их вдоль состава и отпер свободное купе с двумя постелями. Мексиканец удовлетворенно огляделся. Носильщики уложили багаж.

— Вот и прекрасно. Весьма вам обязан. — Он протянул господину в котелке руку. — Я вас не забуду и при следующем свидании с министром непременно расскажу ему, как вы были ко мне внимательны.

— Вы очень добры, генерал. Премного вам благодарен! Прозвучал свисток. Поезд тронулся.

— По-моему, это лучше, чем просто первый класс, — сказал Мексиканец. — Опытный путешественник должен уметь устраиваться с удобствами.

Но раздражение Эшендена еще не улеглось.

— Не знаю, какого черта вам понадобилось тянуть до последней секунды. Хороши бы мы были, если бы поезд ушел.

— Друг мой, это нам совершенно не грозило. Я по приезде уведомил начальника вокзала, что я, генерал Кармона, главнокомандующий мексиканской армии, прибыл в Лион для кратковременного совещания с английским фельдмаршалом, и просил его задержать отправку поезда до моего возвращения на вокзал. Я дал ему понять, что мое правительство, вероятно, сочтет возможным наградить его

орденом. А в Лионе я уже бывал, здешние женщины недурны, конечно, не парижский шик, но что-то в них есть, что-то есть, бесспорно. Хотите перед сном глоток коньяку?

— Нет, благодарю, — хмуро отозвался Эшенден.

— Я всегда на сон грядущий выпиваю стаканчик, это успокаивает нервы.

Он сунул руку в чемодан, не шаря, достал бутылку, сделал несколько внушительных глотков прямо из горлышка, утерся рукой и закурил сигарету. Потом разулся и лег. Этенден затенил свет.

— Сам не знаю, как приятнее засыпать, — раздумчиво проговорил Безволосый Мексиканец, — с поцелуем красивой женщины на губах или же с сигаретой во рту. Вы в Мексике не бывали? Завтра расскажу вам про Мексику. Спокойной ночи.

Вскоре по размеренному дыханию Эшенден понял, что его спутник уснул, а немного погодя задремал и сам. Когда через непродолжительное время он проснулся, Мексиканец крепко, спокойно спал; пальто он снял и укрылся им вместо одеяла, а парик на голове оставил. Вдруг поезд дернулся и, громко скрежеща тормозами, остановился; и в то же мгновение, не успев еще Эшенден осознать, что произошло, Мексиканец вскочил и сунул руку в карман брюк.

— Что это? — возбужденно выкрикнул он.

— Ничего. Семафор, наверно, закрыт.

Мексиканец тяжело сел на свою полку. Эшенден включил свет.

— Вы так крепко спите, а просыпаетесь сразу, — заметил он.

— Иначе нельзя при моей профессии.

Эшенден хотел было спросить, что подразумевается: убийства, заговоры или командование армиями, — но промолчал из опасения оказаться нескромным. Генерал открыл чемодан и вынул бутылку.

— Глотните, — предложил он Эшендену. — Если внезапно просыпаетесь среди ночи, нет ничего лучше.

Эшенден отказался, и он опять поднес горлышко ко рту и перелил к себе в глотку щедрую порцию коньяка. Потом вздохнул и закурил сигарету. На глазах у Эшендена он уже почти осушил бутылку, и вполне возможно, что не первую со времени прибытия в Лион, однако был совершенно трезв. По его поведению и речи можно было

подумать, что за последние сутки он не держал во рту ничего, кроме лимонада.

Поезд двинулся, и Эшенден снова уснул. А когда проснулся, уже наступило утро, и, лениво перевернувшись на другой бок, он увидел, что Мексиканец тоже не спит. Во рту у него дымилась сигарета. На полу под диваном валялись окурки, и воздух был прокуренный и сизый. С вечера он уговорил Эшендена не открывать окно на том основании, что ночной воздух якобы очень вреден.

— Я не встаю, чтобы вас не разбудить. Вы первый займетесь туалетом или сначала мне?

— Мне не к спеху, — сказал Эшенден.

— Я привык к походной жизни, у меня это много времени не займет. Вы каждый день чистите зубы?

— Да, — ответил Эшенден.

— Я тоже. Этому я научился в Нью-Йорке. По-моему, хорошие зубы — украшение мужчины.

В купе был умывальник, и генерал, плюясь и кашляя, старательно вычистил над ним зубы. Потом он достал из чемодана флакон одеколона, вылил немного на край полотенца и растер себе лицо и руки. Затем извлек гребенку и тщательно, волосок к волоску, причесал свой парик — то ли парик у него не сбился за ночь, то ли он успел его поправить на голове, пока Эшенден еще спал. И наконец, вынув из чемодана другой флакон, с пульверизатором, и выпустив целое облако благоуханий, опрыскал себе рубашку, пиджак, носовой платок, после чего, с выражением полнейшего самодовольства, в сознании исполненного долга перед миром обратился к Эшендену со словами:

— Ну вот, теперь я готов грудью встретить новый день. Оставляю вам мои принадлежности, не сомневайтесь насчет одеколона, это лучшая парижская марка.

— Большое спасибо, — ответил Эшенден, — но все, что мне нужно, это мыло и вода.

— Вода? Я лично не употребляю воду, разве только когда принимаю ванну. Вода очень вредна для кожи.

На подъезде к границе Эшендену вспомнился недвусмысленный жест Мексиканца, разбуженного среди ночи, и он предложил:

— Если у вас есть при себе револьвер, лучше отдайте его мне. У меня дипломатический паспорт, меня едва ли станут обыскивать, вами же могут и поинтересоваться, а нам лишние осложнения ни к чему.

— Его и оружием-то назвать нельзя, так, детская игрушка, — проворчал Мексиканец и достал из брючного кармана заряженный револьвер устрашающих размеров. — Я не люблю с ним расставаться даже на час, без него я чувствую себя словно бы не вполне одетым. Но вы правы, рисковать нам не следует. Я вам и нож вот отдаю. Я вообще предпочитаю револьверу нож, по-моему, это более элегантное оружие.

— Дело привычки, наверно, — сказал Эшенден. — Должно быть, для вас нож как-то естественнее.

— Спустить курок каждый может, но чтобы действовать ножом, нужно быть мужчиной.

Одним, как показалось Эшендену, молниеносным движением он расстегнул жилет, выхватил из-за пояса и раскрыл длинный, смертоубийственный кинжал. И протянул Эшендену с довольной улыбкой на своем крупном, уродливом, голом лице.

— Отличная, между прочим, вещица, мистер Сомервилл. Лучшего клинка я в жизни не видел — острый, как бритва, и прочный, режет и папиросную бумагу, и дуб может срубить. Устройство простое, не ломается, а в сложенном виде — ножик как ножик, такими школяры делают зарубки на партах.

Он закрыл нож и передал Эшендену, и Эшенден упрятал его в карман вместе с револьвером.

— Может быть, у вас еще что-нибудь есть?

— Только руки, — с вызовом ответил Мексиканец. — Но ими, я думаю, на таможне не заинтересуются.

Эшенден припомнил его железное рукопожатие и внутренне содрогнулся. Руки у Мексиканца были длинные, кисти большие, гладкие, без единого волоска, с заостренными, ухоженными красными ногтями — действительно, довольно страшные руки.

Эшенден и генерал Кармона порознь прошли пограничные формальности, а потом, в купе, Эшенден вернул ему револьвер и нож. Мексиканец облегченно вздохнул:

— Ну вот, так-то лучше. А что, может быть, сыграем в карты?

— С удовольствием, — ответил Эшенден.

Безволосый Мексиканец опять открыл чемодан и вытащил откуда-то из глубины засаленную французскую колоду. Он спросил, играет ли Эшенден в экарте, услышал, что не

играет, и предложил пикет. Эта игра была Эшендену в какой-то мере знакома, договорились о ставках и начали. Поскольку оба были сторонниками скорых действий, играли в четыре круга, вместо шести, удваивая очки в первом и последнем. Эшендену карта шла неплохая, но у генерала всякий раз оказывалась лучше. Вполне допуская, что его партнер не полагается только на слепой случай, Эшенден все время был начеку, но ничего мало-мальски подозрительного не заметил. Он проигрывал кон за коном — генерал расправлялся с ним, как с младенцем. Сумма его проигрыша все возрастала и достигла примерно тысячи франков, что по тем временам было достаточно много. А генерал одну за другой курил сигареты, которые сам себе скручивал с фантастическим проворством — завернет одним пальцем, лизнет, и готово. Наконец он откинулся на спинку своей полки и спросил:

— Между прочим, друг мой, британское правительство оплачивает ваши карточные проигрыши, когда вы при исполнении?

— Разумеется, нет.

— В таком случае, я нахожу, что вы проиграли достаточно. Другое дело, если бы это шло в счет ваших издержек, тогда я предложил бы вам играть до самого Рима, но я вам симпатизирую. Раз это ваши собственные деньги, я больше у вас выигрывать не хочу.

Он собрал карты и отодвинул колоду. Эшенден без особого удовольствия вынул несколько банкнот и отдал Мексиканцу. Тот пересчитал их, с присущей ему аккуратностью сложил стопкой, перегнул пополам и спрятал в бумажник. А потом протянул руку и почти ласково потрепал Эшендена по колену.

— Вы мне нравитесь, вы скромны и незаносчивы, в вас нет этого высокомерия ваших соотечественников, и я знаю, вы правильно поймете совет, который я вам дам. Не играйте в пикет с людьми, вам незнакомыми.

Наверно, на лице у Эшендена отразилась досада, потому что Мексиканец схватил его за руку.

— Мой дорогой, я не оскорбил ваши чувства? Этого мне бы никак не хотелось. Вы играете в пикет вовсе не хуже других. Не в этом дело. Если нам с вами придется дольше быть вместе, я научу вас, как выигрывать в карты. Ведь играют ради денег, и в проигрыше нет смысла.

— Я думал, все дозволено только в любви и на войне, — усмехнулся Эшенден.

— Ага, я рад, что вы улыбаетесь. Именно так надо встречать поражение. Вижу, у вас хороший характер и умная голова. Вы далеко пойдете в жизни. Когда я снова окажусь в Мексике и ко мне возвратятся мои поместья, непременно приезжайте погостить. Я приму вас, как короля. Вы будете ездить на лучших моих лошадях, мы с вами вместе посетим бои быков, и если вам приглянется какая-нибудь красotka, только скажите слово, и она ваша.

И он стал рассказывать Эшендену о своих обширных мексиканских владениях, о гасиендах и рудниках, которые у него отобрали. Он живописал свое бывшее феодальное величие. Правда это была или нет, не имело значения, потому что его певучие, сочные фразы источали густой аромат романтики. Он рисовал Эшендену иную, несовременную, широкую жизнь и картинными жестами словно расстилал перед ним неоглядные бурные дали, и зеленые моря плантаций, и огромные стада, и в лунном свете ночей песнь слепых певцов, которая тает в воздухе под гитарный звон.

— Все, все мною утрачено. В Париже я дошел до того, что зарабатывал на кусок хлеба уроками испанского языка или таскался с американцами — я хочу сказать: *americanos del norte*¹, — показывал им ночную жизнь города. Я, который швырял по тысяче *duros* за один обед, принужден был побираться, как слепой индеец. Я, кому в радость было застегнуть брильянтовый браслет на запястье красивой женщины, пал так низко, что принял костюм в подарок от старой карги, которая годилась мне в матери. Но — терпение. Человек рожден, чтобы мучиться, как искры — чтобы лететь к небу, но несчастья не вечны. Наступает час, когда мы нанесем удар.

Он взялся за свою засаленную колоду и разложил карты на маленькие кучки.

— Посмотрим, что нам скажут карты. Карты не лгут. Ах, если бы только я им больше доверял, мне не пришлось бы совершить тот единственный в моей жизни поступок, который с тех пор камнем висит у меня на душе. Совесть моя чиста. Я поступил так, как и следовало мужчине, однако очень сожалею, что необходимость толкнула меня на

¹ Североамериканцами (*исп.*).

поступок, которого я всей душой предпочел бы не совершать.

Он стал просматривать карты в кучках, часть из них отбрасывал по какому-то не понятному для Эшендена принципу, потом оставшиеся перетасовал и опять разложил по кучкам.

— Карты меня предостерегали, не стану этого отрицать, предостерегали внятно и недвусмысленно. Любовь, прекрасная брюнетка, опасность, измена и смерть. Ясно как день. Любой дурак бы на моем месте понял, о чем речь, а ведь я имел дело с картами всю жизнь. Шагу, можно сказать, не ступал, не посоветовавшись с ними. Непростительно. Я просто потерял голову. О, вы, люди северных рас, разве вы знаете, что такое любовь, как она лишает сна и аппетита и ты таешь, словно от лихорадки. Разве вы понимаете, какое это безумство, ты делаешься словно помешанный и ни перед чем не остановишься, чтобы только утолить свою страсть. Такой человек, как я, когда влюбляется, способен на любую глупость, и на любое преступление, *si, señor*¹, и на героизм. Он взберется на горы выше Эвереста и переплывет моря шире Атлантики. Он — бог, он — дьявол. Женщины — моя погибель.

Безволосый Мексиканец еще раз перебрал карты в кучках, опять одни отбросил, другие оставил. И перетасовал.

— Меня любило много женщин. Говорю это не из тщеславия. Почему, не знаю. Просто — факт. Поезжайте в Мехико и спросите, что там известно про Мануэля Кармону и его победы. Спросите, много ли женщин устояло перед Мануэлем Кармоной.

Эшенден внимательно смотрел на него, а сам тревожно думал: что, если проницательнейший Р., всегда с таким безошибочным чутьем избиравший орудия своей деятельности, на этот раз все-таки ошибся? Ему было слегка не по себе. Неужели Безволосый Мексиканец действительно считает себя неотразимым, или же он просто жалкий хвастун? Между тем генерал после повторных манипуляций отбросил все карты, кроме четырех последних, и эти четыре вверх рубашками уложил перед собой в ряд. Он по очереди потрогал их одним пальцем, но переворачивать не стал.

¹ Да, сударь (*исп.*).

— В них — судьба, — произнес он, — и никакая сила на свете не может ее изменить. Я в нерешительности. Всякий раз в последнюю минуту я колеблюсь и принужден делать над собой усилие, чтобы открыть карты и узнать о несчастьи, быть может, меня ожидающем. Я не из трусливых, но были случаи, когда на этом самом месте мне так и не хватало храбрости взглянуть на четыре решающих карты.

И действительно, он поглядывал на карточные рубашки с откровенной опаской.

— Так о чем я вам рассказывал?

— О том, что женщины не могут устоять перед вашим обаянием, — сухо напомнил Эшенден.

— И все же однажды нашлась такая, которая осталась равнодушна. Я увидел ее в одном доме, в casa de mujeres¹ в Мехико, она спускалась по лестнице, а я как раз поднимался навстречу; не такая уж красавица, у меня были десятки куда красивее, но в ней было что-то, что запало мне в душу, и я сказал старухе, которая содержала тот дом, чтобы она ее ко мне прислала. Будете в Мехико, вы эту старуху узнаете, ее там зовут Маркиза. Она сказала, что та женщина у нее не живет, а только иногда приходит, и что она уже ушла. Я велел, чтобы завтра вечером она меня дождалась, но на завтра меня задержали дела, и, когда я приехал, Маркиза мне передала от нее, что она не привыкла ждать и уехала. Я человек покладистый, я не против женских капризов и причуд, они придают женщинам прелести, поэтому я только смеюсь, посылаю ей бумажку в сто duros и с ними — обещание, что завтра буду пунктуальнее. Но на завтра, когда я являюсь, минута в минуту, Маркиза возвращает мне мою сотню и объясняет, что моей избраннице я не нравлюсь. Такая дерзость меня совсем рассмешила. Я снял у себя с пальца бриллиантовый перстень и велел старухе передать ей — может быть, это заставит ее изменить свое отношение. Утром Маркиза приносит мне за перстень... красную гвоздику. Что тут будешь делать, сердиться или смеяться? Я не привык встречать преграды моим желаниям и никогда не жалею, если нужно потратить деньги (зачем они вообще, как не затем, чтобы тратить их на хороших женщин?), и я велел Маркизе пойти к этой женщине и сказать, что я дам ей тысячу duros за то, чтобы она сегодня

¹ Публичный дом (исп.).

вечером со мной пообедала. Старуха ушла и возвращается с ответом, что та придет, но при условии, что сразу же после обеда я отпущу ее домой. Я пожал плечами и согласился. У меня и в мыслях не было, что она это всерьез, думал, просто набивает себе цену. И вот она приехала обедать ко мне домой. Не особенно красива, так я, кажется, вам сказал? Самая прекрасная, самая очаровательная из всех женщин, каких я встречал в жизни. Я был околдован. И прелестная, и такая остроумная. Все совершенства настоящей андалусской красавицы. Словом, обворожительнейшая женщина. Я спросил, почему она так со мной нелюбезна, — она засмеялась мне в лицо. Я из кожи лез, чтобы расположить ее к себе. Пустил в ход все мое искусство. Превзошел самого себя. Но как только мы кончили обедать, она поднялась из-за стола и простилась, пожелав мне спокойной ночи. Я спросил, куда она собралась. Она отвечает, что я обещал ее отпустить и как человек чести должен сдерживать слово. Я спорил, уговаривал, бушевал, безумствовал — она стояла на своем. Единственное, чего мне удалось от нее добиться, это согласия завтра опять прийти ко мне обедать на тех же условиях.

Вы скажете, я вел себя как последний дурак? Я был счастливейший из людей; семь вечеров подряд я платил ей по тысяче *duros* за то, что она приходила ко мне обедать. Каждый вечер я ждал, обмирая от волнения, как *novillero*¹ перед первым боем быков, и каждый вечер она играла мной, и смеялась, и кокетничала, и доводила меня до иступления. Я влюбился без памяти. Я за всю мою жизнь, ни прежде, ни потом, никого так страстно не любил. Я забыл обо всем на свете. Ни о чем другом не думал. Я патриот, я люблю родину. Нас собрался небольшой кружок единомышленников, и мы решили, что невозможно больше терпеть деспотизм властей, от которого мы так страдаем. Все прибыльные должности доставались другим, нас облагали налогами, словно каких-то торгашей, и постоянно подвергали невыносимым унижениям. У нас были средства и были люди. Мы разработали планы и уже приготовились выступить. Мне столько всего нужно было сделать — говорить на сходках, добывать патроны, рассылать приказы, — но я был так

¹ Начинающий тореадор (*исп.*).

околдован этой женщиной, что ничему не мог уделить внимания.

Вы, может быть, думаете, что я сердился за то, что она мной помыкает — мной, который привык удовлетворять свою малейшую прихоть; но я считал, что она отказывает мне не нарочно, не для того, чтобы меня распалить, я принимал на веру ее слова, что она отдастся мне, только когда полюбит. И что от меня зависит, чтобы она меня полюбила. Для меня она была ангел. Ради нее я согласен был ждать. Меня сжигало такое пламя, что рано или поздно, я знал, вспыхнет и она — так степной пожар охватывает все на своем пути. И наконец! Наконец, она сказала, что любит. Я испытал безумное волнение, я думал, что упаду и умру на месте. Какой восторг! Какое счастье! Я готов был отдать ей все, что у меня есть, сорвать звезды с неба и украсить ей волосы, мне хотелось сделать для нее что-нибудь такое, чтобы доказать всю безмерность моей любви, сделать невозможное, немыслимое, отдать ей всего себя, свою душу, свою честь, все, все, чем владею и что представляю собой; и в ту ночь, когда она лежала у меня в объятьях, я открыл ей тайну нашего заговора и назвал его зачинщиков. Я кожей ощутил, как она вдруг насторожилась, почувствовал, как вздрогнули ее ресницы, было что-то, сам не знаю что, может быть, холодная, сухая ладонь, гладившая меня по лицу, но меня вдруг пронзило подозрение, и сразу же вспомнилось, что предрекали карты: любовь, прекрасная брюнетка, опасность, измена и смерть. Трижды предостерегли меня карты, а я им не внял. Но виду я не подал. Она прижалась к моему сердцу и пролепетала, что это так страшно, неужели и такой-то замешан? Я ответил, что да. Мне надо было удостовериться. Понемножку, с бесконечной хитростью, между поцелуями, она выманила у меня все подробности заговора, и теперь я знал наверняка, как знаю, что вы сейчас тут сидите, что она — шпионка, шпионка президента, подосланная, чтобы завлечь меня дьявольскими чарами и выведать у меня наши секреты. И вот теперь мы все у нее в руках, и если она покинет это помещение, можно не сомневаться, что через сутки никого из нас не будет в живых. А я ее любил, любил; о, слова не в силах передать муку желаний, сжигавших мое сердце! Такая любовь — не радость, это боль, но боль восхитительная, которая слаще радости; небесное томление, которое,

говорят, переживают святые, когда их охватывает божественный экстаз. Я понимал, что живая она не должна от меня уйти, и боялся, что, если промедлю, у меня может не хватить храбрости.

— Я, пожалуй, посплю, — сказала она мне.

— Спи, любовь моя, — ответил я.

— *Alma de mi corazón*, — так она меня назвала — «душа моего сердца».

То были ее последние слова. Тяжелые ее веки, темные, как синий виноград, и чуть в испарине, тяжелые ее веки сомкнулись, и скоро по размеренному колыханию ее груди, соприкасающейся с моей, я убедился, что она заснула. Ведь я ее любил, я не мог допустить, чтобы она испытала мучения; да, она была шпионка, но сердце велело мне избавить ее от знания того, чему предстояло свершиться. Странно, но я не питал к ней зла за то, что она предательница; мне следовало бы ненавидеть ее за коварство, но я не мог, я только чувствовал, что на душу мне снизошла ночь. Бедная, бедная. Я готов был плакать от жалости. Я осторожно высвободил из-под нее руку, это была левая рука, правая у меня была свободна, и приподнялся, опираясь на локоть. Но она была так хороша, мне пришлось отвернуться, когда я со всей силой полоснул ножом поперек ее прекрасного горла. Не пробудившись, она от сна перешла в смерть.

Он замолчал, задумчиво глядя на четыре карты, которые все еще ждали своей очереди, лежа вверх рубашками.

— А на картах все это было. Ну почему я их не послушал? Нет, не хочу на них смотреть. Будь они прокляты. Пусть убираются.

И от взмаха его руки вся колода разлетелась по полу.

— Я неверующий, а все же заказал по ней заупокойную службу. — Он откинулся, свернул сигарету и глубоко затянулся. Потом пожал плечами и спросил: — Вы ведь, полковник говорил, писатель? Что вы пишете?

— Рассказы, — ответил Эшенден.

— Детективные?

— Нет.

— Почему же? Я лично других не читаю. Если бы я был писателем, то непременно писал бы детективы.

— Это очень трудно. Столько всего надо предусмотреть. Один раз я задумал рассказ про убийство, но оно было такое хитроумное, мне самому было непонятно, как разоб-

лечить убийцу, а ведь одно из требований жанра в том как раз и состоит, чтобы тайна, в конце концов, раскрывалась и преступник получал по заслугам.

— Если у вас убийство действительно такое хитроумное, единственный способ доказать вину убийцы — это вскрыть мотивы. Когда мотивы обнаружены, появляются шансы наткнуться и на улики, которых раньше не замечали. А без мотивов даже самые красноречивые улики будут неубедительны. Представьте себе, например, что однажды в безлунную ночь на пустынной улице вы подошли к прохожему и вонзили ему нож в сердце. Ну кому придет в голову подумать на вас? Но если это любовник вашей жены, или ваш брат, или если он вас обманул или оскорбил, тогда клочка бумаги, обрывка веревки или случайной обмолвки может оказаться довольно, чтобы привести вас на виселицу. Докопаются, где вы находились в момент убийства. Обязательно найдутся люди, которые вас видели незадолго перед этим и сразу потом. Но если убитый не имел к вам отношения, никому не придет в голову вас заподозрить. Джек-Потрошитель вон ходил себе по городу, покуда не попался прямо с поличным.

Эшенден по нескольким причинам был склонен переменить тему разговора. В Риме им предстояло расстаться, и надо было успеть обо всем условиться. Мексиканец из Рима ехал в Бриндизи, а Эшенден — в Неаполь. Там он намерен был поселиться в «Отель де Белфаст» — большой второразрядной гостинице вблизи порта, в которой останавливались коммивояжеры и туристы попроще. Генералу следовало знать, в каком номере его можно найти, чтобы в случае чего прямо подняться к нему, не справляясь у портье. Поэтому на следующей остановке Эшенден купил в станционном буфете конверт и дал Мексиканцу, чтобы тот своей рукой написал собственное имя и адрес до востребования в Бриндизи. Теперь Эшендену оставалось только вложить листок с номером и опустить письмо в почтовый ящик.

Безволосый Мексиканец пожимал плечами.

— По мне, так все это детские уловки. Риска нет никакого. Ну, а уж если что случится, можете быть уверены, что на вас не падет и тени подозрения.

— Работа такого рода мне плохо знакома, — сказал Эшенден. — Я предпочитаю придерживаться инструкций

полковника и знать только то, что мне совершенно необходимо.

— Вот именно. Если обстоятельства вынудят меня прибегнуть к крайним мерам и случится осечка, я, естественно, буду считаться политическим заключенным, а Италия рано или поздно все-таки должна будет выступить на стороне союзников, и меня освободят. Как видите, я все предусмотрел. Но вас я убедительно прошу не беспокоиться об исходе нашего дела, для вас пусть это будет просто пикник на берегу Темзы.

Все же, когда они наконец расстались и Эшенден очутился один в купе на пути в Неаполь, он вздохнул с великим облегчением. Он рад был, что избавился от своего болтливового, зловещего, фантастического спутника. Мексиканец поехал в Бриндизи на встречу с Константином Адреади, а если хотя бы половина из его рассказов — правда, Эшендену оставалось только поздравить себя с тем, что не он находится на месте этого грека. Интересно, что тот за человек? Становилось жутковато при мысли, что он со своими секретными документами и опасными тайнами плывет сейчас по синему Ионическому морю и, ничего не подозревая, засовывает голову прямо в петлю. Ну да война есть война, и только глупцы думают, будто можно воевать в лайковых перчатках.

По приезде в Неаполь Эшенден снял комнату в гостинице, печатными цифрами записал номер на листке бумаги и отправил Безволосому Мексиканцу. Потом ходил в британское консульство, куда, по уговору с Р., должны были поступать для него инструкции, — там о нем уже было известно, и стало быть, все в порядке. Он решил, что теперь надо отложить все заботы и пока пожить в свое удовольствие. Здесь, на юге, весна уже была в разгаре, людные улицы заливало жаркое солнце. Эшенден неплохо знал Неаполь. Пьяцца ди Сан-Фердинандо, заполненная оживленной толпой, Пьяцца дель Плебишито, на которой стоит такая красивая церковь, пробудили в его сердце приятные воспоминания. На Страда ди Кьяра было так же шумно, как когда-то. Эшенден останавливался на углах, заглядывал в узкие, круто уходящие кверху проулки, поперек которых между высокими домами сушилось на веревках белье — точно праздничные флажки расцветивания между мачтами; гулял по

набережной, шурясь на ослепительную гладь залива и виднеющийся в дымке Капри. Он дошел до Позилиппо, где в старом просторном палаццо с облупленными стенами провел в юности немало романтических часов. И с изумлением отметил легкую боль, которую ощутил в своем сжавшемся сердце при этой встрече с прошлым. Потом сел в извозчичью пролетку, запряженную приземистой, косматой лошадежкой, и с грохотом покатил по булыжникам обратно до Галереи, а там расположился в холодке за столиком, попивая коктейль американо, и стал разглядывать людей, которые сидели и стояли вокруг и без умолку, без устали, оживленно жестикулируя, разговаривали, а он забавлялся тем, что, давая волю воображению, старался по их внешности догадаться, кто они такие в действительной жизни.

Три дня провел Эшенден в полной беспечности, так подходившей к этому фантастическому, неприбранному, приветливому городу. С утра до ночи ничего не делал — только блуждал по улицам, глядя вокруг не глазами туриста, который высматривает то, чем положено любоваться, и не глазами писателя, который ищет всюду свое (и может в красках заката найти красивую фразу или во встречном лице угадать характер), а глазами бродяги, для которого, что ни происходит, все имеет свой законченный смысл. Он сходил в музей взглянуть на статую Агриппины Младшей, которую имел причины вспоминать с нежностью, и воспользовался случаем, чтобы еще раз увидеть в картинной галерее Тициана и Брейгеля. Но всегда возвращался к церкви Санта Кьяра. Ее стройность и жизнерадостность, ее легкое, как бы шутливое обращение с религией и затаенное в глубине взволнованное чувство, ее прихотливые, но изящные линии — все вместе представлялось Эшендену одной несурзальной, напыщенной и меткой метафорой этого солнечного, прелестного города и его предприимчивых обитателей. Она говорила о том, что жизнь сладка и печальна; жаль, конечно, что не хватает денег, но деньги — это еще не все; да и вообще, велика ли важность, ведь сегодня мы есть, а завтра нас уж нет; и все это довольно забавно и увлекательно, и, в конце концов, приходится приспособливаться: *facciamo una piccola combinazione*¹.

Но на четвертое утро, как раз когда Эшенден, выйдя из ванны, делал попытку вытереться полотенцем, которое не

¹ Заключим небольшую сделку (*ит.*).

впитывало влагу, дверь его номера вдруг приотворилась, и в комнату быстро проскользнул какой-то человек.

— Что вам угодно? — вскрикнул Эшенден.

— Не волнуйтесь. Это я.

— Господи Боже, Мексиканец! Что это вы с собой сделали?

Парик на нем был теперь черный, коротко остриженный, плотно, как шапочка, облежавший голову. Это решительно изменило его внешность, она была по-прежнему очень странной, но совершенно иной. И одет он был в поношенный серый костюм.

— Я только на мгновение. Пока он бреется.

Эшенден почувствовал, как у него зарделись щеки.

— Значит, вы его нашли?

— Это не представляло труда. Он был единственный пассажир-грек на судне. Я поднялся на борт, как только они встали у причала, и объяснил, что приехал встретить знакомого из Пирея, которого зовут Георгий Диогенидис. Выяснилось, что такого нет, я очень удивился, ну, и разговаривал с Андреади. Он путешествует под другим именем, зовет себя Ломбардос. Когда он сошел на берег, я последовал за ним, и знаете, что он предпринял первым делом? Зашел в парикмахерскую и велел сбрить себе бороду. Что вы на это скажете?

— Ничего. Всякий может сбрить бороду.

— А вот я думаю иначе. Он хочет изменить свою внешность. О, это хитрец. Уважаю немцев, они ни одной мелочи не упустят, у него легенда — не подкопаешься, сейчас расскажу.

— Вы, кстати сказать, тоже изменили внешность.

— А, да-да, парик другой; большая разница, правда?

— Я бы вас ни за что не узнал.

— Надо быть осторожным. Мы с ним закадычные друзья. В Бриндизи пришлось провести целый день, а он по-итальянски ни полслова. Так что он рад был моей помощи. Мы с ним приехали вместе. Я привез его прямо в эту гостиницу. Он говорит, что завтра едет в Рим, но я не спускаю с него глаз, он от меня не улизнет. Теперь он якобы собирается осмотреть Неаполь, и я предложил показать ему все, что тут есть интересного.

— А почему он не едет в Рим прямо сегодня?

— Понимаете, тут все взаимосвязано. Он прикидывается греческим дельцом, разбогатевшим во время войны. Будто бы ему принадлежали два каботажных пароходика. Он их недавно продал и теперь едет кутить в Париж. Говорит, что всю жизнь мечтал побывать в Париже и вот теперь желание его исполняется. Себе на уме человек. Я чего только не делал, чтобы его разговорить, рассказал, что я испанец, что был в Бриндизи для установления связей с Турцией по вопросу о военных материалах. Он слушал, видно было, что заинтересовался, но сам — ни слова, ну, а я, естественно, не стал нажимать. Бумаги у него при себе.

— Откуда вы знаете?

— Он не беспокоится о своем чемодане, зато все время щупает себе поясницу. Они у него либо в поясе, либо под подкладкой жилета.

— А за каким чертом вы притащили его в эту гостиницу?

— По-моему, так будет удобнее. Возможно, нам понадобится обыскать его багаж.

— Так вы тоже здесь остановились?

— Нет, я не такой дурак. Я сказал ему, что уезжаю в Рим ночным поездом и поэтому номер мне не нужен. Но мне пора, я условился встретиться с ним в парикмахерской через четверть часа.

— Ну, хорошо.

— Где я вас найду сегодня вечером, если вы мне понадобится?

Эшенден задержал взгляд на Безволосом Мексиканце, а потом, хмурясь, отвернулся.

— Я буду сидеть в номере.

— Прекрасно. Взгляните-ка, в коридоре никого нет?

Эшенден открыл дверь и выглянул. Никого не было видно. В это время года гостиница вообще пустовала. Иностранцев в городе почти не было, наплыв гостей начинался позже.

— Все в порядке, — сказал Эшенден.

Безволосый Мексиканец бесстрашно вышел в коридор. Эшенден закрыл за ним дверь. Потом побрился, медленно оделся. На площади по-прежнему сияло солнце, все так же мельтешили прохожие и обтерханные экипажи, запряженные тощими лошаденками, но они больше уже не наполняли душу Эшендена беззаботным весельем. Ему было не

по себе. Он сходил в консульство, справился, как обычно, нет ли для него телеграммы. Ничего не было. Потом зашел к Куку, посмотрел расписание поездов на Рим: один отправлялся сразу после полуночи, другой в пять утра. Хорошо бы успеть на первый. Какие планы у Мексиканца, он не знал; если действительно ему надо на Кубу, наверное, удобнее всего ехать через Испанию; и Эшенден высмотрел ему пароход до Барселоны, который отплывал из Неаполя на следующий день.

Неаполь прискучил Эшендену. От яркого солнца устали глаза, на улицах несносная пылица, нестерпимый грохот. Он выпил коктейль в Галерее. Посидел. Потом сходил в кино. К вечеру, вернувшись в гостиницу, сказал портюе, что завтра чуть свет уезжает и поэтому хочет расплатиться сейчас, а когда с этим было покончено, свез вещи на вокзал, оставив только портфель, в котором у него лежал ключ к шифру и две-три книги для чтения. Потом поужинал. И, наконец, вернувшись к себе в номер, уселся ждать Безволосого Мексиканца. Он вынужден был признаться себе, что сильно нервничает. Взялся было читать — книга оказалась нудная; попробовал другую — но не смог сосредоточиться. Посмотрел на часы — было еще безнадежно рано. Снова открыл книгу, дав себе обещание не глядеть на часы, пока не прочитает тридцать страниц, но только исправно водил глазами по строчкам и переворачивал страницы, почти совсем не сознавая прочитанного. Опять взглянул на часы — Боже милосердный, только половина одиннадцатого! Интересно, где сейчас Безволосый Мексиканец? Что делает? Как бы не наломал дров. Ужасно. Пожалуй, надо закрыть окно и задернуть шторы. Он выкурил бесчисленное множество сигарет. Посмотрел на часы — четверть двенадцатого. Мелькнула одна мысль, от которой бешено забилося сердце; для интереса он сосчитал свой пульс, но пульс, как ни странно, оказался в норме. Ночь была такой теплой, в комнате стояла духота, но руки и ноги у Эшендена были ледяные. До чего неприятно иметь богатое воображение, которое рисует перед тобой яркие картины, хотя тебе вовсе не хочется их видеть! Как писатель Эшенден часто помышлял об убийстве — вот и теперь на память ему пришла страшная история, описанная в «Преступлении и наказании». Думать об этом не хотелось, но мысли сами лезли в голову, книга лежала забытая на коленях

и, глядя в стену (обои были коричневые в блеклых розочках), он стал прикидывать, как лучше всего можно совершить убийство в Неаполе. Ну конечно, ведь здесь есть большой сад с аквариумом на берегу залива; ночью в нем безлюдно и очень темно — под покровом тьмы там творятся разные черные дела, и люди благоразумные стараются после наступления сумерек держаться подальше от его зловещих аллей. Дорога за Позилиппо совсем пустынна, от нее отходят кверху проселки, на них ночью не встретишь ни души, но как заманишь туда человека, если он не бесчувственный чурбан? Можно пригласить его покататься на лодке по заливу, но лодочник, у которого будешь нанимать лодку, вероятно, вас запомнит, да и вообще навряд ли он пустит вас кататься одних; есть портовые гостиницы, где не задают вопросов приезжающим среди ночи и без багажа; но опять же, слуга, провожая тебя в номер, сумеет хорошо разглядеть твое лицо, да еще надо будет заполнить книгу регистрации.

Эшенден опять посмотрел на часы. Он страшно устал. Теперь он сидел просто так, не пытаясь больше читать и ни о чем не думая.

Дверь бесшумно открылась. Он вскочил. По коже побежали мурашки. Перед ним стоял Безволосый Мексиканец.

— Я вас испугал? — с улыбкой осведомился он. — Я подумал, что лучше будет войти без стука.

— Видел вас кто-нибудь?

— Меня впустил ночной портье; он спал, когда я позвонил у парадного, и на меня даже не взглянул. Извините, что так поздно, но мне надо было переодеться.

На Безволосом Мексиканце был теперь прежний франтоватый костюм и светлый парик, в котором он приехал. Это опять разительно изменило его наружность. Он казался теперь выше, ярче; даже лицо стало другое. Глаза блестели, видно было, что человек в отличном расположении духа. Он мельком взглянул на Эшендена.

— Что это вы так бледны, мой друг? Неужели нервничаете?

— Вы достали документы?

— Нет. При нем их не оказалось. Вот все, что у него было.

Он положил на стол пухлый бумажник и паспорт.

— Этого мне не нужно, — быстро сказал Эшенден. — Уберите.

Безволосый Мексиканец пожал плечами и упрятал все к себе в карман.

— А что же было в поясе? Вы говорили, что он все время щупает себе поясницу.

— Только деньги. Я перебрал бумажник. Там частные письма и фотографии женщин. Должно быть, он сегодня, перед тем как встретиться со мной, переложил документы в чемодан.

— Черт, — простонал Эшенден.

— Вот ключ от его номера. Нам с вами надо пойти и посмотреть его багаж.

У Эшендена заныло под ложечкой. От замялся. Мексиканец добродушно усмехнулся.

— Опасности никакой, amigo¹, — сказал он, словно успокаивал ребенка. — Но если вам так не хочется, я пойду один.

— Нет, пойдем вместе, — ответил Эшенден.

— В гостинице все спят крепким сном, ну, а господин Андреади нас не потревожит. Можете разуться, если хотите.

Эшенден промолчал. Он заметил, что пальцы у него слегка дрожат, и поморщился. Он расшнуровал и скинул ботинки. Мексиканец сделал то же самое.

— Ступайте вы первый, — сказал он. — Сверните налево, и прямо по коридору. Комната тридцать восемь.

Эшенден открыл дверь и первым вышел в коридор. Здесь было полутемно, лампы горели тускло. Он нервничал и досадовал на себя за это, тем более что его спутник явно не испытывал ни малейшего волнения. Они подошли к двери, Безволосый Мексиканец вставил ключ в замочную скважину, повернул и вошел в номер. Зажег свет. Эшенден вошел следом и закрыл за собой дверь. Жалюзи на окне были опущены.

— Ну вот, теперь все в порядке. Можно не спешить.

Мексиканец вынул из кармана связку ключей, стал пробыть их наудачу, и наконец один подошел. В чемодане лежали носильные вещи.

— Дешевка, — презрительно заметил Мексиканец, вытаскивая их по одной. — Мой принцип — покупать самое

¹ Дружище (исп.).

лучшее, это всегда в итоге оказывается дешевле. Одно из двух: либо ты джентльмен, либо нет.

— Вам обязательно разговаривать? — буркнул Эшенден.

— Привкус опасности воздействует на людей по-разному. Меня она просто возбуждает, а вас приводит в дурное расположение духа, amigo.

— Дело в том, что мне страшно, а вам нет, — честно признался Эшенден.

— Это все нервы.

Одновременно Мексиканец быстро, но тщательно прощупывал вынимаемую одежду. Никаких бумаг в чемодане не было. Тогда он вытащил нож и надрезал подкладку. Чемодан был дешевенький, подкладка приклеена прямо к дерматину, ничего лежать там не могло.

— Тут их нет... Наверно, спрятаны где-то в комнате.

— А вы уверены, что он их никуда не сдал? В какое-нибудь консульство, например?

— Я ни на минуту не упускал его из виду, разве только когда он брлся.

Безволосый Мексиканец выдвинул ящики комода, распахнул дверцы шкафа. Ковра на полу не было, но под кровать, под матрац, в постель он заглянул. Его цепкие черные глаза обшарили в поисках тайника все стены, все углы.

— Может быть, он оставил их внизу у портье?

— Я бы знал. И он не рискнул бы. Их здесь нет. Непонятно.

Он еще раз недоуменно оглядел комнату, сосредоточенно наморщив лоб.

— Уйдем отсюда, — сказал Эшенден.

— Одну минуту.

Мексиканец опустил на колени и ловко и аккуратно упаковал обратно в чемодан вынутую одежду. Щелкнул замком, встал. Потом выключил свет, осторожно открыл дверь, выглянул в коридор. И, сделав знак Эшендену, вышел. Эшенден вышел следом, и тогда Мексиканец запер номер, спрятал ключ в карман, и они вместе вернулись в комнату Эшендена. Дверь за собой они заперли на задвижку, и Эшенден вытер потные ладони и лоб.

— Слава богу, выбрались!

— Не было ни малейшей опасности. Но что нам теперь делать? Полковник рассердится, что мы не добыли документы.

— Я уезжаю пятичасовым в Рим. И оттуда телеграфно запрошу инструкций.

— Очень хорошо, я еду с вами.

— Я считал, что вам лучше поскорее уехать из страны. Завтра отплывает пароход до Барселоны. Почему бы вам не отправиться на нем, а я, если понадобится, вас там найду?

Безволосый Мексиканец слегка ухмыльнулся.

— Я вижу, вам не терпится от меня избавиться. Ну что ж, не буду противиться вашему желанию, оно извинительно ввиду вашей неопытности. Поеду в Барселону. У меня есть испанская виза.

Эшенден посмотрел на часы. Самое начало третьего. Еще почти три часа ожидания. Его гость непринужденно свернул себе сигарету.

— Что бы вы сказали насчет небольшого ужина? — предложил он. — Я проголодался, как волк.

Мысль о еде была Эшендену отвратительна, его только мучила жажда. Идти куда-то вместе с Безволосым Мексиканцем не хотелось, но и оставаться одному в гостинице тоже было не заманчиво.

— А куда можно сунуться в такое время?

— Пошли. Я вас отведу.

Эшенден надел шляпу, взял с собой портфель. Они спустились по лестнице. В холле на тюфяке, расстеленном прямо на полу, спал ночной портье. Ступая осторожно, чтобы не разбудить его, Эшенден прошел мимо конторки и увидел в ящичке со своим номером конверт. Вынул — действительно, конверт был адресован ему. Они на цыпочках вышли на улицу, прикрыв за собой дверь. И быстро зашагали прочь. Отойдя шагов на сто, Эшенден остановился под фонарем, достал письмо и прочел; писали из консульства: «Вложенная телеграмма поступила сегодня вечером, на всякий случай отправляю ее к вам в гостиницу с посыльным». Видимо, ее доставили ближе к полуночи, когда Эшенден сидел и ждал у себя в номере. Телеграмма оказалась шифрованная.

— Подождет, — сказал он и сунул ее в карман.

Безволосый Мексиканец шел уверенно, по-видимому, он хорошо ориентировался на пустынных ночных улицах. Эшенден шагал с ним рядом. Наконец они дошли до какой-то дрянной и шумной таверны в одном из пристанских тупиков.

— Правда, не «Риц», — сказал Мексиканец, входя, — но об эту пору ночи только в таких заведениях и могут накормить человека.

Они очутились в длинном смрадном помещении; в дальнем конце сидел за фортепьяно старообразный юнец; у противоположных стен торцами стояли столы, возле столов — скамьи. Здесь находилось с десятков посетителей, мужчин и женщин. Пили вино и пиво. Женщины сидели страшные, старые, размалеванные, их грубое веселье было шумным и в то же время безжизненным. Они все обернулись навстречу входящим Эшендену и Мексиканцу; и Эшенден, усевшись за стол, не знал, куда смотреть, чтобы только не встретиться с этими искательными, плотоядными взглядами, готовыми загореться зазывной улыбкой. Старообразный пианист заиграл какую-то музыкачку, и несколько пар поднялись и пошли танцевать. Мужчин не хватало, некоторые женщины танцевали одна с другой. Генерал заказал две порции спагетти и бутылку каприйского вина. Как только вино подали, он с жадностью выпил полный стакан и, сидя в ожидании макарон, разглядывал женщин за другими столами.

— Вы не танцуете? — спросил он Эшендена. — Я сейчас приглашу какую-нибудь из этих девочек.

Эшенден сидел и смотрел, а Мексиканец встал, подошел к одной, у которой были, по крайней мере, блестящие глаза и белые зубы; она поднялась, и он обхватил ее за талию. Танцевал он превосходно. Эшенден видел, как он заговорил со своей дамой, как она рассмеялась, и вот уже безразличное выражение, с которым она приняла его приглашение, сменилось заинтересованным. Скоро уже оба весело болтали. Потом танец кончился, Безволосый Мексиканец отвел ее на место, а сам вернулся к Эшендену и выпил еще стакан вина.

— Как вам моя дама? — спросил он. — Неплоха, верно? Приятная вещь танцы. Почему бы и вам не пригласить которую-нибудь? Прекрасное местечко, а? Можете на меня положиться, я всегда приведу куда надо. У меня инстинкт.

Пианист снова заиграл. Женщина вопросительно оглянулась на Безволосого Мексиканца и, когда он большим пальцем указал ей туда, где топтались пары, с готовностью вскочила со скамьи. Он застегнул на все пуговицы пиджак, выгнул спину и ждал, стоя сбоку у стола. Она подошла к

нему, он рванул ее с места, и они поскакали, разговаривая, смеясь, и оказалось, что он уже со всеми в таверне на дружеской ноге. По-итальянски, с испанским акцентом, он перешучивался то с тем, то с этим. Его остроты вызывали смех. Когда же официант принес две тарелки спагетти, Мексиканец, увидев еду, без долгих церемоний бросил свою даму, предоставив ей самостоятельно возвращаться на место, и поспешил к себе за стол.

— Умираю с голоду, — сказал он. — А ведь сытно поужинал. Вы где ужинали? Поешьте немного макарон, а?

— Аппетита нет, — ответил Эшенден.

Однако придвинул тарелку и, к удивлению своему, обнаружил, что тоже голоден. Безволосый Мексиканец ел, набивая рот и получая от еды огромное удовольствие; он поглядывал вокруг блестящими глазами и, не умолкая, разговаривал. Его дама успела рассказать ему все о себе, и теперь он пересказывал Эшендену историю ее жизни. Он отламывал и запихивал в рот огромные куски хлеба. И распорядился принести еще бутылку вина.

— Что вино! — презрительно кричал он. — Вино — это не напиток, вот разве только шампанское. А это все даже жажду не утоляет. Ну как, amigo, получше чувствуете себя?

— Должен признаться, что да, — улыбнулся Эшенден.

— Практика, вот все, чего вам недостает, немного практики.

Он потянулся через стол и похлопал Эшендена по плечу.

— Что это? — вскрикнул Эшенден, весь передернувшись. — Что за пятно у вас на манжете?

Безволосый Мексиканец скосил глаза на край своего рукава.

— Ах, это? Да ничего. Всего-навсего кровь. Несчастный случай, порезался немного.

Эшенден молчал. Глаза его сами отыскивали циферблат часов над входной дверью.

— Беспокойтесь, как бы не опоздать на поезд? Еще один последний танец, и я вас провожу на вокзал.

Мексиканец поднялся, со свойственной ему великолепной самоуверенностью подхватил ближайшую женщину и пустился танцевать. Эшенден хмуро водил за ним глазами. Конечно, он страшный, чудовищный человек, и эта его голая рожа в обрамлении белокурого парика — бр-р-р; но двигался он с бесподобной грацией, небольшие ступни мягко упирались в пол, точно кошачьи или тигриные лапы,

и видно было, что свою бедную размалеванную даму он совсем закружил и околдовал. Музыка пронизала его с головы до ног, музыка жила в его крепких, загребуших руках и в длинных ногах, так странно шагающих прямо от бедра. Зловещее, кошмарное существо, но сейчас в нем было какое-то хищное изящество, даже своего рода красота — невозможно было, вопреки всему, им тайно не залюбоваться. Эшендену он напомнил каменные изваяния доацтекской эпохи, в которых грубый примитив сочетается с жизненной силой, в которых есть что-то страшное и жестокое и одновременно есть своя вдумчивая, осмысленная прелесть. Но все равно он бы с удовольствием предоставил Мексиканцу самому коротать остаток ночи в этом жалком притоне, если бы не деловой разговор, который еще надо было с ним провести. Предстоящее объяснение не сулило ничего приятного. Эшенден был уполномочен вручить Мануэлю Кармоне некоторую сумму в обмен на некие документы. Однако документов нет, и взяться им неоткуда, а больше Эшенден знать ничего не знал, дальнейшее его не касалось.

Безволосый Мексиканец, вальсируя мимо, помахал ему рукой.

— Буду с вами, как только кончится музыка. Расплатитесь пока, и я как раз появлюсь.

Неплохо бы знать, что у него на уме. Эшенден даже отдаленно себе этого не представлял.

Мексиканец, отирая раздушенным платком пот со лба, подошел к столу.

— Хорошо повеселились, генерал?

— Я всегда веселюсь в свое удовольствие. Конечно, это все белая голь, но мне что за дело? Я люблю почувствовать тело женщины у себя в руках, и чтобы глаза у нее затуманились и губы приоткрылись, и чтобы она вся млела и таяла передо мной, как сливочное масло на солнце. Голь-то они голь, да все-таки женщины.

Мексиканец и Эшенден вышли на улицу. Генерал предложил идти пешком — в это время ночи и в этом квартале такси поймать немислимо. Небо было звездным — стояла по-настоящему летняя, тихая ночь. Безмолвие шагало об руку с ними, точно тень убитого. Когда подошли к вокзалу, силуэты зданий вдруг оказались серее и четче; чувствовалось, что близок рассвет, и воздух пробрала мимолетная дрожь. То был извечно волнующий миг, когда душа замира-

ет в страхе, унаследованном от несчетных прежних поколений: а вдруг случится так, что новый день не настанет?

Они вошли в помещение вокзала и снова очутились во власти ночи. Там и сям отдыхали носильщики, словно рабочие сцены, которым нечего делать после того, как опущен занавес и убраны декорации. Неподвижно стояли на посту два солдата в неразличимой форме.

Зал ожидания пустовал, но Эшенден и Безволосый Мексиканец на всякий случай прошли и уселись в самом дальнем углу.

— У меня еще целый час до поезда. Посмотрим, о чем телеграмма.

Эшенден достал из кармана телеграмму, а из портфеля — ключ к шифру. Шифр, которым он тогда пользовался, был не очень сложен. Ключ состоял из двух частей, одна содержалась в тоненькой книжце у него в портфеле, другую, уместившуюся на одном листке, который он получил и уничтожил, перед тем как оказаться на чужой территории, он хранил в памяти. Эшенден надел очки и приступил к работе. Безволосый Мексиканец сидел в углу деревянного дивана, сворачивал сигареты и курил; он не обращал внимания на то, что делает Эшенден, а просто предавался заслуженному отдыху. Эшенден одну за другой расшифровывал группы цифр и по ходу дела записывал на листок каждое разгаданное слово. Его метод состоял в том, чтобы до завершения работы не вдумываться в смысл, иначе, как он убедился, начинаешь поневоле делать преждевременные выводы, что может привести к ошибке. Так он сидел и механически записывал слово за словом, не сознавая, что они значат. И только когда наконец все было готово, прочел телеграмму целиком. Текст ее был такой:

«Константин Андреади задержался в Пирее ввиду болезни. Прибыть Неаполь не сможет. Возвращайтесь Женеву и ждите инструкций».

Сначала Эшенден не понял. Перечитал еще раз. Он чувствовал, как с ног до головы его начинает бить дрожь. И, вне себя, выпалил бешеным, сиплым шепотом, совершенно утратив на миг свою хваленую выдержку:

— Чертов болван! Вы не того убили!

БЕЛЪЕ МИСТЕРА ХАРРИНГТОНА

Когда Эшенден поднялся на палубу и увидел впереди низкий берег и белый город, он почувствовал приятное волнение. Утро только начиналось, солнце едва встало, но море было зеркальным, а небо голубым. Уже становилось жарко, и день обещал палящий зной. Владивосток. Ощущение возникало такое, что ты и правда очутился на краю света. Позади Эшендена был долгий путь — из Нью-Йорка в Сан-Франциско, на японском пароходе через Тихий океан в Иокогаму, затем из Цуроги на русском пароходе — он единственный англичанин среди пассажиров — по Японскому морю на север. Из Владивостока ему предстояло отправиться на транссибирском экспрессе в Петроград. Такого важного поручения он еще не выполнял, и ему нравилось чувство ответственности, которое оно в нем вызывало. Он никому не подчинялся, он располагал неограниченными средствами (в потайном поясе под одеждой он вез аккредитивы на такую гигантскую сумму, что испытывал ошеломление всякий раз, когда вспоминал про них), и хотя от него требовалось сделать то, что превосходило человеческие возможности, он этого не знал и готовился взяться за дело в полной убежденности в успехе. Он верил в свою находчивость. При всем его уважении и восхищении эмоциональностью рода людского, интеллект себе подобных особого почтения ему не внушал: человеку всегда легче пожертвовать жизнью, чем выучить таблицу умножения.

Десять дней в русском поезде Эшенден предвкушал без особого восторга, а в Иокогаме до него дошли слухи, что один-два моста взорваны и поезда не ходят. Ему сообщили, что солдаты, которые никому и ничему теперь не подчиня-

ются, ограбят его и выкинут голого в степи идти пешком, куда он пожелает. Довольно радужная перспектива. Однако из Владивостока поезд, безусловно, уйдет, и чтобы ни произошло потом (а Эшендена не оставляло ощущение, что положение никогда не бывает таким скверным, как ожидаешь), он твердо решил уехать с ним. Сойдя на берег, он намеревался тут же отправиться в английское консульство и узнать, что они для него устроили. Но когда берег приблизился и он яснее разглядел неряшливый и замызганный город, ему стало тоскливо. По-русски он знал лишь несколько слов. По-английски на пароходе говорил только эконо́м, и хотя он обещал Эшендену всю помощь, на какую был способен, у Эшендена сложилось впечатление, что рассчитывать на него особенно нельзя. И потому он испытал явное облегчение, когда они причалили и щуплый молодой человек с буйной шевелюрой, несомненно еврей, подошел к нему и спросил, не Эшенден ли его фамилия.

— А моя — Бенедикт. Я переводчик при английском консульстве. Мне поручено приглядеть за вами. У нас есть для вас место на поезде, который отходит вечером.

Эшенден ободрился. Они сошли на берег. Еврейчик занялся его багажом, представил для проверки его паспорт, после чего они сели в ожидавшую их машину и поехали в консульство.

— Мне поручено оказывать вам всемерное содействие, — сказал консул. — Только скажите, в чем вы нуждаетесь. На поезд я вас бесспорно устрою, но только Богу известно, доберетесь ли вы до Петрограда. А, да, кстати, у меня для вас есть спутник. По фамилии Харрингтон, американец. Едет в Петроград как представитель какой-то филаделфийской фирмы. Думает заключить контракт с Временным правительством.

— Что он такое? — спросил Эшенден.

— Вполне приемлем. Я хотел пригласить его с американским консулом к завтраку, но они уехали осматривать окрестности. На вокзале вам надо быть часа за два до отхода поезда. Там всегда ужасная давка, и если вы не явитесь загодя, кто-нибудь займет ваше место.

Поезд отходил в полночь, и Эшенден поужинал с Бенедиктом в вокзальном ресторане, единственном, как выяснилось, месте в этом запущенном городе, где можно было прилично поесть. Зал был переполнен. Обслуживали с из-

нуряющей медлительностью. Когда они вышли, перрон, хотя ждать оставалось еще добрых два часа, уже кишел людьми. На грудах багажа сидели целые семьи, словно бы разбившие там бивак. Люди куда-то бежали или стояли, сбившись в кучки, и о чем-то яростно спорили. Кричали женщины. Другие тихо плакали. Неподалеку свирепо ссорились двое мужчин. Всюду царил неописуемый хаос. Свет вокзальных ламп был тускло холодным, и белые лица этих людей были как белые лица мертвецов, терпеливо или с боязнью, с отчаянием или с раскаянием ждущих приговора в Судный день. Подали состав — большинство вагонов были уже битком набиты. Когда Бенедикт нашел купе Эшендена, из него выскочил возбужденный мужчина.

— Входите и садитесь, — сказал он. — Я с большим трудом отстоял ваше место. Какой-то субчик хотел ворваться сюда с женой и двумя детьми. Мой консул только что ушел с ним к начальнику станции.

— Это мистер Харрингтон, — сказал Бенедикт.

Эшенден вошел в купе. Оно было двухместным. Носильщик уложил его багаж, а он обменялся рукопожатием со своим спутником.

Мистер Джон Куинси Харрингтон был тощим, ниже среднего роста — желтоватое, обтянутое кожей лицо, большие белесо-голубые глаза. Когда он снял шляпу, чтобы утереть лоб, увлажненный недавними волнениями, обнаружился большой лысый череп, обтянутый кожей, под которой четко и обескураживающе вырисовывались все шишки и впадины. Он носил котелок, черный сюртук с жилетом, брюки в полоску, очень высокие белые воротнички и галстук неяркой расцветки. Эшенден не мог точно сказать, как следует одеваться для десятидневной поездки через Сибирь, но костюм мистера Харрингтона все-таки показался ему несколько эксцентричным. Каждое слово он произносил четко и внятно пронзительным голосом, и по его выговору Эшенден определил в нем уроженца Новой Англии.

Минуту спустя появился начальник станции в сопровождении бородатого русского, видимо, в состоянии иступления. Сзади шла дама, ведя за руки двух детей. По лицу русского катились слезы, губы у него дрожали. Он что-то втолковывал начальнику станции, которому его супруга сквозь слезы, видимо, рассказывала историю своей жизни.

Когда они остановились перед дверью купе, спор стал более яростным, и в него вступил Бенедикт, говоривший по-русски с большой беглостью. Мистер Харрингтон не знал ни единого русского слова, но, будучи как будто легко возбудимой натурой, немедленно вмешался и красноречиво объяснил по-английски, что места эти были заранее заказаны консулами Великобритании и Соединенных Штатов Америки соответственно, и хотя за английского короля он не ручается, но скажет им без экивоков, и уж поверьте ему, что президент Соединенных Штатов ни в коем случае не допустит, чтобы американского гражданина лишили места в поезде, за которое он уплатил положенную сумму. Силе он подчинится, но только силе, и если они дотронутся до него хоть пальцем, он тотчас заявит консулу официальный протест. Он высказал все это и много еще чего начальнику станции, который, естественно, понятия не имел, о чем он говорит, однако с большой выразительностью и бурной жестикуляцией произнес в ответ страстную речь. Она привела мистера Харрингтона совсем уж в неистовое негодование: потрясая кулаком перед начальником станции, а сам побелев от бешенства, он прокричал:

— Скажите ему, что я ни слова не понял из того, что он говорит, и понимать не желаю. Если русские хотят, чтобы мы их считали цивилизованными людьми, почему они не говорят на цивилизованном языке? Скажите ему, что я мистер Джон Куинси Харрингтон и еду по поручению господ Кру и Адамса, Филадельфия, с особым рекомендательным письмом к мистеру Керенскому, и если посягательства на мое купе не прекратятся, господин Кру поднимет этот вопрос с правительством в Вашингтоне.

Мистер Харрингтон держался так воинственно, жестикулировал так угрожающе, что начальник станции сдался — молча повернувшись на каблуках, он удалился. За ним последовали бородатый русский с супругой, что-то горячо ему втолковывая, и двое умученных детишек. Мистер Харрингтон отскочил в купе.

— Мне крайне грустно, что я не мог уступить мое место даме с двумя детьми, — сказал он. — Никто более меня не уважает женщину и мать, но я обязан ехать в Петроград на этом поезде, если не хочу упустить очень выгодный контракт, а десять дней просидеть в коридоре не соглашусь даже ради всех российских матерей.

— Я вас не виню, — сказал Эшенден.

— Я женатый человек, у меня самого двое детей. Я знаю, как сложно путешествовать с семьей, но не вижу, что им мешает остаться дома.

Когда вы проводите с кем-то десять суток в уединении железнодорожного купе, то волей-неволей узнаете его почти досконально, а Эшенден на протяжении десяти суток (а точнее говоря, одиннадцати) проводил в обществе мистера Харрингтона двадцать четыре часа. Правда, трижды в день они ходили есть в вагон-ресторан, но и там сидели напротив друг друга; правда, утром и днем поезд стоял на станции по часу, и можно было поразмять ноги, гуляя по платформе, но гуляли они бок о бок. Эшенден познакомился с некоторыми пассажирами, и порой те заглядывали к ним в купе поболтать. Но если они говорили только по-французски или по-немецки, мистер Харрингтон взирал на них с кислым неодобрением, если же они говорили по-английски, он не давал им вставить ни слова. Ибо мистер Харрингтон был говорлив. Он говорил и говорил, словно это было естественной функцией человеческого организма, столь же не подчиненной человеческой воле, как дыхание или пищеварение. Он говорил не потому, что ему было что сказать, но потому, что это от него не зависело. Говорил пронзительным гнусавым голосом монотонно, без интонаций. Говорил четко, пользовался богатой лексикой, неторопливо строя предложения и никогда не употребляя короткого слова, если имелся многосложный синоним; говорил без пауз. Говорил, говорил, но это был не всесокрушающий водопад слов, бурный и неукротимый, а поток вязкой лавы, неумолимо ползущий вниз по склону вулкана. Он струился с тихой и неодолимой силой, побеждающий на своем пути все.

Эшенден решил, что никогда еще он не знал об одном человеке столько, сколько о мистере Харрингтоне, причем не только о нем, включая все его мнения, привычки и жизненные обстоятельства, но и о его жене, родственниках жены, о его детях и их школьных друзьях, о владельцах его фирмы и о брачных союзах, которые они заключали с лучшими филадельфийскими семьями три-четыре поколения назад. Его собственный род перекочевал в Америку из Девоншира в начале XVIII века, и мистер Харрингтон побывал в деревушке, где на сельском кладбище сохраня-

лись надгробия его пращуров. Он гордился своими английскими предками, но гордился и своим американским происхождением, хотя для него Америка сводилась к узкой полоске атлантического побережья, а американцы — к небольшому числу людей английского или голландского происхождения, чью кровь не загрязнили никакие иностранные примеси. На немцев, шведов, ирландцев и обитателей Центральной и Восточной Европы, которые нахлынули в Соединенные Штаты в последние сто лет, он смотрел как на наглых чужаков. Он отвращал от них взор, как отвращает его девственная обительница старинного английского поместья от фабричных труб, вторгнувшихся в ее уединение.

Когда Эшенден упомянул колоссально богатого человека владельца некоторых самых прекрасных картин в Америке, мистер Харрингтон сказал:

— Я с ним не знаком. Моя двоюродная бабушка Мария Пенн Уормингтон всегда говорила, что его бабка была отличной кухаркой. Моя двоюродная бабушка Мария была очень огорчена, когда та ушла от нее, вступив в брак. Она говорила, что никто не умел так готовить яблочные шарлотки.

Мистер Харрингтон обожал свою супругу и потчевал Эшендена невыносимо длинными рассказами о том, какая она высококультурная женщина и идеальная мать. Здоровье у нее было хрупкое, ей пришлось перенести множество операций — и каждую он описал во всех подробностях. Он и сам дважды оперировался — удалил миндалины, а затем аппендикс, и Эшенден узнал все, что он при этом испытывал, по дням и часам. Все его знакомые оперировались по тому или иному поводу, так что его познания в хирургии были энциклопедическими. У него было два сына, оба школьники, и он серьезно взвешивал, не следует ли сделать им какую-нибудь операцию. Любопытно, что у одного были увеличены миндалины, а аппендикс второго внушал сильные опасения. Ему еще не приходилось видеть, чтобы два брата так преданно любили друг друга, и один его добрый знакомый, лучший филадельфийский хирург, предложил прооперировать их одновременно, чтобы им не пришлось разлучаться. Он показывал Эшендену фотографии мальчиков и их матери. Его путешествие в Россию было их первой разлукой, и каждое утро он писал жене длинное письмо, сообщая ей обо всем, что произошло за сутки, и значитель-

ную часть того, что он успел сказать в течение этого срока. Эшенден следил, как он исписывает лист за листом четким, удобочитаемым аккуратным почерком.

Мистер Харрингтон проштудировал все книги об умении вести разговор и знал это искусство досконально. У него была записная книжечка, в которую он заносил все услышанные им анекдоты и забавные истории. Он сообщил Эшендену, что, отправляясь на званый обед, всегда освежает в памяти десяток-другой, чтобы не оказаться на мели. Они были помечены «С», если подходили для смешанного общества, и «М» (только для мужчин), если предназначались лишь для грубого мужского слуха. Он специализировался на тех особого рода анекдотах, которые состоят из длиннейшего описания вполне серьезного происшествия с нагромождением всяческих подробностей, в конце концов завершающегося комичным финалом. Он не избавлял вас ни от единой детали, и Эшенден, давным-давно предугадав финал, судорожно сжимал кулаки и сдвигал брови, чтобы не выдать своего нетерпения, а потом заставлял упрямые губы раздвинуться и выпускал угрюмый неубедительный смешок. Если кто-нибудь входил в купе в процессе повествования, мистер Харрингтон приветствовал его с большой сердечностью:

— Входите же, входите и садитесь. Я рассказываю моему другу одну историю. Обязательно послушайте. Ничего смешнее вы еще не слышали.

И он принимался рассказывать с самого начала слово в слово, не изменяя ни единого удачного эпитета, пока не достигал юмористического финала. Эшенден как-то предложил выяснить, не отыщутся ли в поезде два любителя бриджа, чтобы можно было коротать время за картами, но мистер Харрингтон сказал, что он карт в руки не берет, а когда Эшенден от отчаяния попробовал разложить пасьянс, сделал кислую мину.

— Не понимаю, как культурный человек может транжирить время на карты, а из всех бессмысленных развлечений, какие мне доводилось видеть, пасьянсы, по-моему, самое бессмысленное. Они убивают беседу. Человек — общественное животное, и он упражняет самую возвышенную часть своей натуры, когда принимает участие в общении с другими.

— В том, чтобы транжирить время, есть свое изящество, — сказал Эшенден. — Транжирить деньги способен любой дурак, но транжиря время, вы транжирите то, что бесценно. К тому же, — добавил он с горечью, — разговаривать это не мешает.

— Как я могу разговаривать, когда мое внимание отвлечено тем, откроется ли у вас черная семерка, чтобы положить ее на красную восьмерку? Беседа требует всей силы интеллекта, и если вы изучили это высокое искусство, то имеете право ждать от собеседника, что он будет слушать вас со всем вниманием, на какое способен.

Он сказал это не оскорбленно, но с мягким добродушием человека, чье терпение подвергается тяжким испытаниям. Он просто констатировал факт, а как к этому отнесется Эшенден — его дело. Художник требовал, чтобы его творчество принимали со всей серьезностью.

Мистер Харрингтон был прилежным читателем. Он читал с карандашом в руке, подчеркивал места, заслужившие его внимание, и своим аккуратным почерком комментировал на полях прочитанное. Он любил делать это и вслух, а потому, когда Эшенден, тоже пытавшийся читать, внезапно ощущал, что мистер Харрингтон с книгой в одной руке и с карандашом в другой уставился на него большими белесыми глазами, сердце у него болезненно екало. Он не осмеливался поднять головы, не осмеливался даже перевернуть страницу, ибо знал, что мистер Харрингтон сочтет это достаточным предлогом, чтобы пуститься в рассуждения. Он отчаянно вперял взгляд в одно какое-то слово, точно курица, чей клюв прижат к меловой черте, и осмеливался перевести дух, только обнаружив, что мистер Харрингтон отказался от своего намерения и уже опять читает. В те дни он штудировал историю американской конституции в двух томах, а для развлечения погружался в пухлый сборник, якобы содержащий все самые знаменитые речи, когда-либо произнесенные в мире. Ибо мистер Харрингтон был послеобеденным оратором и прочел все лучшие книги о выступлениях перед публикой. Он абсолютно точно знал, как расположить к себе слушателей, где вставить проникновенные слова, чтобы тронуть их сердца, каким образом с помощью нескольких подходящих к случаю анекдотов завладеть их вниманием и, наконец, какую меру красноречия избрать в данных обстоятельствах.

Мистер Харрингтон очень любил читать вслух. Эшендену часто выпадал случай наблюдать прискорбную склонность американцев к этому времяпрепровождению. В гостиницах разных отелей по вечерам после обеда он часто видел, как отец семейства, расположившись в уютном уголке с женой, двумя сыновьями и дочерью, читал им вслух. На трансатлантических пароходах он иногда с благоговейным страхом наблюдал, как сухопарый господин восседал в центре кружка из пятнадцати дам не первой молодости и звучным голосом читал им историю искусств. Прогуливаясь по пароходным палубам, он проходил мимо раскинувшихся в шезлонгах молодоженов, и до его слуха доносились размеренные интонации новобрачной, читающей своему юному супругу модный роман. Это всегда казалось ему довольно странным способом выражать нежности. У него были друзья, изъявлявшие готовность почитать ему вслух, и он знал женщин, которые говорили, что очень любят, когда им читают вслух, но он всегда вежливо отклонял предложение и упорно пропускал мимо ушей намек. Он не любил ни читать вслух, ни слушать, как читают ему. В душе он считал национальное пристрастие к этой форме развлечения единственным недостатком в идеальном американском характере.

Но бессмертные боги любят посмеяться над злосчастиями смертных и на этот раз положили его, связанного и беззащитного, под нож верховного жреца. Мистер Харрингтон льстил себя мыслью, что читает он прекрасно, и приобщил Эшендена к теории и практике этого искусства. Эшенден узнал, что существуют две школы — драматическая и естественная, — следуя первой, вы изображали голоса персонажей, когда они разговаривали (если читали роман), и если героиня рыдала, вы рыдали, а если ее душили чувства, вы тоже задыхались. Зато, следуя второй школе, вы читали с полным бесстрашием, словно почтовый каталог чикагской фирмы. К этой школе и принадлежал мистер Харрингтон. За семнадцать лет супружеской жизни он прочел своей жене и своим сыновьям — едва они подросли настолько, чтобы по достоинству оценить указанных авторов, — романы Вальтера Скотта, Джейн Остен, Диккенса, сестер Бронте, Теккерея, Джордж Элиот, Натаниела Готторна и У. Д. Хоуэллса. Эшенден пришел к выводу, что чтение вслух было второй натурой мистера Харрингтона, и вос-

препятствовать ему значило бы обречь его на муки курильщика, лишенного табака. Он застигал вас врасплох.

— Вот послушайте! — говорил он. — Нет, обязательно послушайте! — Словно был внезапно поражен мудростью афоризма или изяществом фразы. — Вы согласитесь, что выражено это превосходно. Всего три строки.

Он прочитывал три строки, и Эшенден был готов уделить ему минуту внимания, но он, дочитав их, продолжал читать дальше без передышки. Продолжал. И продолжал. И продолжал. Размеренным пронзительным голосом без интонаций, без выражения он читал страницу за страницей. Эшенден ерзал, закидывал ногу за ногу, то одну, то другую, закуривал сигареты, докуривал их, сидел в одной позе, затем менял ее. Мистер Харрингтон читал и читал. Поезд неторопливо ехал через сибирские степи. Мимо проносились селения, колеса громыхали по мостам. Мистер Харрингтон читал и читал. Когда он дочел до конца знаменитейшую речь Эдмунда Берка, то с торжеством отложил книгу.

— Вот, по моему мнению, один из замечательнейших примеров ораторского искусства на английском языке. И бесспорно это часть нашего общего наследия, на которую мы оба можем оглядываться с законной гордостью.

— А не находите ли вы несколько зловещим, что люди, перед которыми Эдмунд Берк произносил эту речь, все умерли? — мрачно спросил Эшенден.

Мистер Харрингтон собрался было возразить, что удивляться тут особенно нечему, поскольку эта речь была произнесена в восемнадцатом веке, как вдруг до него дошло, что Эшенден (переносивший свалившееся на него испытание с похвальной стойкостью, чего не стал бы отрицать ни один беспристрастный наблюдатель) просто пошутил. Он хлопнул себя по колену и захохотал.

— Ну, отлично! — сказал он. — Сейчас запишу к себе в книжечку. Я уже знаю, как использую эту шутку, когда будет мой черед произносить спич на званом завтраке нашего клуба.

Мистер Харрингтон был яйцеголовым. Но в этом словечке, придуманном пошляками для поношения, он видел почетное орудие мученичества, вроде решетки Святого Лаврентия, например, или колеса Святой Екатерины, воспринимал его как почетный титул. Он им упивался.

— Эмерсон был яйцеголовым, — говорил он. — Лонгфелло был яйцеголовым. Оливер Уэнделл Холмс был яйцеголовым. Джеймс Рассел Лоуэлл был яйцеголовым.

Изучение американской литературы увело мистера Харрингтона не далее периода, когда творили эти именитые, но не слишком завлекательные авторы.

Мистер Харрингтон был невероятно зануден. Он раздражал Эшендена и приводил в бешенство, действовал ему на нервы и ввергал в иступление. Но Эшенден не испытывал к нему неприязни. Его самодовольство было колоссальным, но таким наивным, что не задевало. Самолюбование — таким детским, что оставалось только улыбнуться. Он был таким доброжелательным, таким предупредительным, таким обходительным, таким уважительным, что Эшенден, хотя охотно задушил бы его, не мог не признать про себя, что за короткий срок проникся к нему чем-то очень похожим на дружескую привязанность. Манеры его были восхитительны, безупречны, ну, может быть, чуточку церемонны (но это ничему не вредит: поскольку хорошие манеры сами по себе продукт искусственного общества, то привкус пудренных париков и кружевных манжет их не портит), однако, будучи плодом его благовоспитанности, особую приятность они обретали благодаря его доброму сердцу. Он всегда был готов прийти на помощь и не считался ни с какими затруднениями, лишь бы услужить ближнему. Он был удивительно *serviable*¹. И слово это, пожалуй, потому не имеет точного перевода, что пленительное качество, им обозначаемое, довольно редко среди наших практичных людей. Когда Эшенден прихворнул, мистер Харрингтон преданно за ним ухаживал все двое суток. Эшендену становилось неловко из-за забот, которые он ему причинял, но вопреки сильной боли он не мог удержаться от смеха — с таким хлопотливым усердием мистер Харрингтон мерил ему температуру и с такой твердостью пичкал всевозможными пилюлями, которые извлек из аккуратно упакованного чемодана. И его очень трогали усилия, которых мистер Харрингтон не жалел, лишь бы принести из вагона-ресторана еду, по его мнению, полезную для Эшендена. Он делал для него все, но говорить не переставал.

¹ Любитель услужить (*фр.*).

Безмолвствовал мистер Харрингтон, только когда одевался, ибо его стародевичий ум был всецело поглощен задачей, как, меняя костюм на глазах у Эшендена, не нарушить приличия. Он был чрезвычайно стыдлив. Каждый день он менял белье, аккуратно вынимая из чемодана свежее и аккуратно укладывая туда ношеное, и совершал чудеса ловкости, лишь бы не показать и дюйма обнаженной кожи. После двух-трех дней пути Эшенден оставил попытки быть чистым и аккуратным в этом грязном поезде и вскоре обрел такой же неопрятный вид, как и все пассажиры, но мистер Харрингтон не собирался отступать ни перед какими трудностями. Он совершал свой туалет неторопливо, как бы ни трясли ручку нетерпеливцы, и каждое утро возвращался из уборной вымытым, сияющим чистотой и благоухающий душистым мылом. Облачившись в свой черный сюртук, полосатые брюки и начищенные ботинки, он выглядел таким подтянутым и элегантным, словно только что вышел из своего аккуратного кирпичного особняка в Филадельфии, чтобы сесть в трамвай, который отвезет его в контору. Однажды пассажирам сообщили, что была попытка взорвать мост впереди, и что на станции за рекой какие-то беспорядки, и не исключено, что поезд остановят, и все, кто едет в нем, будут выброшены из вагонов или арестованы. Эшенден, предвидя, что может расстаться с багажом, на всякий случай натянул на себя самую теплую свою одежду, чтобы поменьше страдать от холода, если уж ему придется зимовать в Сибири. Но мистер Харрингтон не желал слушать никаких доводов. К такого рода случайностям он не подготовился, но Эшенден не сомневался, что мистер Харрингтон, проведи он три месяца в русской тюрьме, все равно сохранил бы свой подтянутый и щеголеватый вид. В тамбуры вагонов вошли казаки и остались стоять там, держа винтовки наготове, и поезд осторожно прогромыхал по поврежденному мосту. Затем машинист развел пары и промчался через станцию, где, как их предупреждали, могла ждать засада. Мистер Харрингтон был мягко ироничен когда Эшенден снова надел легкий летний костюм.

Мистер Харрингтон обладал крепкой деловой хваткой. Было очевидно, что взять над ним верх способен только на редкость проницательный человек, и Эшенден не сомневался что его патроны поступили очень разумно, выбрав для этого поручения именно его. Он будет всеми силами обере-

гать их интересы, и если ему удастся заключить с русскими сделку, условия для них будут самые выгодные. Этого требовала его верность фирме. О ее владельцах он говорил с нежной почтительностью. Он любил их и гордился ими, но не завидовал им, потому что богатство их было велико. Ему было достаточно получать жалованье и чувствовать, что платят ему по заслугам, что он может дать образование сыновьям и обеспечить жену на случай своей смерти, а сверх того — к чему ему деньги? В богатстве он ощущал что-то чуточку вульгарное. Культура ему представлялась много важнее денег. Деньги же он берег и после каждого завтрака, обеда и ужина записывал в свою книжечку, во что они ему обошлись. Фирма могла не сомневаться, что он укажет все свои расходы со скрупулезной точностью. Однако обнаружив, что на стоянках к поезду подходят люди просить милостыню, и убедившись, что война действительно их обездолила, он перед каждой остановкой набивал карманы мелочью и, пристыженно посмеиваясь, что попался на удочку таким обманщикам, раздавал ее всю до последней монетки.

— Естественно, я знаю, что они не заслужили подаяния, — говорил он. — И делаю я это не для них, а исключительно для собственного душевного спокойствия: мне было бы очень неприятно думать, что ко мне за помощью обратился истинно голодный, а я отказал ему в куске хлеба.

Мистер Харрингтон был нелеп, но симпатичен. Не верилось, что кто-то способен обойтись с ним грубо — это было бы отвратительно, как ударить ребенка. И Эшенден, внутренне скрипя зубами, но с притворной дружелюбностью, кротко, в истинно христианском духе, сносил все тяготы общения с этим добросердечным, беспощадным существом. Дорога из Владивостока в Петроград заняла одиннадцать суток, и Эшенден чувствовал, что еще одного дня просто не выдержал бы. На двенадцатые сутки он убил бы мистера Харрингтона.

Когда наконец (Эшенден усталый и грязный, мистер Харрингтон свежий, бодрый, поучающий) они достигли окраин Петрограда и, стоя у окна, рассматривали скученные дома, мистер Харрингтон повернулся к Эшендену и сказал:

— Ну, я просто не поверил бы, что одиннадцать суток в поезде могут промелькнуть так быстро. Мы замечательно

провели время. Ваше общество было мне чрезвычайно приятно, как, знаю, и мое вам. Не стану делать вида, будто не отдаю себе отчета в том, что я недурной собеседник. Но раз уж мы так хорошо сошлись, не будем терять связи. Пока я в Петрограде, нам следует видеться как можно больше.

— Мне предстоит много дел, — сказал Эшенден. — Боюсь, я не смогу распоряжаться своим временем.

— Я знаю, — дружески ответил мистер Харрингтон. — Полагаю, что я и сам буду крайне занят, но ведь мы можем завтракать вместе, а по вечерам встречаться и обмениваться впечатлениями. Было бы очень жаль потерять друг друга из вида.

— Очень, — сказал Эшенден со вздохом.

Когда Эшенден в первый раз остался один у себя в номере, он сел и огляделся. Казалось, прошел век. У него не хватало энергии даже распаковать чемоданы. Сколько гостиничных номеров перевидал он за годы войны! Роскошных и убогих, то в одном городе, то в другом, то в одной стране, то в другой. Он устал. Как, спросил он у себя, ему приступить к тому, для чего он прислан сюда? У него было ощущение, что он затерялся в необъятности России и очень одинок. Когда его выбрали для этого поручения, он возражал — слишком уж фантастичным оно выглядело, — но его возражения пропустили мимо ушей. Выбрали его не потому, что высокое начальство считало его наиболее подходящим кандидатом, но потому, что никого более подходящего подыскать не удалось.

В дверь постучали, и Эшенден с удовольствием воспользовался возможностью применить свои несколько русских слов. Дверь открылась. Он вскочил на ноги.

— Входите, входите! — воскликнул он. — Я ужасно рад вас видеть!

Вошли трое мужчин. Он знал их в лицо, так как они плыли с ним на одном пароходе из Сан-Франциско в Йокогаму, но, согласно полученным инструкциям, Эшенден держался от них строго в стороне. Все трое были чехи, изгнанные за революционную деятельность из родной страны и давно обосновавшиеся в Америке. Их послали в Россию оказать содействие Эшендену в его миссии и связать его с профессором З., чей авторитет для чехов в России был абсолютным. Возглавлял их некий доктор Эгон Орт, высокий сухопарый, с небольшой седой головой. Он был свя-

щенником какой-то церкви на Среднем Западе и доктором богословия, но оставил свой приход, чтобы содействовать освобождению родной страны, и у Эшендена создалось впечатление, что он был умен и не чрезмерно догматичен в вопросах совести. Священнослужитель с навязчивой идеей обладает перед мирянином большим преимуществом: он способен внушить себе, что на всем происходящем почиет благословение Всевышнего. Доктора Орта отличали веселые искорки в глазах и суховатый юмор.

У Эшендена было с ним два тайных свидания в Иокогаме, и он узнал, что профессор З., хотя и жаждет освободить свою страну от австрийского ига и, понимая, что достигнуть этого можно только через поражение Центральных держав, предан союзникам душой и телом, тем не менее крайне щепетилен и отказывается действовать наперекор своей совести: все должно быть скрупулезно честным и открытым, и потому кое-какие меры, принимать которые необходимо, приходится принимать без его ведома. Влияние его столь велико, что с его желаниями необходимо считаться, но порой бывает предпочтительно не слишком посвящать его в происходящее.

Доктор Орт прибыл в Петроград за неделю до Эшендена и теперь изложил ему то, что успел узнать о положении вещей. Эшендену оно представилось критичным, и все, что необходимо было сделать, требовалось сделать безотлагательно. В армии царило недовольство и начинались волнения, правительство, возглавляемое слабым Керенским, грозило вот-вот пасть и сохраняло власть только потому, что никто другой не решался ее взять; страна оказалась перед лицом голода, и уже приходилось учитывать возможность того, что немцы двинутся на Петроград. Послы Великобритании и Соединенных Штатов извещены о приезде Эшендена, но его миссия хранится в тайне даже от них, и есть особые причины, из-за которых он не может обратиться к ним за помощью. Эшенден договорился с доктором Ортом о свидании с профессором З., чтобы выяснить его точку зрения и сообщить ему, что он располагает финансовыми возможностями поддержать любой план, сулящий реальную возможность предотвратить катастрофу, которую предвидят союзные правительства — заключение Россией сепаратного мира. Но ему необходимо нащупать связи с влиятельными людьми всех сословий. Мистер Харрингтон, прибывший в

Петроград с деловыми предложениями и письмами к министрам, будет встречаться с членами правительства, и мистер Харрингтон нуждается в переводчике. Доктор Орт говорил по-русски почти как на родном языке, и он идеально подходил для этой роли. Эшенден рассказал ему, как обстоит дело, и они договорились, что доктор Орт зайдет в ресторан, когда мистер Харрингтон с Эшенденом спустятся туда. Он поздоровается с Эшенденом, как будто увидел его только теперь, а Эшенден, познакомив его с мистером Харрингтоном, придаст разговору необходимый оборот, и мистер Харрингтон не замедлит сообразить, что доктор Орт именно тот человек, который ему нужен.

Однако Эшенден рассчитывал на еще одно свое полезное знакомство, и теперь он сказал:

— Вам что-нибудь известно про женщину, которую зовут Анастасия Александровна Леонидова? Она дочь Александра Денисьева.

— Про него, естественно, я знаю.

— У меня есть основания полагать, что она сейчас в Петрограде. Вы не могли бы выяснить, где она живет и чем занимается?

— Безусловно.

Доктор Орт что-то сказал по-чешски одному из двух своих спутников. Оба они — высокий блондин и низенький брюнет — выглядели настороженными, были моложе доктора Орта и, как понял Эшенден, ждали его распоряжений. Блондин кивнул, поднялся на ноги, пожал руку Эшендену и вышел.

— Всю информацию, которую удастся собрать, вы получите до вечера.

— Ну, пока, мне кажется, мы ничего больше сделать не можем, — сказал Эшенден. — Откровенно говоря, я одиннадцать дней не принимал ванны, и мне совершенно необходимо вымыться.

Эшенден так никогда и не решил, где приятнее размышлять — в вагонном купе или в ванне. Когда требовалось что-то придумывать, он, пожалуй, предпочитал поезд, идущий ровно и не слишком быстро, и многие самые лучшие его мысли приходили ему в голову, когда он катил вот так по французским равнинам; но для радости воспоминаний, для сочинения вариаций на уже обдуманную тему ничто не могло сравниться с горячей ванной, это было его твердое

убеждение. И теперь, блаженно ворочаясь в мыльной воде, словно буйвол в грязной луже, он перебирал в уме мрачные радости своих отношений с Анастасией Александровной Леонидовой.

В историях про Эшендена почти нет даже беглых намеков на то, что и он порой был способен на страсть, иронично называемую нежной. Специалисты по этой части, очаровательные создания, которые превращают в дело то, что, как знают философы, всего лишь развлечение, утверждают, будто писатели, художники, музыканты — короче говоря, все, кто так или иначе связан с искусством, — в сфере любви особо не блещут. Крику много, толку мало. Они безумствуют или вздыхают, слагают красивые фразы и принимают разные романтические позы, но в конечном счете, любя искусство или себя (а для них это одно и то же) больше объекта своей страсти, предлагают лишь тень, когда указанный объект с присущим их полу здравомыслием требует чего-то существенного. Возможно, что и так и именно в этом причина (впервые опознанная здесь), почему женщины в глубине души питают к искусству такую бешеную ненависть. Но как бы то ни было, последние двадцать лет сердце Эшендена замирало и колотилось из-за одной пленительной особы за другой. Радости было в избытке, и расплачивался он за нее горестью тоже в избытке, но даже в муках безответной любви он был способен говорить себе, хотя и сардонически, что все это — вода на его мельницу.

Анастасия Александровна Леонидова была дочерью революционера, который бежал из Сибири, где его ждала пожизненная каторга, и поселился в Англии. Он был талантливым человеком и, тридцать лет зарабатывая на жизнь беспокойным пером, даже занял почетное место в английской литературе. Когда Анастасия Александровна пришла в возраст, она вступила в брак с Владимиром Семеновичем Леонидовым, также изгнанником из родной страны, и Эшенден познакомился с ней, когда она была замужем уже несколько лет. Наступило то время, когда Европа открыла Россию. Все читали русских романистов, русские балерины пленяли цивилизованный мир, а русские композиторы отзывались трепетом в чувствительных душах, которым приелся Вагнер. Русское искусство обрушилось на Европу с вирулентностью эпидемии гриппа. В моду вошли новые фразы, новые краски, новые эмоции, и без малейших

колебаний эрудированные педанты называли себя членами интеллигенции. Писалось это слово не просто, но произносилось легко. Эшенден заразился, как все остальные: сменил подушки в своей гостиной, повесил на стену икону, читал Чехова и ходил в балет.

Анастасия Александровна по рождению, жизненным обстоятельствам и воспитанию была членом интеллигенции — очень и очень. Она жила с мужем в крохотном особнячке у Риджентс-Парка, и там вся лондонская литературная публика могла в смиренном восхищении взирать на бледнолицых бородатых великанов, которые прислонялись к стене наподобие кариатид, взявших выходной. Они все до единого были революционеры и только чудом находились здесь, а не в сибирских рудниках. Литературные дамы трепетно тянули губы к рюмке с водкой. Если вам улыбалось счастье и вы пользовались особым расположением, то могли там пожать руку Дягилеву, а порой, точно персиковый лепесток, увлекаемый ветерком, там появлялась, чтобы тут же исчезнуть, сама Павлова. В то время успех Эшендена был еще не настолько велик, чтобы оскорбить эрудированных педантов, сам же он в юности бесспорно входил в их число, и хотя кое-кто уже поглядывал на него косо, другие (неизлечимые оптимисты, трогательно верящие в человеческую природу!) еще возлагали на него некоторые надежды. Анастасия Александровна сказала ему в лицо, что он — член интеллигенции. Эшенден был вполне готов этому поверить. Он находился в том состоянии, когда верят чему угодно. Он был наэлектризован и полон смутных предвкушений. Ему чудилось, что наконец-то он вот-вот поймает тот неуловимый дух романтики, за которым так долго гнался. У Анастасии Александровны были прекрасные глаза и хорошая, хотя по нынешним временам и несколько пышноватая фигура, высокие скулы, курносый нос (такой, такой татарский!), широкий рот, полный крупных квадратных зубов, и бледная кожа. Одевалась она ярковато. В ее темных меланхолических глазах Эшенден видел необъятные русские степи, и Кремль в перезвоне колоколов, и торжественную пасхальную службу в Исаакиевском соборе, и серебристые березовые рощи, и Невский проспект. Чего только он не видел в ее глазах, просто поразительно. Они были круглые, блестящие и чуть навывкате, как у мопса. Они беседовали об Алеше из «Братьев Карамазовых», о Наташе из «Войны и мира», об Анне Карениной и об «Отцах и детях».

Эшенден незамедлительно обнаружил, что муж ее не достоин, а затем узнал, что и она того же мнения. Владимир Семенович был коротышка с большой головой, вытянутой, словно палочка лакрицы, и всклокоченной шевелюрой непокорных русых волос. Он был тихим, незаметным существом, и казалось странным, что царское правительство опасалось его революционной деятельности. Он преподавал русский язык и писал корреспонденции в московские газеты. Он был приветлив и услужлив. Эти качества очень его выручали, так как Анастасия Александровна была женщина с характером: когда у нее болел зуб, Владимир Семенович испытывал адские муки, а когда ее сердце надрывали страдания ее злополучной родины, Владимир Семенович, вероятно, жалел, что родился на свет. Эшенден не мог не признать в нем никчемности, но его безобидность невольно возбуждала симпатию, и когда в надлежащий срок он признался Анастасии Александровне в своей страсти и с восторгом убедился в ее взаимности, его вдруг кольнуло: а что им делать с Владимиром Семеновичем? И Анастасия Александровна и он не находили в себе сил расстаться хотя бы на минуту. Эшенден опасался, что ее революционные взгляды помешают ей дать согласие стать его женой, но, к некоторому его удивлению, а также большому облегчению, согласие она дала, и очень поспешно.

— А Владимир Семенович позволит вам развестись с ним? — спросил он, откинувшись на подушку, цвет которой напомнил ему слегка протухшее мясо, и нежно сжимая ее руку.

— Владимир меня обожает, — ответила она. — Это разобьет ему сердце.

— Он приятный человек, и мне бы не хотелось, чтобы он был несчастен. Но будем надеяться, что у него это пройдет.

— У него это никогда не пройдет. Такова русская душа. Я знаю, когда я его оставляю, он почувствует, что потерял все, ради чего стоило жить. Я еще не видела, чтобы мужчина так всецело предавался женщине, как он мне. Но, конечно, он не захочет помешать моему счастью. Для этого он слишком благороден. Он поймет, что у меня нет права колебаться, когда речь идет о моем саморазвитии. Владимир даст мне свободу, ни о чем не спрашивая.

В то время законы о разводе в Англии были даже еще более запутанными, чем теперь, и Эшенден, полагая, что Анастасия Александровна может и не знать их особенностей, объяснил ей сложность ситуации.

— Владимир ни за что не захочет обречь меня на скандальную известность, неизбежную при бракоразводных процессах. Когда я объясню ему, что решила выйти за вас, он покончит с собой.

— Это было бы ужасно, — сказал Эшенден.

Он растерялся, но и ощутил острое волнение. Так похоже на русский роман! И он словно увидел перед собой страшные и трогательные страницы, и еще страницы, и еще страницы, на которых Достоевский описал бы подобный случай. Он знал, какие терзания испытывали бы персонажи — разбитые бутылки шампанского, поездки к цыганам, водка, обмороки, каталепсия и длинные-предлинные монологи, которые произносили бы все до единого. Положение было таким жутким, таким упоительным, таким безвыходным!

— Мы из-за этого будем ужасно несчастными, — сказала Анастасия Александровна, — но не вижу, что еще ему остается. Умолять его, чтобы он жил без меня, я не могу. Он будет как корабль без руля, как авто без карбюратора. Я так хорошо знаю Владимира! Он покончит с собой!

— Каким образом? — спросил Эшенден, которого, как реалиста, страстно интересовали подробности.

— Размозжит себе пулей висок.

Эшендену вспомнился «Росмерхольм». В свое время он был пылким ибсенистом и даже кокетничал с мыслью, не выучить ли норвежский, чтобы, читая мэтра в оригинале, проникнуть в тайную суть его мыслей. Однажды он видел Ибсена во плоти, тот допивал кружку мюнхенского пива.

— Но разве вы думаете, что нам выпадет хоть одна светлая минута, если на нашей совести будет смерть этого человека? — спросил он. — Мне кажется, он всегда будет стоять между нами.

— Я знаю, мы будем страдать. Страдать невыносимо, — сказала Анастасия Александровна, — но от нас ли это зависит? Такова жизнь. Мы обязаны подумать о Владимире. Позаботиться о его счастье. Он предпочтет самоубийство.

Она отвернула лицо, и Эшенден увидел, что по ее щекам струятся слезы. Он был глубоко растроган. Ведь сердце у

него было мягкое, и страшно было подумать о бедном Владимире, распростертом здесь на диване с пулей в виске.

Ах, эти русские! Как увлекательна их жизнь!

Но когда Анастасия Александровна справилась со своими чувствами, она скорбно повернулась к нему, глядя на него влажными, круглыми и чуть-чуть выпученными глазами.

— Мы должны быть совершенно уверены, что поступаем как должно, — произнесла она. — Никогда себе не прощу, если позволю Владимиру кончить самоубийством, а потом выяснится, что я ошиблась. Мне кажется, нам следует убедиться, что мы любим друг друга по-настоящему.

— Разве вы этого не знаете? — тихо спросил Эшенден. — Я знаю.

— Съездим на неделю в Париж и поглядим. Тогда мы будем знать точно.

Эшенден слегка считался с условностями и растерялся. Но лишь на миг. Анастасия была изумительна! И сообразительна: она заметила его мимолетную нерешительность.

— Неужели у вас есть буржуазные предрассудки? — спросила она.

— Конечно, нет, — торопливо заверил он ее, так как предпочел бы, чтобы его сочли негодяем, лишь бы не носителем буржуазных предрассудков. — По-моему, это замечательный план.

— С какой стати женщина должна ставить всю свою жизнь на одну карту? Узнать мужчину по-настоящему можно, лишь живя с ним. И только — честно дать женщине возможность переменить решение, пока не поздно.

— Совершенно верно, — сказал Эшенден.

Анастасия Александровна не любила терять времени зря, и потому, тут же договорившись обо всем, они уже в воскресенье уехали в Париж.

— Владимиру я не скажу, что еду с вами, — сказала она. — Его это только расстроит понапрасну.

— Было бы очень жаль, — сказал Эшенден.

— А если в конце недели я приду к заключению, что мы сделали ошибку, ему вообще ни к чему будет знать об этом.

— Совершенно верно, — сказал Эшенден.

Они встретились на вокзале Виктории.

— Какой класс вы взяли? — спросила она.

— Первый.

— Я рада. Папа и Владимир из принципа ездят третьим, но меня в поезде всегда мутит, и я люблю класть голову кому-нибудь на плечо. А в купе первого класса это проще.

Когда поезд тронулся, Анастасия Александровна сказала, что у нее начинается головокружение, и, сняв шляпу, положила голову на плечо Эшендена. Он обвил рукой ее талию.

— Сидите смирно, хорошо? — сказала она.

На пароходе она спустилась в дамскую каюту и в Кале смогла плотно перекусить, но в поезде вновь сняла шляпу и положила голову на плечо Эшендена. Он подумал, что скоротает время за чтением, и взял книгу.

— Вы не могли бы не читать? — сказала она. — Меня надо поддерживать, а когда вы переворачиваете страницу, мне становится нехорошо.

В конце концов они добрались до Парижа и отправились в тихую гостиницу на левом берегу, про которую знала Анастасия Александровна. Она сказала, что там есть атмосфера, а огромные отели на том берегу она не выносит: они безнадежно вульгарны и буржуазны.

— Я поеду, куда вам угодно, — сказал Эшенден, — лишь бы там была ванна.

— Какой вы восхитительно английский! А неделю без ванны вы обойтись не можете? Милый, милый, вам предстоит столько узнать!

До глухой ночи они говорили о Максиме Горьком и Карле Марксе, о судьбах человеческих, о любви и братстве людей и пили чашку за чашкой русский чай, так что наутро Эшенден с радостью позавтракал бы в постели, а встал ко второму завтраку. Но Анастасия Александровна была ранней пташкой. Жизнь так коротка, сделать нужно так много и просто грех завтракать позже половины девятого. Они сидели в убогом зале ресторана, окна которого не открывались по крайней мере месяц. Атмосферы там было хоть отбавляй. Эшенден спросил Анастасию Александровну, что она хотела бы на завтрак.

— Яйца всмятку, — сказала она.

Ела она с аппетитом. Эшенден уже успел заметить, что аппетит у нее очень хороший. Он решил, что это русское свойство: ведь невозможно себе представить, что Анна Каренина днем обходится булочкой с кофе, не правда ли?

После завтрака они отправились в Лувр, а днем пошли в Люксембургский музей. Пообедали пораньше, чтобы успеть в «Комеди франсез». Оттуда они завернули в русское кабаре, где потанцевали. Когда на следующее утро они сели друг напротив друга в ресторане и Эшенден спросил Анастасию Александровну, чего бы ей хотелось, она ответила:

— Яиц всмятку.

— Но ведь мы ели яйца всмятку вчера, — возразил он.

— Ну так возьмем их сегодня еще раз, — улыбнулась она.

— Хорошо.

Этот день они провели точно так же, как предыдущий, только вместо Лувра посетили музей Карнавале и музей Гиме вместо Люксембургского. Но когда на следующее утро в ответ на вопрос Эшендена Анастасия Александровна вновь попросила яиц всмятку, у него упало сердце.

— Но мы же ели яйца всмятку вчера и позавчера, — сказал он.

— Не кажется ли вам, что это вполне веская причина заказать их и сегодня?

— Нет, не кажется.

— Неужели сегодня утром чувство юмора вам немножко изменило? — спросила она. — Я ем яйца всмятку каждый день, я признаю их только в этом виде.

— Ну, хорошо. В таком случае мы, конечно, закажем яйца всмятку.

Однако на следующее утро одна мысль о них привела его в ужас.

— Вы, как всегда, возьмете яйца всмятку? — спросил он у нее.

— Конечно! — Она ласково улыбнулась, показав ему два ряда крупных квадратных зубов.

— Хорошо. Я их вам закажу. А себе возьму яичницу.

Улыбка, исчезла с ее губ.

— О? — Она помолчала. — А не кажется ли вам, что в этом есть некоторая бессердечность? По-вашему, честно навязывать повару лишнюю работу? Вы, англичане! Вы все одинаковы, вы смотрите на слуг, как на автоматы. Вам не приходит в голову, что у них такое же сердце, как у вас, такие же чувства, такие же эмоции? Есть ли у вас право удивляться, что недовольство пролетариата закипает, когда буржуа вроде вас столь чудовищно эгоистичны?

— Вы серьезно думаете, что в Англии произойдет революция, если я в Париже закажу яичницу вместо яиц всмятку?

Она негодуяюще вскинула красивую голову.

— Вы не понимаете. Дело в принципе. Конечно, вы считаете это шуткой, я понимаю, вы острите, и я умею смеяться шуткам не хуже других. Чехов прославился в России как юморист. Но разве вы не видите, чем это чревато? Самое ваше отношение неверно. Полная бесчувственность. Вы не говорили бы так, если бы пережили события тысяча девятьсот пятого года в Петербурге. Стоит мне вспомнить толпы, стоящие на коленях в снегу перед Зимним дворцом, когда на них набросились казаки. На женщин и детей! Нет, нет, нет!

Ее глаза наполнились слезами, лицо исказилось от муки. Она взяла руку Эшендена.

— Я знаю, сердце у вас доброе. Вы просто не подумали, и больше мы о ней говорить не будем. У вас есть воображение. Вы очень чутки. Я знаю. Вы распорядитесь, чтобы яйца вам приготовили так же, как мне, правда?

— Конечно, — сказал Эшенден.

После этого он каждое утро завтракал яйцами всмятку. Официант говорил: «*Monsieur aime les œufs bouillés*»¹. По окончании недели они вернулись в Лондон. От Парижа до Кале он держал Анастасию Александровну в объятиях, а ее голова покоилась у него на плече — что повторилось и от Дувра до Лондона. Он прикинул, что от Нью-Йорка до Сан-Франциско поезд идет пять дней. Когда они вышли на перрон вокзала Виктории и остановились в ожидании извозчика, она поглядела на него круглыми, сияющими и чуть выпученными глазами.

— Мы чудесно провели время, правда? — сказала она.

— Чудесно.

— Я решаюсь. Эксперимент себя оправдал. Я готова выйти за вас замуж, когда вы пожелаете.

Но Эшендену представилось, как он каждое утро до конца жизни ест яйца всмятку. Когда он усадил ее в кеб, то сделал знак другому извозчику, поехал в контору «Кунарда» и взял билет на первый же пароход, отплывавший в Америку. Ни один иммигрант, отправившийся на поиски

¹ Месье любит варенные яйца (*фр.*).

воли и новой жизни, не смотрел на Статую Свободы с такой ликующей благодарностью, как Эшенден в то ясное, солнечное утро, когда его пароход вошел в порт Нью-Йорка.

С тех пор миновали годы, и Эшенден больше не виделся с Анастасией Александровной. Он знал, что с началом революции в марте они с Владимиром Семеновичем уехали в Россию. Они могли оказаться полезными ему, а Владимир Семенович как-никак был обязан ему жизнью, и он решил написать Анастасии Александровне письмо с вопросом, может ли он навестить ее.

Когда Эшенден сошел в ресторан ко второму завтраку, он чувствовал себя несколько отдохнувшим. Мистер Харрингтон уже ждал его. Они сели за столик и начали есть то, что ставили перед ними.

— Попросите официанта подать нам хлеба, — сказал мистер Харрингтон.

— Хлеба? — повторил Эшенден. — Хлеба нет.

— Но я не могу есть без хлеба, — сказал мистер Харрингтон.

— Боюсь, вам придется обходиться без него. Здесь нет ни хлеба, ни масла, ни сахара, ни яиц, ни картофеля. Только мясо, рыба и зеленые овощи.

У мистера Харрингтона отвисла челюсть.

— Но это же как на войне! — сказал он.

— Во всяком случае, очень похоже.

На момент мистер Харрингтон онемел. Затем он сказал:

— Я сделаю вот что: выполню данное мне поручение как можно быстрее, а потом уберусь из этой страны. Миссис Харрингтон не захотела бы, чтобы я сидел без сахара и масла. У меня очень чувствительный желудок. Фирма ни за что не послала бы меня сюда, если бы не предполагала, что я буду пользоваться всем самым лучшим.

Вскоре к ним подошел доктор Эргон Орт и протянул Эшендену конверт с адресом Анастасии Александровны. Эшенден познакомил его с мистером Харрингтоном. Вскоре стало ясно, что доктор Эргон Орт мистеру Харрингтону понравился, и Эшенден без дальнейших проволочек указал, что лучше переводчика ему не найти.

— По-русски он говорит, как русские. Но он американский гражданин и не подведет вас. Я знаю его не первый год, и, уверяю вас, вы можете на него спокойно положиться.

Мистеру Харрингтону этот совет пришелся по вкусу, и, кончив завтракать, Эшенден ушел, оставив их договариваться о частностях. Он написал Анастасии Александровне и быстро получил ответ, что сейчас она уходит на митинг, но заглянет к нему в отель около семи. Он ожидал ее с некоторым страхом. Разумеется, он знал теперь, что любил не ее, а Толстого и Достоевского, Римского-Корсакова, Стравинского и Бакста, но опасался, что ей это могло в голову и не прийти. Когда она явилась где-то между восьмью и половиной девятого, он пригласил ее пообедать с ним и с мистером Харрингтоном. Присутствие постороннего человека, решил он, смягчит неловкость, но он мог бы не тревожиться: через пять минут после того, как они сели за суп, ему стало ясно, что чувства Анастасии Александровны к нему столь же прохладны, как его к ней. Он испытал некоторое потрясение. Мужчине, как бы скромнен он ни был, трудно представить себе, что женщина, прежде его любившая, может больше не питать к нему любви, и хотя он, разумеется, не думал, будто Анастасия Александровна пять лет чахла от безнадежной страсти, он все-таки ожидал, что легким румянцем, движением ресниц, дрожанием губ она выдаст тот факт, что он еще владеет уголком ее сердца. Ничего похожего. Она говорила с ним, как со знакомым, которого рада увидеть после недельного отсутствия, но чья близость с ней чисто светская. Он осведомился о Владимире Семеновиче.

— Он меня разочаровал, — сказала она. — Умным я его никогда не считала, но верила, что он честный человек. А он ждет ребенка.

Рука мистера Харрингтона, подносившего к губам кусок рыбы, замерла в воздухе вместе с вилкой, и он в изумлении уставился на Анастасию Александровну. В оправдание ему следует сказать, что он за всю свою жизнь не прочел ни единого русского романа. Эшенден, тоже несколько сбитый с толку, посмотрел на нее вопросительно.

— Нет, мать не я, — сказала она со смехом. — Такого рода вещи меня не интересуют. Мать — одна моя подруга, известная своими работами по политэкономии. Я не считаю ее взгляды здоровыми, но отнюдь не отрицаю, что они заслуживают рассмотрения. Она не глупа. Очень не глупа. — Повернувшись к мистеру Харрингтону, она спросила: — Вы интересуетесь политэкономией?

Впервые в жизни мистер Харрингтон не нашел что сказать. Анастасия Александровна изложила свои взгляды на предмет, и они начали обсуждать положение в России. Она, казалось, была близка с лидерами разных политических партий, и Эшенден решил прозондировать, не станет ли она сотрудничать с ним. Телячья влюбленность не помешала ему увидеть, что она была чрезвычайно умной женщиной. После обеда он сказал Харрингтону, что должен поговорить с Анастасией Александровной о делах, и увел ее в уединенный угол вестибюля. Он сказал ей столько, сколько счел нужным, и убедился, что она очень заинтересовалась и полна желания помочь. У нее была страсть к интригам, и она жаждала власти. Когда он намекнул, что у него в распоряжении есть большие суммы, она тотчас сообразила, что через его посредство сможет влиять на ситуацию в России. Это приятно пощекотало ее тщеславие. Она была пламенной патриоткой, но, подобно многим и многим патриотам, чувствовала, что ее собственное возвеличивание служит пользе ее родины. Когда они расстались, между ними уже было заключено рабочее соглашение.

— Весьма замечательная женщина, — сказал мистер Харрингтон на следующее утро за завтраком.

— Не вздумайте влюбиться в нее, — улыбнулся Эшенден.

Однако на эту тему мистер Харрингтон шутить не умел.

— С тех пор, как я сочетался браком с миссис Харрингтон, — сказал он, — я ни разу не поглядел на другую женщину. Этот ее муж, видимо, скверный человек.

— А я бы сейчас не отказался от яиц всмятку, — вдруг без всякой связи сказал Эшенден.

Их завтрак состоял из чашки чая без молока и ложечки повидла вместо сахара.

Располагая помощью Анастасии Александровны и с доктором Ортом на заднем плане, Эшенден приступил к делу. Положение в России ухудшалось с каждым днем. Керенского, главу Временного правительства, снедало тщеславие, и он убирал всех министров, чуть только замечал в них способности, грозящие подорвать его собственный престиж. Он произносил речи. Он произносил нескончаемые речи. Возникла угроза, что немцы внезапно нападут на Петроград. Керенский произносил речи. Нехватка продовольствия становилась все серьезнее, приближалась зима,

а топлива не было. Керенский произносил речи. За кулисами активно действовали большевики, Ленин скрывался в Петрограде, и ходили слухи, что Керенский знает, где он, но не решается дать распоряжение об аресте. Он произносил речи.

Эшендена забавляло безразличие, с каким мистер Харрингтон бродил среди этой сумятицы. Вокруг творилась история, а мистер Харрингтон занимался своим делом. Что было крайне трудно. Его вынуждали давать взятки секретарям и всякой мелкой сошке под предлогом, что так ему будет обеспечен доступ к власти имущим. Его часами заставляли ждать в приемных, а потом бесцеремонно отсылали до следующего дня. Когда же он все-таки добирался до власти имущих, выяснялось, что предложить они ему могут только пустые слова. Он заручался их обещаниями, а через день-два выяснялось, что обещания эти ничего не стоят. Эшенден советовал ему махнуть рукой и уехать назад в Америку, но мистер Харрингтон ничего не желал слушать: фирма возложила на него поручение, и он его выполнит или погибнет в процессе выполнения. Только так! Затем за него взялась Анастасия Александровна. Между ними возникла своеобразная дружба. Мистер Харрингтон считал ее весьма замечательной и глубоко оскорбленной женщиной. Он рассказал ей все о своей жене и двух сыновьях, он рассказал ей все о конституции Соединенных Штатов; она со своей стороны рассказала ему все о Владимире Семеновиче и рассказывала ему про Толстого, Тургенева и Достоевского. Они чудесно проводили время друг с другом. Он сказал, что называть ее Анастасией Александровной не станет: так сразу и не выразишь! — и окрестил ее Далилой. Теперь она отдала в его распоряжение всю свою неистощимую энергию, и они вместе посещали тех, кто мог быть ему полезен. Но дело приближалось к кульминации. Вспыхивали беспорядки, ходить по улицам становилось небезопасно. Иногда по Невскому проспекту на бешеном ходу проносились броневики с недовольными резервистами, которые, протестуя против своих бед, палили наугад по прохожим. Один раз, когда мистер Харрингтон и Анастасия Александровна ехали в трамвае, окна разлетелись от пуль, и им пришлось лечь на пол. Мистер Харрингтон был возмущен до глубины души.

— На мне растянулась толстая старуха, а когда я начал выбираться из-под нее, Далила хлопнула меня по щеке и

сказала: «Не егози, дурак!» Мне ваши русские замашки не нравятся, Далила!

— Но егозить вы перестали! — засмеялась она.

— Вашей стране требуется чуть поменьше искусства и чуть побольше цивилизованности.

— Вы буржуй, мистер Харрингтон, вы не член интеллигенции.

— Вы первая, от кого я это слышу! Если уж я не член интеллигенции, то кто же тогда? — с достоинством возразил мистер Харрингтон.

Затем в один прекрасный день, когда Эшенден сидел у себя в номере и работал, раздался стук в дверь, и вошла Анастасия Александровна, за которой в некотором смущении плелся мистер Харрингтон. Она была явно взволнованна.

— Что случилось? — спросил Эшенден.

— Если этот человек не уедет в Америку, его убьют. Да втолкуйте же ему это! Не будь с ним меня, все могло кончиться очень скверно.

— Ничего подобного, Далила! — раздраженно сказал мистер Харрингтон. — Я прекрасно могу сам о себе позаботиться. И ни малейшей опасности мне не грозило.

— Но что все-таки произошло? — спросил Эшенден.

— Я повезла мистера Харрингтона в Александро-Невскую лавру на могилу Достоевского, — сказала Анастасия Александровна, — и на обратном пути мы увидели, как солдат вел себя довольно грубо со старухой.

— Довольно грубо! — воскликнул мистер Харрингтон. — Старушка шла по тротуару и несла в руке корзинку с провизией. Сзади к ней подскочили два солдата, один вырвал у нее корзинку и пошел дальше. Она начала кричать и плакать. Я не понимал, что она говорит, но мог догадаться, а второй солдат схватил свою винтовку и ударил ее по голове прикладом. Ведь так, Далила?

— Да, — ответила она, не сдержав улыбки. — И не успела я помешать, как мистер Харрингтон выскочил из пролетки, подбежал к солдату с корзинкой, вырвал ее и принялся ругать обоих, называя их ворами. Сначала они совсем растерялись, но потом пришли в ярость. Я бросилась туда и объяснила им, что он иностранец и пьян.

— Пьян? — вскричал мистер Харрингтон.

— Да, пьян. Конечно, собралась толпа. И ничего хорошего это не сулило.

Мистер Харрингтон улыбнулся своими большими белесо-голубыми глазами.

— А мне показалось, что вы высказали им свое мнение, Далила. Смотреть на вас было лучше всякого театра.

— Не говорите глупостей, мистер Харрингтон! — воскликнула Анастасия Александровна, вдруг всплыв, и топнула ногой. — Неужто вы не понимаете, что эти солдаты вполне могли убить вас, а заодно и меня, и никто из зевак пальцем не пошевелил бы, чтобы нам помочь?

— Меня? Я американский гражданин, Далила. Они и волоска на моей голове не посмели бы тронуть.

— А где бы они его взяли? — сказала Анастасия Александровна, которая в гневе забывала про благовоспитанность. — Но если вы полагаете, будто русские солдаты вас не убьют, потому что вы американский гражданин, то вас ждет большой сюрприз, и в самые ближайшие дни.

— Но как же старуха? — спросил Эшенден.

— Через какое-то время солдаты ушли, и мы вернулись к ней.

— И с корзиной?

— Да. Мистер Харрингтон вцепился в нее мертвой хваткой. Старуха лежала на тротуаре, из головы у нее хлестала кровь. Мы усадили ее в пролетку и, когда она сумела сказать, где живет, отвезли ее домой. Кровь текла совершенно жутко, и мы остановили ее с большим трудом.

Анастасия Александровна как-то странно поглядела на мистера Харрингтона, и Эшенден с удивлением увидел, что тот краснеет.

— В чем дело?

— Видите ли, нам нечем было перебинтовать ей голову. Носовой платок мистера Харрингтона вымок насквозь. А с себя я снять быстро могла только...

Но мистер Харрингтон не дал ей закончить.

— Вам незачем объяснять мистеру Эшендену, что именно вы сняли. Я женатый человек и знаю, что дамы их носят, но не вижу нужды называть их вслух.

Анастасия Александровна хихикнула.

— В таком случае поцелуйте меня, мистер Харрингтон. Или я назову!

Мистер Харрингтон заколебался, видимо, взвешивая все «за» и «против», но он понял, что Анастасия Александровна твердо намерена привести свою угрозу в исполнение.

— Ну, хорошо, в таком случае целуйте меня, Далила, хотя, должен сказать, не понимаю, какое удовольствие это может вам доставить.

Она обняла его за шею, расцеловала в обе щеки и вдруг без малейшего предостережения разразилась слезами.

— Вы храбрый человек, мистер Харрингтон. Вы нелепы, но великолепны, — рыдала она.

Мистер Харрингтон удивился меньше, чем ждал Эшенден. Он поглядел на Анастасию с узкогубой, чуть насмешливой улыбкой и потрепал ее по плечу.

— Ну, ну, Далила, возьмите себя в руки. Это вас очень напугало, ведь так? Вы совсем расклеились. У меня будет прострел в плече, если вы и дальше будете орошать его слезами.

Сцена была забавной и трогательной. Эшенден засмеялся, чувствуя, как в горле у него поднимается комок.

Когда Анастасия Александровна ушла и они остались одни, мистер Харрингтон погрузился в глубокую задумчивость.

— Странные они какие-то, эти русские. Вы знаете, что сделала Далила? — сказал он внезапно. — Встала в экипаже посреди улицы и на глазах у всех прохожих сняла с себя панталоны. Разорвала их пополам и одну половину отдала мне, а вторую использовала как бинт. В жизни я не чувствовал себя так нелепо.

— Скажите, почему вы решили называть ее Далилой? спросил Эшенден с улыбкой.

Мистер Харрингтон чуть-чуть покраснел.

— Она чарующая женщина, мистер Эшенден. Муж поступил с ней глубоко непорядочно, и, естественно, я проникся к ней сочувствием. Эти русские очень эмоциональны, и я не хотел, чтобы мою симпатию она сочла чем-то иным. Я объяснил ей, что глубоко привязан к миссис Харрингтон.

— Не спутали ли вы Далилу с женой Пентефрия? — спросил Эшенден.

— Не понимаю, что вы подразумеваете, мистер Эшенден, — ответил мистер Харрингтон. — Миссис Харрингтон всегда давала мне понять, что для женщин я почти неотразим, а потому я подумал, что, называя нашу милую приятельницу Далилой, я точно покажу свою позицию.

— Мне кажется, мистер Харрингтон, Россия страна не для вас, — сказал Эшенден, улыбнувшись. — На вашем месте я бы выбрался отсюда как можно скорее.

— Я не могу уехать сейчас. Наконец-то мне удалось вырвать у них согласие на наши условия, и на той неделе мы подписываем контракт. Тогда я упакую свой чемодан и уеду.

— Но будут ли эти подписи хоть чего-нибудь стоить? — сказал Эшенден.

Сам он наконец разработал план кампании. Сутки тяжелой работы ушли на то, чтобы составить зашифрованную телеграмму, в которой он изложил свои намерения тем, кто послал его в Петроград. Они были одобрены, все необходимые деньги ему обещали. Эшенден понимал, что осуществить что-то он сможет, только если Временное правительство продержится еще три месяца, — но на носу была зима, а продовольствия с каждым днем становилось все меньше. Армия бунтовала. Народ требовал мира. Каждый вечер Эшенден выпивал в «Европе» чашку шоколада с профессором З. и обсуждал с ним, как лучше всего использовать преданных ему чехов. Анастасия Александровна нашла Эшендену укромную квартиру, где он встречался с самыми разными людьми. Составлялись планы. Принимались меры. Эшенден доказывал, убеждал, обещал. Ему приходилось преодолевать колебания одного и бороться с фатализмом другого. Ему приходилось решать, кто полон решимости, а кто самодоволен, кто честен, а кто слабоволен. Ему приходилось проглатывать раздражение на русское многословие. Ему приходилось сохранять терпение с людьми, которые готовы были говорить о чем угодно, лишь бы не о деле. Ему приходилось сочувственно выслушивать бешеные тирады и бахвальство. Ему приходилось остерегаться предательства. Ему приходилось льстить самолюбию дураков и обороняться от алчности честолюбцев. А время не ждало. Слухи о деятельности большевиков становились все грознее, все многочисленнее. Керенский панически метался, как перепуганная курица.

Затем грянул гром. В ночь на 7 ноября 1917 года большевики подняли восстание, министров Керенского арестовали, и Зимний дворец разгромила толпа. Бразды правления были подхвачены Лениным и Троцким.

Анастасия Александровна пришла в номер к Эшендену рано утром. Эшенден зашифровывал телеграмму. Ночь он провел на ногах — сначала в Смольном, потом в Зимнем дворце. И падал от усталости. Лицо у нее было бледным, блестящие карие глаза — полны трагизма.

— Вы слышали? — спросила она у Эшендена.

Он кивнул.

— Для них все кончено. Говорят, Керенский бежал. Они даже не пытались сопротивляться. — Ее охватила ярость. — Шут! — взвизгнула она.

В дверь постучали, и Анастасия Александровна оглянулась на нее с испугом.

— Вы знаете, большевики составили список тех, кого намерены расстрелять. Моя фамилия включена в него. А может быть, и ваша.

— Если это они и если они хотят войти, им достаточно повернуть ручку, — сказал Эшенден с улыбкой, но у него неприятно засосало под ложечкой. — Войдите!

Дверь отворилась, и вошел мистер Харрингтон. В коротком черном сюртуке и полосатых брюках, начищенных ботинках и котелке на лысой голове, он, как всегда, выглядел очень щеголевато. Котелок он снял, едва увидел Анастасию Александровну.

— Не думал застать вас здесь так рано! Я заглянул к вам по дороге, хотел сообщить вам мои новости. Я хотел рассказать вам вчера вечером и не смог. Вы не пришли к обеду.

— Да, я был на митинге, — сказал Эшенден.

— Вы оба должны меня поздравить: вчера я получил все подписи и мое дело завершено.

Мистер Харрингтон сиял на них улыбкой, полной тихого довольства, и выпятил грудь, как бантамский петух, разогнавший всех соперников. Анастасия Александровна разразилась истерическим смехом, и он посмотрел на нее с недоумением.

— Далила, что с вами? — спросил он.

Анастасия Александровна хохотала, пока у нее из глаз не потекли слезы, а тогда она зарыдала. Эшенден объяснил:

— Большевики свергли правительство. Министры Керенского в тюрьме. Большевики собираются пролить кровь. Далила говорит, что ее фамилия значится в списке. Ваш министр подписал вчера ваш контракт, так как понимал, что это ни малейшего значения не имеет. Ваши контракты не стоят ничего. Большевики намерены заключить мир с Германией как можно скорее.

Анастасия Александровна овладела собой с той же внезапностью, с какой дала волю слезам.

— Вам лучше уехать из России немедленно, мистер Харрингтон. Теперь это не место для иностранцев, и вполне вероятно, что через несколько дней вам это уже не удастся.

Мистер Харрингтон переводил взгляд с нее на Эшендена и обратно.

— О-о! — сказал он. — О-о! — Восклицание это было явно неадекватным. — Вы говорите мне, что русский министр просто меня дурачил?

Эшенден пожал плечами.

— Кто может знать, о чем он думал? Возможно, у него сильно развито чувство юмора и ему показалось забавным подписать контракт на пятьдесят миллионов долларов вчера вечером, зная, что сегодня утром его вполне могут поставить к стенке и расстрелять. Анастасия Александровна права, мистер Харрингтон. Садитесь на первый же поезд, который доставит вас в Швецию.

— Ну а вы?

— Мне здесь больше делать нечего. Я запрашиваю инструкций и уеду, как только получу указания. Большевики нас опередили, и людям, с которыми я работал, теперь остается думать только о том, как спасти свою жизнь.

— Утром расстреляли Бориса Петровича, — хмуро сказала Анастасия Александровна.

Они поглядели на мистера Харрингтона, но он устался в пол. Он так гордился своим успехом! И теперь весь обмяк, как пробитый воздушный шар. Но через минуту поднял голову и чуть-чуть улыбнулся Анастасии Александровне. Эшенден впервые заметил, какой привлекательной и доброй была его улыбка. В ней было что-то обезоруживающее.

— Если большевики гонятся за вами, Далила, так не лучше ли вам будет уехать со мной? Я о вас позабочусь, а если вы решите поехать в Америку, я убежден, что миссис Харрингтон сделает для вас все, что в ее силах.

— Представляю лицо миссис Харрингтон, если вы явитесь в Филадельфию под руку с русской беженкой, — засмеялась Анастасия Александровна. — Боюсь, это потребует больше объяснений, чем вам под силу. Нет, я останусь здесь.

— Но если вам угрожает опасность?

— Я русская. Мое место здесь. Я не покину родину, когда родина особенно нуждается во мне.

— Далила, это чушь, — очень тихо сказал мистер Харрингтон.

Анастасия Александровна говорила с глубоким чувством, но теперь вздрогнула и бросила на него насмешливый взгляд.

— Знаю, Самсон, — ответила она. — Откровенно говоря, я думаю, нас всех ждет черт знает что. Одному Богу известно, во что это все выльется, но я хочу присутствовать. И за миллион ни от единой секунды не откажусь.

Мистер Харрингтон покачал головой.

— Любопытство — проклятие вашего пола, Далила, — сказал он.

— Идите, соберите ваши вещи, мистер Харрингтон, — сказал Эшенден улыбаясь, — и мы отвезем вас на вокзал. Поезд будут брать штурмом.

— Ну хорошо, я уеду. И с удовольствием. Я здесь за все это время ни разу прилично не поел, и я пошел на то, о чем даже помыслить не мог — пил кофе без сахара, а когда мне выпадала удача и я получал ломтик ржаного хлеба то был вынужден есть его без масла. Миссис Харрингтон просто не поверит, что мне пришлось перенести. Этой стране требуется организованность.

Когда он оставил их вдвоем, Эшенден и Анастасия Александровна начали обсуждать положение. Эшенден был расстроен, потому что все его тщательно разработанные планы оказались лишними, но Анастасия Александровна горела возбуждением и гадала вслух, чем кончится эта новая революция. Она напускала на себя очень серьезный вид, но в глубине души видела во всем этом увлекательную игру. Она жаждала все новых и новых событий. Тут в дверь снова постучали, но Эшенден не успел открыть рот, как в номер ворвался мистер Харрингтон.

— Нет, обслуживание в этом отеле из рук вон! — возмущенно вскричал он. — Я звоню пятнадцать минут, и никакого внимания!

— Обслуживание? — воскликнула Анастасия Александровна. — Так ведь вся прислуга разбежалась.

— Но мне нужно белье, которое я отдал в стирку. Его обещали доставить еще вчера.

— Боюсь, теперь у вас нет никаких шансов его получить, — сказал Эшенден.

— Я не поеду без своего белья. Четыре рубашки, два комплекта нижнего белья, пижама и четыре воротничка. Носовые платки и носки я стираю в номере сам. Мне нужно мое белье, и без него я из отеля не уйду.

— Не валяйте дурака! — воскликнул Эшенден. — Вы должны выбраться отсюда, пока это еще возможно. Раз за вашим бельем некого послать, вам придется уехать без него.

— Прошу прощения, сэр, ничего подобного я не сделаю. Я схожу за ним сам. Я натерпелся достаточно в этой стране и не намерен бросать здесь четыре отличные рубашки, чтобы их носили орды чумазных большевиков. Нет, сэр, пока я не получу моего белья, из России я не уеду!

Анастасия Александровна на мгновение усталилась в пол, а потом с легкой улыбкой подняла глаза. Эшендену показалось, что бессмысленное упрямство мистера Харрингтона нашло в ней какой-то отклик. На свой русский лад она поняла, что мистер Харрингтон никак не может уехать из Петрограда без своего белья. Его настойчивость возвела это белье в символ.

— Я спущусь вниз и постараюсь найти кого-нибудь, кто знает адрес прачечной, и если это мне удастся, схожу туда с вами, и вы сможете забрать свое белье.

Мистер Харрингтон оттаял. Он ответил со своей ласковой обезоруживающей улыбкой:

— Вы очень любезны, Далила. И не имеет значения, готово оно или нет. Я возьму его в любом виде.

Анастасия Александровна вышла из номера.

— Ну, так что же вы думаете о России и о русских теперь? — осведомился мистер Харрингтон у Эшендена.

— Я сыт ими по горло. Я сыт по горло Толстым, сыт по горло Тургеневым и Достоевским, сыт по горло Чеховым. Я сыт по горло интеллигенцией. Я стосковался по людям, которые не меняют своих намерений каждые две минуты, которые, обещая, не забывают о своем обещании час спустя, на чье слово можно положиться; меня тошнит от красивых фраз, от красноречия и позерства...

Эшенден, заразившись местной болезнью, собирался произнести речь, но его перебил дробный звук, словно на барабан бросили горсть горошин. В городе, окутанном непривычной тишиной, он прозвучал резко и странно.

— Что это? — спросил мистер Харрингтон.

— Винтовочная стрельба. По-моему, на том берегу реки.

Мистер Харрингтон забавно скосил глаза. Он засмеялся, но лицо у него побледнело, и Эшенден его не винил.

— Да, мне пора выбраться отсюда. Я не о себе беспокоюсь, но мне надо думать о жене и детях. Я так давно не

получал писем от миссис Харрингтон, что немного тревожусь. — Он помолчал. — Я хотел бы познакомить вас с миссис Харрингтон. Она удивительная женщина. Лучшей жены быть не может. До этой поездки я со дня нашего брака не расставался с ней больше чем на трое суток.

Вернулась Анастасия Александровна и сказала, что узнала адрес.

— Идти туда минут сорок, и если вы пойдете сейчас, я вас провожу, — добавила она.

— Я готов.

— Поберегитесь, — сказал Эшенден. — По-моему, улицы сегодня небезопасны.

Анастасия Александровна посмотрела на мистера Харрингтона.

— Я должен забрать свое белье, Далила, — сказал он. — Я никогда себе не прощу, если брошу его здесь, и миссис Харингтон не даст мне об этом забыть до конца наших дней.

— Ну, так идемте.

Они вышли, а Эшенден вернулся к тягостной задаче облекать в очень сложный шифр сокрушающие новости которые был обязан сообщить. Телеграмма получилась длинной, а ему еще предстояло запросить дальнейшие инструкции для себя. Работа была чисто механической, но тем не менее требовала полного внимания. Ошибка в одной цифре могла обесмыслить всю фразу.

Внезапно дверь распахнулась, и в номер вбежала Анастасия Александровна. Она потеряла шляпу, волосы у нее растрепались. Она задыхалась, глаза у нее вылезли на лоб, и видно было, что она вне себя от волнения.

— Где мистер Харрингтон? — крикнула она. — Он здесь?

— Нет.

— У себя в номере?

— Не знаю. А что такое? Если хотите, пойдемте посмотрим. Почему вы не привели его с собой?

Они прошли по коридору и постучали в дверь мистера Харрингтона. Ответа не было. Они подергали ручку. Дверь оказалась запертой.

— Его там нет.

Они вернулись в номер Эшендена. Анастасия Александровна упала в кресло.

— Дайте мне, пожалуйста, воды. Я совсем задыхаюсь. Я бежала бегом.

Она выпила весь стакан, который ей налил Эшенден. И вдруг всхлипнула.

— Только чтобы с ним ничего не случилось! Никогда себе не прощу, если его ранили. Я надеялась, что он вернулся сюда до меня. Белье он свое забрал. Мы нашли прачечную. Там была только какая-то старуха, и она его не отдавала. Но мы настояли. Мистер Харрингтон был в ярости, потому что ничего выстирано не было. Оно все еще было увязано, как он сам его увязал. Его обещали принести вчера вечером, а даже узла не развязали! Я сказала: это же Россия, и мистер Харрингтон сказал, что он предпочитает негров. Я вела его боковыми улицами, думала так лучше, и мы пошли назад. Переходили проспект, и я увидела дальше по нему небольшую толпу. Там кто-то произносил речь. «Пойдемте, послушаем, что он говорит», — предложила я. Видно было, что они спорят. Могло оказаться что-то интересное. Мне хотелось узнать, что происходит. «Идемте дальше, Далила, — сказал он. — Не будем вмешиваться не в свое дело», — сказал он. «Возвращайтесь в отель, укладывайте вещи, — сказала я. — А я намерена посмотреть, что там». Я побежала туда, а он пошел за мной. Там собралось двести — триста человек. Речь произносил студент, на него кричали какие-то рабочие. Я люблю споры и начала пробираться в первый ряд. Вдруг раздались выстрелы, и мы оглянуться не успели, как по проспекту понеслись два броневика. С солдатами. И они стреляли на ходу. Не знаю зачем. Наверное, просто баловались, а может быть, были пьяны. Мы прыснули во все стороны, как кролики. Побежали, спасая жизнь. Мистера Харрингтона я потеряла. Не понимаю, почему его нет. По-вашему, с ним что-то случилось?

Эшенден помолчал.

— Надо пойти поискать его, — сказал он. — Не знаю, какого черта он не мог бросить этого белья.

— А я понимаю. Так понимаю!

— Это утешительно, — сказал Эшенден с раздражением. — Идемте!

Он надел пальто и шляпу, и они спустились по лестнице. Отель выглядел непривычно пустым. Они вышли на улицу. Прохожих почти не было. Они направились к углу. Трамваи не ходили, и тишина в огромном городе наводила жуть.

Магазины стояли закрытые. И когда мимо на бешеной скорости промчался автомобиль, они невольно вздрогнули. Редкие унылые встречные боязливо косились по сторонам. Когда они вышли на проспект, то ускорили шаг. Людей там было много. Они нерешительно стояли, словно не зная, что делать дальше. По мостовой, сбившись в кучки, шли резервисты в серых шинелях. Они молчали. Они походили на овец, разыскивающих пастуха. Потом они добрались до улицы, по которой бежала Анастасия Александровна, но с противоположного конца. Много окон было разбито шальными пулями. Улица была пуста. Однако следы панического бегства остались: оброненные в спешке вещи — книги, мужская шляпа, дамский ридикюль и корзинка. Анастасия Александровна дернула Эшендена за рукав — на тротуаре, склонив голову на колени, сидела женщина. Она была мертва. Немного дальше лежали двое мужчин. Тоже мертвые. Раненые, вероятно, сумели кое-как уйти, или их унесли друзья. Затем они нашли мистера Харрингтона. Его котелок скатился в канаву. Он лежал ничком в луже крови. Шишковатая лысина была совсем белой, щеголеватый черный сюртук запачкан кровью и грязью. Но его рука крепко сжимала узел, хранивший четыре рубашки, два комплекта нижнего белья, пижаму и четыре воротничка. Мистер Харрингтон не расстался со своим бельем.

САНАТОРИЙ

Первые шесть недель Эшенден провел в санатории, не вставая с постели. Он видел лишь доктора, навещавшегося к нему утром и вечером, нянек, ухаживавших за ним, и горничную, приносившую ему еду. Заболев туберкулезом, Эшенден обратился в Лондоне к специалисту-легочнику, и, поскольку в Швейцарию он по некоторым причинам поехать не мог, врач порекомендовал ему санаторий на севере Шотландии. Но вот наступил долгожданный день — доктор разрешил Эшендену встать; после полудня няня помогла ему одеться и сойти вниз, на веранду, подложила под спину подушку, укутала пледом и предоставила ему наслаждаться солнечными лучами, струившимися с безоблачного неба. Была середина зимы. Санаторий стоял на вершине холма, откуда открывался широкий вид на заснеженные окрестности. По всей веранде в шезлонгах лежали люди, одни тихо беседовали, другие читали. То и дело кто-нибудь начинал задыхаться от кашля, а потом украдкой бросал взгляд на свой носовой платок. Перед тем как уйти, няня заученно бодрым тоном обратилась к человеку, лежавшему в соседнем шезлонге.

— Вот, познакомьтесь, пожалуйста, с мистером Эшенденом, — сказала она. А затем повернулась к Эшендену: — Это мистер Маклеод. Он и мистер Кембл живут здесь дольше всех.

По другую сторону от Эшендена лежала красивая девушка, рыженькая, с ярко-голубыми глазами; она не была накрашена, но губы ее ярко алели, а на щеках играл румянец. Это лишь подчеркивало необычайную белизну ее кожи. Кожа у нее была восхитительная, хоть и ясно было, что эта нежная

белизна — следствие тяжелой болезни. Девушка была одета в меховое манти и закутана в пледы, оставлявшие открытым только лицо, невероятно худое, до того худое, что нос, в сущности совсем небольшой, все же казался крупноватым. Она дружелюбно взглянула на Эшендена, но промолчала, а он, чувствуя себя неловко среди незнакомых людей, ждал, пока с ним заговорят.

— Вам сегодня, видно, в первый раз позволили встать? — осведомился Маклеод.

— Да.

— Где ваша комната?

Эшенден ответил.

— Маловата. Я знаю здесь все комнаты. Семнадцать лет я в санатории. Моя комната самая удобная, и я имею на нее все права, можете не сомневаться. Кембл старается выжить меня, сам хочет туда перебраться, но я и не подумаю уступить: с какой стати, я приехал на шесть месяцев раньше его.

Маклеод казался непомерно длинным в своем шезлонге; кожа его плотно обтягивала кости, щеки ввалились, а под впалыми висками и скулами легко угадывалась форма черепа; на изможденном лице с большим костлявым носом выделялись огромные глаза.

— Семнадцать лет — немалый срок, — заметил Эшенден, чтобы как-то поддержать разговор.

— Время летит быстро. И мне здесь нравится. Бывало, каждые год-два я уезжал отсюда на лето, но потом бросил. Теперь мой дом тут. Есть у меня брат и две сестры; но они обзавелись семьями, я стал им в тягость. Вот поживете здесь годик-другой, а потом захотите снова попасть в колею. Старые друзья пошли своими дорогами, и у вас не осталось с ними ничего общего. Везде какая-то сумасшедшая спешка. Много шуму из ничего, вот что это такое. Суэта, толчея. Нет, здесь куда спокойнее. Я с места не двинусь, пока меня не вынесут отсюда ногами вперед.

Лондонский специалист сказал Эшендену, что если он некоторое время последит за своим здоровьем, то совершенно поправится, и теперь Эшенден с любопытством взглянул на Маклеода.

— Что вы делаете здесь целыми днями? — спросил он.

— Делаю? Когда болеешь туберкулезом, забот целая куча, милейший. Я меряю температуру, потом взвешиваюсь.

Потихоньку одеваюсь. Завтракаю, читаю газеты и иду гулять. Потом отдыхаю. После второго завтрака играю в бридж и снова отдыхаю, потом обедаю. Снова играю в бридж и ложусь спать. Здесь неплохая библиотека, можно получить все новинки, но на чтение у меня почти не остается времени. Я беседую с людьми. Каких только людей здесь не встретишь! Они приходят и уходят. Порой уходят, воображая, что излечились, но по большей части возвращаются назад, а порой уходят в лучший мир. Я проводил многих и надеюсь проводить еще больше, прежде чем уйду сам.

Девушка, сидевшая по другую сторону от Эшендена, внезапно вмешалась в разговор:

— Должна вам сказать, мало кто способен так от души радоваться похоронам, как мистер Маклеод.

Маклеод хихикнул.

— Не знаю, право, но, по-моему, было бы противоестественно, если бы я не говорил себе: ну что ж, слава богу, что это его, а не меня спроваживают на тот свет.

Тут он вспомнил, что следует представить Эшендена девушке.

— Вы, кажется, не знакомы... Мистер Эшенден — мисс Бишоп. Она англичанка, но славная девушка.

— А вы давно здесь? — осведомился Эшенден.

— Всего два года. И пробуду только до весны. Доктор Леннокс говорит, что через несколько месяцев я совсем окрепну и вполне смогу уехать домой...

— Ну и глупо, — пробурчал мистер Маклеод. — От добра добра не ищут — вот как я рассуждаю.

Между тем на веранде показался человек; он медленно ковылял, опираясь на палку.

— Глядите, вон майор Темплтон. — В голубых глазах мисс Бишоп засветилась улыбка; когда он приблизился, она сказала:

— Рада видеть вас снова на ногах.

— Ах, пустое! Легкая простуда. Теперь я чувствую себя превосходно.

Едва произнеся эти слова, майор закашлялся. Он тяжело оперся на палку. Но когда приступ прошел, весело улыбнулся.

— Никак не избавлюсь от этого распроклятого кашля, — сказал он. — Курить надо поменьше. Доктор Леннокс велит бросить совсем, но где там: я все равно не могу себя заставить.

Это был рослый, красивый человек с несколько театральной внешностью, смуглым, но болезненным лицом, чудесными темными глазами и аккуратными черными усиками. На нем была шуба с каракулевым воротником. Вид у него был шеголеватый и, пожалуй, чуточку слишком эффектный. Мисс Бишоп представила ему Эшендена. Майор Темплтон сказал несколько любезных слов непринужденным и сердечным тоном, а потом предложил девушке пойти прогуляться: ему было предписано каждый день ходить до какого-то определенного места в лесу за санаторием и обратно. Маклеод поглядел им вслед.

— Любопытно, есть ли между ними что-нибудь, — сказал он. — Говорят, до болезни Темплтон был не последним сердцеедом.

— Глядя на него, трудно себе представить, — заметил Эшенден.

— Ну, не скажите. Я тут чего только не перевидал за эти годы. Мог бы рассказать вам бездну всяких историй.

— Так за чем же дело стало?

Маклеод ухмыльнулся.

— Ладно, я расскажу вам кое-что. Года три или четыре назад здесь жила одна темпераментная дамочка. Муж навещал ее каждые две недели, по субботам, души в ней не чаял, всякий раз прилетал самолетом из Лондона; но доктор Леннокс был убежден, что она путается здесь с кем-то, только не мог доискаться, с кем. И вот как-то вечером, когда все мы легли спать, он велел покрыть пол перед ее дверью тонким слоем краски, а наутро осмотреть все ночные туфли. Ловко, не правда ли? Тот молодчик, на чьих туфлях оказалась краска, вылетел отсюда в два счета. Доктору приходится быть строгим, ничего не поделаешь. Он не хочет, чтобы о санатории пошла дурная слава.

— А Темплтон давно здесь?

— Месяца три. Он почти не вставал с постели все это время. Его песенка спета. Айви Бишоп будет последней душой, если влюбится в него. У нее все шансы выздороветь. Я ведь многих перевидал здесь, у меня глаз наметанный. Мне довольно взглянуть на человека, чтобы определить, выздоровеет он или нет, а если нет, мне ничего не стоит предсказать, сколько он протянет. Ошибаюсь я редко. Темплтону осталось жить не больше двух лет.

Маклеод бросил на Эшендена испытующий взгляд, и Эшенден, поняв значение этого взгляда, хоть и пытался внушить себе, что это его только забавляет, невольно ощутил некоторую тревогу. Глаза Маклеода лукаво блеснули. Он отлично понимал, что творится в душе у Эшендена.

— Вы-то поправитесь. Стал бы я откровенничать с вами, не будь я в этом уверен! Не имею ни малейшего желания, чтобы доктор Леннокс выставил меня отсюда за то, что я нагоняю страх Божий на его пациентов.

Пришла няня, чтобы снова уложить Эшендена в постель. Хотя Эшенден просидел на веранде всего час, он устал и с удовольствием снова ощутил прохладное прикосновение простынь. Вечером зашел доктор Леннокс. Он взглянул на температурный листок.

— Недурно, недурно, — сказал он.

Доктор Леннокс был маленький, живой и очень добродушный человек. Вполне знающий врач и неплохой делец, он страстно увлекался рыбной ловлей. Как только наступал рыболовный сезон, он с легкой душой сваливал заботу о больных на своих помощников; больные хотя и выказывали неудовольствие, но охотно лакомились свежей семгой, которая разнообразила их рацион. Доктор, говоривший с сильным шотландским акцентом, любил поболтать и теперь, стоя у кровати Эшендена, осведомился, беседовал ли он с кем-нибудь из больных. Эшенден рассказал, что няня познакомила его с Маклеодом. Доктор Леннокс рассмеялся.

— Это наш старожил. Ему известно о санатории и о больных больше, чем мне самому. Откуда он все узнает, для меня загадка, но от него не укрывается ни одна интимная подробность. Во всем санатории не найти старой девы, у которой был бы более тонкий нюх на всякие пикантные происшествия. Он рассказал вам о Кембле?

— Он упомянул это имя.

— Они с Кемблом ненавидят друг друга. Смешно, не правда ли? Оба прожили здесь семнадцать лет и в лучшем случае имеют одно здоровое легкое на двоих. Они видеть друг друга спокойно не могут. Я отказался выслушивать их бесконечные жалобы. Комната Маклеода расположена прямо над комнатой Кембла, а Кембл играет на скрипке. Маклеод приходит в бешенство. По его словам, он выслушивает одни и те же мелодии вот уже пятнадцать лет, а

Кембл уверяет, что Маклеод просто не способен отличить одну мелодию от другой. Маклеод хочет, чтобы я запретил Кемблу играть, но, что поделаешь, это его право, лишь бы он не играл в те часы, когда больные отдыхают. Я предложил Маклеоду переехать в другую комнату, но он отказался. Говорит, что Кембл играет нарочно, чтобы выжить его из лучшей комнаты во всем санатории, и уверяет, что этот номер не пройдет. Не странно ли, что два пожилых человека только о том и думают, как бы отравить друг друга существованием? Никак не угомонятся. Едят за одним столом, вместе играют в бридж; и дня не проходит без скандала. Я даже грозил выгнать обоих, если они не образумятся. На короткое время это помогало. Они не хотят уезжать. Они побыли здесь так долго, что ни одной душе нет до них дела, они не в силах вернуться к прежней жизни. Как-то, несколько лет назад, Кембл вздумал уехать месяца на два. Он вернулся через неделю; сказал, что не может выдержать шума, а при виде стольких людей на улице его охватывает ужас.

В странном мирке очутился Эшенден, когда состояние его стало улучшаться и он мог ближе познакомиться с другими обитателями санатория. Однажды доктор Леннокс разрешил ему завтракать в столовой. Это была большая комната с низким потолком и огромными окнами; окна всегда были распахнуты настежь, и в погожие дни солнце заливало всю столовую. Эшенден застал там множество людей, и ему не сразу удалось разобраться в своих впечатлениях. Люди были такие разные — молодые, пожилые и совсем старые. Одни, подобно Маклеоду и Кемблу, провели в санатории много лет и не собирались покидать его до конца жизни. Другие приехали всего несколько месяцев назад. Одна старая дева, некая мисс Аткин, имела обыкновение проводить здесь каждую зиму, а на лето уезжать к друзьям и родственникам. Она уже вполне поправила свое здоровье и могла бы вообще обходиться без лечения, но санаторная жизнь ей нравилась. За долгие годы она приобрела здесь известное положение, стала почетным библиотекарем и пользовалась дружбой самой экономки. Она всегда рада бывала посплетничать с кем угодно, но доверчивого новичка вскоре предупреджали, что каждое его слово становится известно доктору Ленноксу. Доктору ведь не мешало знать, что его пациенты не ссорятся между собой, всем довольны, ведут

себя благоразумно и выполняют его указания. Мало что укрывалось от зоркого глаза мисс Аткин, и обо всем она сообщала экономке, а та — доктору Ленноксу. Поскольку мисс Аткин в течение стольких лет каждую зиму приезжала в санаторий, она сидела за одним столом с Маклеодом и Кемблом наравне со старым генералом, которому отвели там место из уважения к его высокому чину. Стол этот ничем не отличался от остальных, и место, где он стоял, было ничуть не лучше всякого другого, но, поскольку он предназначался для старожилов, сидеть здесь считалось за особую честь, и некоторые пожилые дамы были глубоко уязвлены тем, что мисс Аткин, которая уезжает каждое лето на четыре или пять месяцев, занимает почетное место, тогда как они, хоть и живут в санатории круглый год, принуждены сидеть за другими столами. Был здесь старый чиновник индийской службы, который прожил в санатории дольше всех, не считая Маклеода и Кембла; в свое время этот человек управлял целой провинцией, а теперь он нетерпеливо ждал смерти Маклеода или Кембла, чтобы занять место за почетным столом. Эшенден познакомился и с Кемблом. Это был долговязый, костлявый мужчина, лысый и тощий — в чем только душа держится; когда он, съевшись, сидел в кресле, то странным образом походил на злобного горбуна из кукольного спектакля. Был он резкий, обидчивый и раздражительный. Первым делом он осведомился у Эшендена:

— Вы любите музыку?

— Да.

— Здесь никто в ней ни черта не смыслит. Я играю на скрипке. Если угодно, заходите как-нибудь ко мне, я вам сыграю.

— Не ходите, — вмешался Маклеод, слышавший их разговор. — Это попытка.

— Как вы грубы! — вскричала мисс Аткин. — Мистер Кембл играет очень мило.

— В этой дыре не найти человека, способного отличить одну ноту от другой, — заявил Кембл.

Маклеод удалился с презрительным смехом. Мисс Аткин попыталась загладить неловкость:

— Не обращайтесь внимания на слова мистера Маклеода.

— Вот еще! Я у него в долгу не останусь, будьте покойны.

До самого вечера он без конца наигрывал один и тот же мотив. Маклеод стучал в пол, но Кембл не унимался. Маклеод послал горничную сказать, что у него болит голова и он просит мистера Кембла прекратить игру; Кембл ответил, что имеет право играть, а если мистеру Маклеоду это не нравится — что ж, очень жаль. На следующий день при встрече они наговорили друг другу резкостей.

Эшендена посадили за один стол с красивой мисс Бишоп, Темплтоном и бухгалтером из Лондона, по имени Генри Честер. Это был коренастый, широкоплечий, жилистый человек, меньше всего похожий на туберкулезного. Болезнь обрушилась на него, словно мгновенный удар из-за угла. Это был самый заурядный человек лет сорока, женатый, отец двоих детей. Жил он в скромном лондонском предместье. Каждое утро он уезжал в Сити и прочитывал утреннюю газету; каждый вечер приезжал из Сити и прочитывал вечернюю газету. У него не было других интересов, кроме работы и семьи. Дело свое он любил; он зарабатывал достаточно, чтобы жить безбедно, каждый год откладывал небольшую сумму, по субботам и воскресеньям играл в гольф, в августе ездил отдохнуть недели три на восточное побережье, всегда на один и тот же курорт. Вот дети подрастут, он устроит на свое место сына, а сам поселится с женой в маленьком деревенском домике, где и проживет на покое до тех пор, пока не пробьет его час. Как и многие тысячи ему подобных, он ничего больше не желал от жизни. Это был средний англичанин. А потом случилась беда. Он простудился, играя в гольф, затем появилась боль в груди и кашель, от которого он никак не мог избавиться. Он всегда был крепкого здоровья и терпеть не мог лечиться; но, в конце концов, поддался уговорам жены и согласился пойти к врачу. Он был поражен, поражен до глубины души, когда узнал, что у него каверны в обоих легких и единственная возможность сохранить жизнь — это уехать в санаторий. Специалист, к которому Честер сразу же обратился, сказал, что он, вероятно, сможет вернуться к работе через год-другой, но два года прошло, и доктор Леннокс посоветовал ему выкинуть эту мысль из головы, по крайней мере, еще на год. Он показал ему бацилл в его мокроте и рентгеновский снимок, где затемнения свидетельствовали об активном процессе. Честер совсем упал духом. Он считал, что судьба сыграла с ним жестокую и несправедливую шутку.

Это было бы объяснимо, если бы он вел разгульную жизнь, пьянствовал, волочился за женщинами, мало спал. Тогда он получил бы по заслугам. А так... Какая чудовищная несправедливость! Лишенный духовных запросов, равнодушный к книгам, он способен был только размышлять о своем здоровье. Это перешло в манию. Он напряженно следил за симптомами. Пришлось отобрать у него градусник, потому что он мерил температуру десять раз на день. Он вбил себе в голову, что доктора относятся к его состоянию слишком равнодушно, и, чтобы привлечь к себе их внимание, старался с помощью всяких ухищрений сделать так, чтобы термометр показывал угрожающе высокую температуру; а когда его уличили в обмане, он стал угрюмым и раздражительным. Но по натуре это был живой, общительный человек, и порой, забыв о своих горестях, он весело болтал и смеялся; потом внезапно вспоминал о болезни, и в глазах его появлялся страх перед смертью.

В конце каждого месяца его жена приезжала на день или два и останавливалась в гостинице по соседству. Доктор Леннокс не особенно жаловал родственников своих пациентов — их посещения волновали и расстраивали больных. Трогательно было глядеть, с каким нетерпением Генри Честер ждал приезда жены; но, странное дело, в ее присутствии он почему-то казался вовсе не таким уж счастливым. Миссис Честер была маленькая, приятная, живая женщина, некрасивая, но не лишенная изящества и столь же заурядная, как и ее муж: стоило только взглянуть на нее, и становилось ясно, что она хорошая жена и мать, бережливая хозяйка, милое, тихое существо, которое исполняет свой долг и никому не мешает. Ее вполне удовлетворяла та скучная, замкнутая жизнь, которую она вела столько лет, и единственным ее развлечением было кино, а единственным бурным переживанием — дешевая распродажа в лондонских универмагах, ей никогда не приходило в голову, что ее существование однообразно. Другой жизни она и вообразить не могла. Эшендену понравилась миссис Честер. Он с интересом слушал ее болтовню о детях и домике в лондонском предместье, о соседях и мелочных заботах. Однажды он встретил ее на дороге. Честер из-за каких-то лечебных процедур остался в санатории, и она гуляла одна. Эшенден предложил пройти вместе. Они поговорили

немного о том о сем. Потом она внезапно спросила, как он находит ее мужа.

— По-моему, он поправляется.

— Ах, я так беспокоюсь...

— Не забывайте, туберкулез — болезнь затяжная. Наберитесь терпения.

Они прошли еще немного, и тут Эшенден заметил, что она плачет.

— Не надо расстраиваться, — сказал он мягко.

— Ах, вы не представляете себе, что мне приходится переносить, когда я приезжаю сюда. Я знаю, что не должна рассказывать об этом, но ведь я могу вам довериться, правда?

— Конечно.

— Я люблю его. Я к нему привязана. Я пожертвовала бы ради него всем на свете. Мы никогда не ссорились, никогда даже не спорили, ни разу. А теперь он меня ненавидит, и это разбивает мне сердце.

— Что вы, не может быть... Ведь когда вас здесь нет, он только о вас и говорит. И с такой любовью! Он к вам очень привязан.

— Да, когда меня здесь нет. Но когда я здесь, перед ним, здоровая и полная сил, тут-то на него и находит. Ему ужасно тяжело, что он болен, а я здорова. Он боится смерти и ненавидит меня за то, что я останусь жить. Мне приходится все время быть начеку; о чем бы я ни заговорила — о детях, о будущем, — все выводит его из себя, и он бросает мне горькие, обидные слова. Когда я заговариваю о делах, которые мне предстоит сделать дома, или о том, что я сменила кого-нибудь из прислуги, это его бесит. Он жалуется, что я обращаюсь с ним так, словно уже не принимаю его в расчет. Раньше мы жили дружно, а теперь я чувствую, что между нами выросла глухая стена. Я знаю, его винить нельзя, причиной всему болезнь, ведь он такой хороший и ласковый, воплощенная доброта, когда он был здоров, я не знала человека более мягкого; а теперь я просто боюсь навешать его и уезжаю с чувством облегчения. Заболей я туберкулезом, он очень опечалился бы, но я знаю, где-то в глубине души он бы обрадовался. Он смог бы примириться со мной, примириться со своей участью, если б знал, что и я скоро умру. Иногда он мучит меня разговорами о том, что я буду делать, когда его не станет, я прихожу в отчаяние и умоляю

его замолчать, а он отвечает, что я не должна лишать его этого невинного удовольствия: ведь он так скоро умрет, а я могу еще долгие годы жить и не знать горя. Ах, это просто невыносимо — столько лет мы любили друг друга, а теперь все кончается так отвратительно, так ужасно.

Миссис Честер села на придорожный камень и дала волю слезам. Эшенден глядел на нее с жалостью, но не мог найти слов утешения. Все, что он услышал, не было для него неожиданностью.

— Дайте мне сигарету, — попросила она наконец. — Я не хочу, чтобы глаза у меня покраснели и опухли, а то Генри догадается, что я плакала, и подумает, будто мне сообщили о нем дурные новости. Разве смерть так страшна? Неужели все мы так безумно боимся смерти?

— Не знаю, — отозвался Эшенден.

— Когда умирала моя мать, она, мне кажется, прощалась с жизнью без сожаления. Она знала, что нет никакой надежды, и даже слегка подшучивала над смертью. Но она была уже старая женщина.

Миссис Честер овладела собой, и они двинулись дальше. Некоторое время они шли молча.

— Вы не измените своего мнения о Генри после всего, что я вам рассказала? — спросила она наконец.

— Разумеется, нет.

— Он был хорошим мужем и отцом. Я никогда не встречала лучшего человека. До болезни, поверьте, ни одна жестокая или бесчестная мысль не могла прийти ему в голову.

Разговор этот заставил Эшендена задуматься. Его часто упрекали в том, что он слишком низкого мнения о человеческой природе. А все потому, что он не всегда судил о своих ближних в соответствии с общепринятыми нормами. Не раз, когда другие приходили в ужас, он только улыбался, огорченно вздыхал или пожимал плечами. Конечно, кто мог ожидать, что этот добрый, ничем не примечательный человек затаил столь злобные и недостойные мысли; но разве дано нам предвидеть, как низко человек способен пасть и как высоко вознестись? Вся беда в скудости его идеалов, Генри Честеру на роду было написано вести заурядную жизнь, подверженную лишь обычным превратностям, и когда несчастье неожиданно обрушилось на него, он оказался безоружным. Он был подобен кирпичу, который изготовлен на большом заводе для того, чтобы занять свое

место среди миллионов других кирпичей, но оказался с изъяном и поэтому не пошел в дело. Ведь и кирпич, будь у него разум, мог бы крикнуть: в чем я провинился, почему я не могу выполнять свою скромную задачу, почему меня отделили от других кирпичей, моей опоры и поддержки, и выбросили на свалку? И не вина Генри Честера, если он не мог найти в себе силы, чтобы безропотно переносить несчастье. Не каждому дано обрести утешение в искусстве или философии. Трагедия нашего времени в том и состоит, что эти простые души утратили веру в Бога, на которого уповали, и надежду на загробную жизнь и на счастье, которого они лишены в этом мире; взамен же они не нашли ничего.

Говорят, что страдание облагораживает человека. Но это не так. Как правило, оно делает человека мелочным, раздражительным и эгоистичным. Впрочем, здесь, в санатории, люди не слишком страдали. На определенной стадии туберкулеза появляется легкая лихорадка, которая скорее возбуждает, чем угнетает, и больной оживает, обретает надежду, видит будущее в розовом свете; но при всем этом мысль о смерти постоянно живет в подсознании. Она подобна зловещему лейтмотиву, пронизывающему игривую оперетку. Сквозь веселые, ласкающие слух арии и танцевальные ритмы нет-нет да прорываются какие-то трагические ноты, которые угрожающе бьют по нервам; мелочные повседневные интересы, пустяковые обиды и пошлые заботы отступают на задний план; от боли и ужаса сжимается сердце, и страх смерти снисходит на душу, подобно тому как тишина, предвещающая тропический ливень, снисходит на джунгли. Вслед за Эшенденом в санатории появился юноша лет двадцати. Моряк, младший лейтенант, он служил на подводной лодке и заболел тем, что в романах принято называть «скоротечной чахоткой». Это был высокий, красивый юноша с вьющимися каштановыми волосами, голубыми глазами и ласковой улыбкой. Эшенден виделся с ним два или три раза на веранде, и они обменялись поклонами. Это был веселый парень. Он болтал о музыкальных ревю и кинозвездах; читал в газетах сообщения о футбольных матчах и состязаниях боксеров. А потом юношу уложили в постель, и Эшенден больше его не видел. Вызвали родственников, и через два месяца его не стало. Он умер без жалоб. Он понимал, что с ним происходит, не больше, чем

какое-нибудь животное. Несколько дней санаторием владело то же тягостное чувство, какое бывает в тюрьме после казни одного из заключенных; а потом, словно по уговору, повинаясь инстинкту самосохранения, все выбросили мысль о юноше из головы: жизнь с ее неизменным распорядком, с питанием три раза в день, гольфом на миниатюрной площадке, принудительным отдыхом, ссорами и обидами, сплетнями и мелочными неприятностями пошла своим чередом. Кембл, к ярости Маклеода, все так же пиликал на своей скрипке модную песенку и трогательную мелодию «Энни Лори». Маклеод все так же бахвалился своим искусством игры в бридж и сплетничал насчет здоровья и нравственности других. Мисс Аткин все так же злословила, Генри Честер все так же жаловался, что доктора уделяют ему мало внимания, и сетовал на судьбу, которая с ним, человеком праведной жизни, сыграла такую подлую шутку. Эшенден все так же читал и со снисходительным любопытством наблюдал за причудами своих страдающих братьев.

Он сблизился с майором Темплтоном. Темплтону было на вид немногим больше сорока, в свое время он служил в королевской гвардии, но после войны ушел в отставку. Человек весьма состоятельный, он стал жить в свое удовольствие. В сезон он участвовал в скачках, в сезон стрелял куропаток, в сезон травил лисиц. А когда все сезоны кончались, ехал в Монте-Карло. Он рассказывал Эшендену, какие крупные суммы выигрывал и проигрывал в баккара. Он волочился за женщинами и, если верить его рассказам, делал это не без успеха. Он любил хорошо поесть и выпить. Он знал по имени метрдотелей всех лучших лондонских ресторанов. Он был членом полдюжины клубов. Много лет он вел бесполезную, пустую жизнь самовлюбленного эгоиста, ту жизнь, которая в будущем, быть может, станет немыслима, но ему тем не менее жилось легко и беззаботно. Однажды Эшенден поллюбопытствовал, как бы поступил Темплтон, если бы можно было все начать сначала, и тот ответил, что поступил бы точно так же. Это был интересный собеседник, веселый и беззлобно насмешливый, он скользил по поверхности явлений — не будучи способен на большее — легко, свободно и уверенно. У него всегда находился комплимент для поблекших старых дев и шутка для вспыльчивых пожилых джентльменов, потому что хорошие манеры

сочетались в нем с врожденной добротой души. В легкомысленном мире людей, которые имеют больше денег, чем могут истратить, он чувствовал себя так же уверенно и свободно, как среди фешенебельных особняков Мэйфера. Он был из тех, кто всегда готов заключить пари, помочь другу или дать десятку нищему. Пусть он сделал не так уж много добра, зато и зла сделал не много. Баланс его жизни сводился к нулю. Но общаться с ним было куда приятнее, чем со многими обладателями более цельных характеров и достойных качеств. Теперь он был тяжело болен. Он умирал и знал это. Он относился к своему положению с такой же легкой, улыбчивой беззаботностью, как и ко всему на свете. Он порядком покутил на своем веку и ни о чем не жалеет, правда, ему здорово не повезло — схватил туберкулез, — но, черт возьми, никто не вечен: ведь с таким же успехом он мог погибнуть от вражеской пули или сломать себе шею, беря барьер. Всю жизнь он придерживался правила: если ты заключил неудачное пари, уплати проигрыш и забудь о нем. За свои деньги он получил достаточно и теперь готов прикрыть лавочку. Вся его жизнь была сплошным праздником, но всякий праздник рано или поздно кончается, и на другой день не имеет особого значения, уехал ли ты домой на рассвете или исчез, когда веселье было в разгаре.

В отношении морали он стоял ниже всех обитателей санатория, но зато один только он с искренней беспечностью принимал неизбежное. Он открыто презирал смерть, предоставляя другим считать его легкомыслие неприличным или восхищаться его мужественным спокойствием.

Поселившись в санатории, он меньше всего предполагал, что здесь его ожидает такая любовь, какой он ни разу в жизни не испытал. Романов у него было множество, но настоящего — ни одного. Он довольствовался благопристойно-продажной любовью хористок и мимолетными связями с женщинами не слишком строгого нрава, которых встречал в знакомых домах. Он всегда стремился избежать всякой привязанности, которая угрожала бы его свободе. Его единственной целью в жизни было получить возможно больше удовольствия, и там, где дело касалось женщин, бесконечное разнообразие его вполне устраивало и ничуть не смущало. К женщинам его влекло постоянно. Даже с пожилыми дамами он не мог разговаривать без ласкового блеска в глазах и нежности в голосе. Он готов был на все, лишь бы

угодить им. Они знали об этой его слабости, были приятно польщены и испытывали к нему безотчетное доверие, совершенно, впрочем, неоправданное. Однажды он обронил замечание, поразившее Эшендена своей проницательностью:

— Всякий мужчина, знаете ли, может добиться женщины, какой только пожелает, стоит лишь постараться, это невелика хитрость; но только мужчина, уважающий женщину, может расстаться с ней, не унижая ее.

За Айви Бишоп он начал ухаживать просто в силу привычки. Она была моложе и красивее других женщин в санатории. На самом деле она была не так молода, как показалось Эшендену при первом знакомстве, — ей было двадцать девять, но последние восемь лет она кочевала из одного санатория в другой, в Швейцарии, Англии и Шотландии, и тепличный образ жизни помог девушке сохранить юную внешность, так что с виду ей вполне можно было дать лет двадцать. Весь свой жизненный опыт она приобрела в этих лечебных заведениях и любопытным образом сочетала в себе поразительную наивность с не менее поразительной искушенностью. В сердечных делах для нее не было тайн. В нее влюблялось множество мужчин самых различных национальностей; она принимала их ухаживания спокойно и слегка насмешливо и всегда находила в себе довольно твердости, если они пытались зайти слишком далеко. Была в ней сила характера, удивительная в столь хрупком существе, и, когда доходило до игры в открытую, она умела высказать все, что думала, в ясных, холодных и решительных выражениях. Айви была не прочь пофлиртовать с Джорджем Темплтоном. Она понимала, что это лишь игра, и хотя бывала с ним очень мила, однако ее шутивная непринужденность не оставляла сомнений в том, что она раскусила Темплтона и отнюдь не намерена смотреть на их отношения серьезнее, чем он сам. Подобно Эшендену Темплтон каждый вечер ложился в шесть и обедал в своей комнате, а потому виделся с Айви только днем. Они совершали вместе маленькие прогулки, в другое же время редко оставались наедине. За завтраком завязывался общий разговор между Айви, Темплтоном, Генри Честером и Эшенденом, но ясно было, что не мужчин Темплтон так усердно старается развлечь. Эшендену казалось, что Темплтон уже не просто волочит за Айви от скуки, что его чувство становится глубже и искреннее; трудно было по-

нять, подозревает ли Айви об этом и принимает ли происходящее близко к сердцу. Стоило Темплтону сказать что-либо более интимное, чем приличествовало случаю, как она отвечала ироническим замечанием, вызывавшим общий смех. Смеялся и Темплтон, но вид у него был не веселый. Теперь ему уже не хотелось, чтобы Айви считала его легкомысленным повесой. Чем ближе узнавал Эшенден Айви Бишоп, тем больше она ему нравилась. Было что-то трогательное в ее болезненной красоте, в прозрачной коже, в худом лице с огромными и необычайно голубыми глазами; было что-то трогательное и в ее участи, ведь, подобно многим другим обитателям санатория, она, по сути дела, осталась одна на свете. Мать ее вела светскую жизнь, сестры вышли замуж; они лишь формально интересовались молодой женщиной, которая жила вдали от них вот уже восемь лет. Они писали, время от времени приезжали навестить ее, но теперь их мало что связывало. Айви мирилась с этим без горечи. Она со всеми была в дружеских отношениях, всегда готова сочувственно выслушать любые жалобы и сетования. Особенно ласкова была она с Генри Честером и старалась, как могла, ободрить его.

— Ну, мистер Честер, — сказала она как-то за завтраком, — месяц кончается, завтра приедет ваша жена. А до тех пор вам предстоит провести время в приятном ожидании.

— Нет, в этом месяце она не приедет, — тихо ответил он, глядя в тарелку.

— Какая жалость! Но почему же? Надеюсь, дети здоровы?

— Доктор Леннокс считает, что так будет лучше для меня.

Водворилось молчание. Айви тревожно взглянула на Честера.

— Какая досада, старина, — заметил Темплтон с присущей ему сердечностью. — Почему вы не послали Леннокса ко всем чертям?

— Ему лучше знать, что нужно для моего здоровья.

Айви снова взглянула на него и перевела разговор на другое.

Позже Эшенден понял, что она сразу заподозрила истину. На следующий день Эшенден и Честер вышли прогуляться вдвоем.

— Как жаль, что ваша жена не приедет, — сказал Эшенден. — Вам ведь, наверно, очень хотелось бы повидать ее.

— Очень.

Он бросил на Эшендена косой взгляд. Эшенден почувствовал, что Честеру хочется что-то сказать ему, но он не может собраться с духом. Честер сердито передернул плечами.

— Я сам во всем виноват. Это я попросил Леннокса написать, чтобы она не приезжала. У меня больше нет сил. Целый месяц жду ее, а когда она приезжает — я ее ненавижу. Понимаете, я так страдаю из-за этой мерзкой болезни. Она же полна сил, здоровья, энергии. Когда я вижу в ее глазах жалость, я готов сойти с ума. Что ей до меня? Кому есть дело до больного человека? Все только притворяются, но в душе рады-радешеньки, что сами здоровы. Наверно, я рассуждаю по-свински?

Эшенден вспомнил, как миссис Честер сидела на придорожном камне и плакала.

— А вы не боитесь причинить ей огорчение, если запретите ей приезжать сюда?

— Что ж поделаешь. У меня у самого довольно огорчений.

Эшенден не нашелся что ответить, и одно время они шли молча. Внезапно раздражение Честера прорвалось:

— Вам легко быть благородным и бескорыстным, вам не грозит смерть. А я умру, но, черт возьми, я не хочу умирать. С какой стати? Это несправедливо.

Время шло. В санатории, где так мало пищи для ума, всем вскоре стало известно, что Джордж Темплтон влюбился в Айви Бишоп. Труднее было дознаться, каковы ее чувства. Все видели, что Темплтон ей нравится, однако общества его она не искала и как будто даже избегала оставаться с ним наедине. Время от времени какая-нибудь из пожилых дам пробовала вызвать Айви на компрометирующие признания, но та при всей своей бесхитростности оказалась достойным противником. Она игнорировала намеки, а на прямые вопросы отвечала недоверчивым смехом. В конце концов, дамы пришли в бешенство.

— Она не настолько глупа, чтобы не видеть, что он от нее без ума!

— Как она смеет так играть его чувствами!

— Доктор Леннокс обязан сообщить об этом ее матери.

Но больше всех негодовал Маклеод:

— Это просто смешно. Ведь, в сущности, к чему все может привести? У него не легкие, а решето, да и ей похвастаться нечем.

Кембл, напротив, высказался насмешливо и цинично:

— Пусть наслаждаются жизнью, пока могут. Держу пари, здесь дело нечисто, только все шито-крыто, и я их не виню.

— Пошляк! — вспыхнул Маклеод.

— Ах, оставьте. Темплтон не такой человек, чтобы возиться с девчонкой, если у него нет какой-то цели, и она тоже не вчера родилась, поверьте.

Эшенден, который часто бывал в обществе Темплтона и Айви, знал гораздо больше других. Темплтон как-то разоткровенничался. Он сам над собой иронизировал.

— Нелепо в моем возрасте влюбиться в порядочную девушку. Меньше всего ожидал этого от себя. Но что толку отрицать, я влюблен по уши; будь я здоров, я завтра же сделал бы ей предложение. Никогда не думал, что девушка может быть так мила. Мне всегда казалось, что иметь дело с девушками — я хочу сказать, с порядочными девушками — ужасно скучно. Но с ней не скучно, она умница, большая умница. И вдобавок хороша собой. Бог мой, какая кожа! А волосы... Но не это повергло меня в прах. Знаете, что меня покорило? Смешно, да и только. Меня, старого распутника... Добродетель. Стоит мне подумать об этом, и я готов хохотать, как гиена. Меньше всего я искал этого в женщинах, и вот, пожалуйста, никуда не денешься — она чиста, и я чувствую себя последним червем. Вы удивлены?

— Нисколько, — ответил Эшенден. — Вы не первый старик, покоренный невинностью. Это обычная сентиментальность, свойственная пожилому возрасту.

— Ах, язва! — рассмеялся Темплтон.

— Что она вам сказала?

— Бог мой, уж не думаете ли вы, что я ей признался? Я не обмолвился с ней ни единым словом, которого не мог бы сказать при всех. А вдруг я умру через полгода, и, кроме того, что я могу предложить такой девушке?

Эшенден к этому времени был уже совершенно уверен, что Айви влюблена в Темплтона не меньше, чем тот в нее. От него не укрылся ни румянец, заливавший ее щеки, когда Темплтон входил в столовую, ни ласковые взгляды, которые она украдкой на него бросала. Ее улыбка приобретала

какую-то особенную нежность, когда она слушала его воспоминания о прошлом. Эшендену казалось, что она безмятежно греется в лучах его любви, подобно тому как больные на веранде, среди снеговых гор, греются в горячих лучах солнца; но вполне возможно, что она ни о чем ином даже не помышляет, и, уж конечно, не его дело сообщать Темплтону то, что она, по-видимому, желает скрыть.

Потом произошло событие, нарушившее однообразие санаторной жизни. Хотя Маклеод и Кембл вечно ссорились, они играли в бридж вместе, потому что до приезда Темплтона были лучшими игроками в санатории. Они перебранивались без умолку и во время игры и между робберами, но за долгие годы каждый до тонкости изучил игру другого и испытывал острое удовольствие от выигрыша. Обыкновенно Темплтон отказывался составить им компанию; прекрасный игрок, он тем не менее предпочитал играть с Айви, а Маклеод и Кембл единодушно считали, что это одно баловство. Айви принадлежала к числу тех игроков, которые, сделав ошибку, влекущую за собой проигрыш целого роббера, говорят со смехом: «Невелика беда — одной взяткой меньше». Но однажды у Айви болела голова, она осталась в своей комнате, и Темплтон согласился играть с Кемблом и Маклеодом. Эшенден сел четвертым.

Хотя был конец марта, несколько дней кряду шел снег, и они играли на веранде, открытой с трех сторон холодному ветру, в меховых пальто, шапках и перчатках. Ставки были слишком незначительны, чтобы побудить такого игрока, как Темплтон, играть осторожно, а потому он то и дело зарывался. Но играл он настолько лучше остальных, что почти всегда ухитрялся отобрать свои взятки или на худой конец садился без одной. Всем везло, и чаще обыкновенно объявлялся малый шлем; игра проходила бурно, и Маклеод с Кемблом без усталости пререкались. В половине шестого начался последний роббер, так как в шесть все должны были по звонку разойтись на отдых. Этот роббер протекал в упорной борьбе, обе стороны шли на штраф, ибо Маклеод и Кембл были противниками и каждый старался не дать выиграть другому. Без десяти шесть игра подходила к концу, оставалась последняя сдача. Темплтон играл с Маклеодом, а Эшенден — с Кемблом. Маклеод назначил две трефы; Эшенден спасовал; Темплтон показал сильную поддержку, и Маклеод назначил большой шлем. Кембл дуб-

лировал, Маклеод редублировал. Услышав это, игроки с других столов побросали карты и столпились около Маклеода, после чего игра шла при гробовом молчании небольшой кучки зрителей. Лицо Маклеода побледнело от волнения, на лбу проступили капли пота. Руки его тряслись. Кембл стал мрачнее тучи. Маклеод вынужден был дважды прорезать, и оба раза удачно. Под конец он заставил противников прокинуться и взял тринадцатую взятку. Зрители зааплодировали. Маклеод, гордый победой, вскочил на ноги. Он погрозил Кемблу кулаком.

— Где вам в карты играть, скрипач несчастный! — крикнул он. — Большой шлем, с дублем и редублем! Всю жизнь я мечтал о нем, и вот он мой! Мой! Мой!

Он задыхался. Его шатнуло, и он медленно повалился на стол. Кровь хлынула горлом. Послали за доктором. Прибегали служители. Маклеод был мертв.

Его похоронили через два дня, рано утром, чтобы не волновать больных печальным зрелищем. Из Глазго приехал какой-то родственник в трауре. Никто не любил Маклеода. Никто не жалел о нем. К концу недели его, по-видимому, забыли. Чиновник индийской службы занял его место за почетным столом, а Кембл переехал в комнату, о которой так давно мечтал.

— Теперь конец неприятностям, — сказал доктор Леннокс Эшендену. — Трудно поверить, что мне столько лет приходилось терпеть жалобы и склоки этой пары... Право же, нужно иметь ангельское терпение, чтобы содержать санаторий. И вот теперь, после того как этот человек доставил мне столько беспокойства, он умер такой нелепой смертью и перепугал всех больных до потери сознания.

— Да, это было сильное ощущение, — сказал Эшенден.

— Он был пустой человек, но некоторые женщины ужасно расстроились. Бедняжка мисс Бишоп выплакала все глаза.

— Мне кажется, она единственная из всех оплакивала его, а не себя.

Но вскоре выяснилось, что один человек не забыл Маклеода. Кембл бродил по санаторию, как собака, потерявшая хозяина. Он не играл в бридж. Не разговаривал. Сомнений быть не могло: он тосковал по Маклеоду. Несколько дней он не выходил из своей комнаты, даже в столовой не появлялся, а потом пошел к доктору Ленноксу и заявил, что

эта комната нравится ему меньше, чем старая, и он хочет переехать обратно. Доктор Леннокс вышел из себя, что случилось с ним редко, и ответил, что Кембл много лет приставал к нему с просьбой перевести его в эту комнату; так пусть теперь либо остается в ней, либо вовсе убирается из санатория. Кембл вернулся к себе и погрузился в мрачное раздумье.

— Отчего вы не играете на скрипке? — не выдержала наконец экономка. — Уже недели две вас не слышно.

— Не хочу.

— Почему же?

— Мне это не доставляет больше удовольствия. Раньше мне нравилось выводить Маклеода из себя. Но теперь никому нет дела, играю я или нет. Я никогда больше не буду играть.

И до самого отъезда Эшендена из санатория он ни разу не взял в руки скрипку. Как ни странно, но после смерти Маклеода он потерял всякий вкус к жизни. Не с кем стало ссориться, некого дразнить, пропал последний стимул, и не оставалось сомнений, что в самом скором времени он последует за своим недругом в могилу.

Но на Темплтона смерть Маклеода произвела совершенно иное впечатление, имевшее самые неожиданные последствия. Он сказал Эшендену, как всегда, равнодушно-беспечным тоном:

— А ведь это здорово — умереть, как он, в минуту своего торжества. Не могу понять, почему все так опечалились. Он провел здесь много лет, не так ли?

— Кажется, восемнадцать.

— По мне, такая игра не стоит свеч. По мне, лучше уж разом взять свое, а потом будь что будет.

— Разумеется, все зависит от того, насколько вы дорожите жизнью.

— Да разве это жизнь?

Эшенден не нашел что ответить. Сам он надеялся выздороветь через несколько месяцев, но стоило взглянуть на Темплтона, и становилось ясно, что ему не поправиться. На лице его уже проступила печать смерти.

— Знаете, что я сделал? — сказал Темплтон. — Я предложил Айви стать моей женой.

Эшенден был поражен.

— Ну и что же она?

— Она, доброе сердечко, ответила, что это самое смешное предложение, какое ей только приходилось выслушивать, и я, должно быть, с ума сошел.

— Признайтесь, что она права.

— Конечно. Но она согласилась выйти за меня замуж.

— Это безумие.

— Разумеется, безумие. Но как бы то ни было, мы намерены поговорить об этом с Ленноксом.

Зима наконец миновала; в горах еще лежал снег, но в долинах он стоял, и внизу, на склонах, березки уже украсились почками, вот-вот готовыми пробрызнуть нежной молодой зеленью. Очарование весны ощущалось повсюду. Солнце уже пригревало. Все оживилось, некоторые даже блаженствовали. Ветераны, приезжавшие только на зиму, собирались в южные края. Темплтон и Айви вместе пошли к доктору Ленноксу. Они рассказали о своих планах. Леннокс осмотрел их; были сделаны рентгеновские снимки и различные анализы. Доктор назначил день, в который обещал сообщить результаты и в соответствии с этим обсудить их намерение. Эшенден видел их перед решительным разговором с доктором. Оба были взволнованы, но изо всех сил старались не подавать виду. Доктор Леннокс показал им результаты исследования и в простых словах обрисовал их состояние.

— Все это очень мило и любопытно, — заметил Темплтон, — но нам хотелось бы знать, можем ли мы пожениться.

— Это было бы крайне неразумно...

— Мы знаем, но какое это имеет значение?

— И преступно, если у вас родится ребенок.

— Ребенка не будет, — сказала Айви.

— Что ж, в таком случае я очень коротко изложу вам, как обстоят дела. А потом решайте сами.

Темплтон ободряюще улыбнулся Айви и взял ее за руку. Доктор продолжал:

— Мисс Бишоп едва ли окрепнет когда-нибудь настолько, чтобы вернуться к нормальной жизни, но если она и дальше будет жить так, как последние восемь лет...

— В санаториях?

— Да. Не вижу причин, почему бы ей благополучно не дожить если не до преклонных лет, то, по крайней мере, до того времени, которым следует удовольствоваться всякому благоразумному человеку. Болезнь не прогрессирует.

Если же мисс Бишоп выйдет замуж и пожелает вести нормальную жизнь, очаги инфекции могут снова возродиться, и последствия этого никто не в состоянии предсказать. Что касается вас, Темплтон, то ваше состояние я могу охарактеризовать еще короче. Вы сами видели рентгеновские снимки. Какие у вас легкие — живого места нет. Если вы женитесь, то не проживете и полгода.

— А если не женюсь, сколько я могу прожить?

Доктор колебался.

— Не бойтесь, можете сказать мне правду.

— Два или три года.

— Благодарю вас, это все, что мы хотели знать.

Они вышли, как и вошли, рука об руку; Айви тихо плакала. Никто не слышал, о чем они разговаривали, но, когда они вышли к завтраку, лица у обоих сияли. Они сказали Эшендену и Честеру, что поженятся, как только получат разрешение на брак. Потом Айви повернулась к Честеру.

— Мне бы так хотелось видеть вашу жену у нас на свадьбе. Как вы думаете, она приедет?

— Неужели вы намерены пожениться здесь?

— Да. И мои и его родственники будут только недовольны, так что мы решили пока ничего не сообщать им. Мы попросим доктора быть моим посаженным отцом.

Она ласково взглянула на Честера, ожидая ответа. Двое других мужчин тоже посмотрели на него. Когда Честер заговорил, голос его слегка дрожал:

— Это очень любезно с вашей стороны. Я напишу ей и передам ваше приглашение.

Когда новость распространилась среди больных, многие, хотя и поздравили Айви и Темплтона, втихомолку решили между собой, что это настоящее безрассудство. Но когда им стал известен приговор доктора Леннокса — а в санатории все рано или поздно становится известным — и они представили себе, что если Темплтон женится, то не проживет и полгода, все умолкли в благоговейном страхе. Даже самые равнодушные не могли без волнения думать об этих двух людях, которые так любят друг друга, что не испугались смерти. Дух всепрощения и доброй воли снизошел на санаторий: те, кто был в ссоре, помирились; остальные на время забыли о своих горестях. Казалось, каждый разделял радость этой счастливой четы. И не только весна

наполнила эти больные сердца новой надеждой: великая любовь, охватившая мужчину и девушку, словно обогрела своими лучами все вокруг. Айви пребывала в тихом блаженстве; волнение красило ее, она выглядела моложе и привлекательней. Темплтон был на седьмом небе. Он смеялся и шутил, словно забот у него не было и в помине. Казалось, ему предстоят долгие годы безоблачного счастья. Но однажды он открылся Эшендену.

— Собственно говоря, здесь не так плохо, — сказал он. — Айви обещала, что, когда я сыграю свой последний роббер, она вернется в этот санаторий. Тут у нее много знакомых, и ей не будет так тоскливо.

— Доктора часто ошибаются, — заметил Эшенден. — Если вы будете благоразумны, почему бы вам не прожить еще довольно долго...

— Мне бы только три месяца протянуть. Только три месяца, о большем я и не мечтаю.

Миссис Честер приехала за два дня до свадьбы. Она не виделась с мужем несколько месяцев, и теперь оба смутились. Нетрудно было догадаться, что, оставаясь наедине, они чувствовали себя неловко и скованно. Однако Честер всеми силами старался побороть угнетенное состояние, ставшее для него уже привычным, и, по крайней мере, за столом показал себя веселым, сердечным человеком, каким он, наверное, и был до болезни. Накануне свадьбы все пообедали вместе: Темплтон и Эшенден нарушили режим и не ушли к себе; они пили шампанское, и до десяти вечера не прекращались шутки, смех и веселье. Бракосочетание состоялось на другое утро в ближней церковке. Эшенден был шафером. Собрались все больные, способные держаться на ногах. А сразу после завтрака новобрачные должны были уехать автомобилем. Больные, врачи и няни вышли проводить их. Кто-то привязал к заднему буферу машины старый башмак, и когда Темплтон с женой появились в дверях санатория, их осыпали рисом. Раздалось «ура», и они тронулись в путь, навстречу любви и смерти. Толпа медленно расходилась. Честер и его жена молча шли рядом. Сделав несколько шагов, он робко взял ее за руку. Сердце ее замерло. Краешком глаза она заметила слезы на его ресницах.

— Прости меня, дорогая, — заговорил он. — Я был жесток к тебе.

— Я знаю, ты не хотел меня обидеть, — ответила она запинаясь.

— Нет, хотел. Я хотел причинить тебе страдание, потому что страдал сам. Но теперь с этим покончено. То, что произошло с Темплтоном и Айви Бишоп... не знаю, как это назвать... заставило меня по-новому взглянуть на вещи. Я больше не боюсь смерти. Мне кажется, смерть значит для человека меньше, гораздо меньше, чем любовь. И я хочу, чтобы ты жила и была счастлива. Я больше ни в чем не завидую тебе и ни на что не жалуюсь. Теперь я рад, что умереть суждено мне, а не тебе. Я желаю тебе всего самого хорошего, что есть в мире. Я люблю тебя.

БРАК ПО РАСЧЕТУ

Я отплыл из Бангкока на маленьком, повидавшем виды суденышке грузоподъемностью четыреста — пятьсот тонн. В тусклом салоне, служившем также столовой, вдоль стен тянулись два узких стола, по обе стороны которых стояли вращающиеся кресла. Каюты находились во внутренней части корабля, и в них было очень грязно. По полу разгуливали тараканы, и даже если вы человек совершенно невозмутимый, вам будет не по себе, когда, подходя к раковине помыть руки, вы увидите, как из нее лениво выползает жирный таракан.

Мы спустились вниз по широкой, неторопливой, добродушной реке, зеленые берега которой были усыпаны домишками на сваях, стоявшими прямо у воды. Мы прошли заставу, и взору моему открылось море, голубое и спокойное. Увидев его, вдохнув его запах, я почувствовал прилив восторженной радости.

На корабль я сел рано утром и вскоре обнаружил, что судьбе было угодно поместить меня в чрезвычайно разнородное общество. На борту находились два французских коммерсанта, бельгийский полковник, итальянский тенор, владелец цирка, американец с женой и какой-то французский чиновник в отставке, тоже с женой. Владелец цирка был, что называется, компанейским парнем, людей такого типа вы всегда можете, в зависимости от настроения, приблизить к себе или держать на расстоянии, но я в то время был вполне доволен жизнью, и не прошло и часа, как мы уже успели сыграть в кости на стаканчик спиртного, после чего он показал мне своих животных. Это был очень низкорослый, плотный человек, его белая, не отличавшаяся

особой чистотой куртка плотно облегла благородные контуры его живота, однако воротник ее был настолько узок, что оставалось только удивляться, как это он не задыхается. На красном, чисто выбритом лице его светились веселые голубые глаза, а короткие рыжеватые волосы торчали во все стороны. Потрепанный тропический шлем лихо сидел на затылке. Родом он был из Орегона, из города Портленда, звали его Уилкинс. Оказывается, жители стран Востока равнодушны к цирку, и вот уже двадцать лет мистер Уилкинс колесил по всему Востоку, от Порт-Саида до Иокотамы (Аден, Бомбей, Мадрас, Калькутта, Рангун, Сингапур, Бангкок, Сайгон, Ханой, Гонконг, Шанхай — имена городов со смаком слетают с языка, наполняя воображение солнечным светом, громкими звуками и бьющей в глаза пестротой), со своим зверинцем и каруселями. Он жил удивительной, странной жизнью, и можно было предположить, что в жизни этой происходит много интересного и любопытного, но как ни парадоксально, этот маленький толстяк был совершенно заурядной личностью, и вы ни сколько не удивились бы, окажись он владельцем гаража или хозяином третьеразрядного отеля в каком-нибудь заштатном калифорнийском городишке. Истина, подтверждение которой я встречал в жизни столь часто и которая тем не менее всегда меня озадачивает, заключается в том, что человек, живущий в необычных условиях, сам от этого необычнее не становится, но, с другой стороны, человек необычный сделает свою жизнь необычной, даже если он всего-навсего рядовой сельский священник.

Жаль, что здесь будет не вполне уместна история отшельника, которого я навестил в Торресовом проливе; этот моряк с потерпевшего кораблекрушение судна прожил на острове в полном одиночестве целых тридцать лет, но когда пишешь книгу, ты заточен в четыре стены своего сюжета, и хотя, дабы ублажить мой отвлекающийся мозг, я сейчас об этой истории вспоминаю, в конце концов, мне придется этот кусочек выкинуть. Короче говоря, суть в том, что при длительном и тесном общении с природой и собственными мыслями человек этот по прошествии этих уникальных тридцати лет остался таким же нудным, бесчувственным и вульгарным чурбаном, каким был прежде.

Мимо нас прошел певец-итальянец, и мистер Уилкинс сказал мне, что этот тенор родом из Неаполя и плывет в

Гонконг, чтобы присоединиться к своей труппе, от которой он отстал из-за приступа малярии, случившегося с ним в Бангкоке. Итальянец был крупного телосложения, довольно толст, и когда он плюхнулся в кресло, оно испуганно под ним скрипнуло.

Он снял шлем, и миру предстала крупная голова с длинными, курчавыми и засаленными волосами, по которым он провел толстыми окольцованными пальцами.

— Не очень общительный малый, — заметил мистер Уилкинс. — Я угостил его сигарой, но выпить со мной он отказался. Не удивлюсь, если мне скажут, что он немного не того. Согласитесь, тип не из приятных.

На палубе появилась невысокая полная женщина в белом платье. За руку она вела небольшую обезьяну, которая важно шествовала рядом.

— Позвольте вам представить миссис Уилкинс, — объявил владелец цирка, — и нашего младшего сыночка. Берите кресло, миссис Уилкинс, и знакомьтесь с этим джентльменом. Я не знаю его имени, но он уже дважды заплатил вместо меня за виски, и если бросать кости лучше он не умеет, ему придется угостить чем-нибудь и тебя.

С глубокомысленным, отсутствующим выражением на лице миссис Уилкинс опустила в кресло и, не отрывая глаз от голубых волн, дала понять, что не имеет ничего против бутылочки лимонада.

— Боже, какая жара, — пробормотала она, обмахиваясь шлемом.

— Миссис Уилкинс плохо переносит жару, — сообщил ее муж. — Она борется с ней вот уже двадцать лет.

— Двадцать два с половиной года, — поправила миссис Уилкинс, все так же глядя в волны.

— И так к ней и не привыкла.

— Никогда не привыкну, и тебе об этом прекрасно известно, — отрезала миссис Уилкинс.

Ростом она была под стать мужу и почти такая же полная, лицо, как и у него, было красное и круглое, и такие же рыжеватые, чуть растрепанные волосы. Интересно, подумал я, они потому и женились, что так похожи друг на друга, или с течением лет их черты приобрели такое поразительное сходство! Не поворачивая головы, она продолжала с рассеянным видом смотреть на море.

— Ты уже показал ему животных? — спросила она.

— Даю голову на отсечение, что да.

— Как ему понравился Перси?

— Он был им совершенно очарован.

Я не мог не почувствовать, что меня самым несправедливым образом вытесняют из беседы, предметом которой я частично являлся, поэтому я решил вмешаться:

— Кто такой Перси?

— Наш старший сынок. Смотри, Элмер, летающая рыба. Он орангутанг. Он сегодня хорошо позавтракал?

— Прекрасно. Это самый большой орангутанг, живущий в неволе. Я не отдал бы его и за тысячу долларов.

— А кем вам приходится слон? — спросил я.

Миссис Уилкинс не удостоила меня взглядом, ее голубые глаза продолжали безразлично созерцать море.

— Никем не приходится, — ответила она. — Просто другом.

Мальчик-слуга принес лимонад миссис Уилкинс, виски с содовой — ее мужу, а мне — джин с тоником. Мы бросили кости, и я подписал счет.

— Он может обанкротиться, если всегда проигрывает в кости, — негромко произнесла миссис Уилкинс, обращаясь к береговой линии.

— Мне кажется, дорогая, Эгберт хочет попробовать твоего лимонада, — сказал мистер Уилкинс.

Миссис Уилкинс чуть повернула голову и взглянула на обезьянку, сидевшую у нее на коленях.

— Хочешь, Эгберт, мамочка даст тебе глотнуть лимонада?

Обезьянка чуть взвизгнула, и, обхватив ее покрепче, миссис Уилкинс протянула ей соломинку. Обезьянка пососала немножко лимонада и, утолив жажду, удобно устроилась на просторной груди миссис Уилкинс.

— Миссис Уилкинс без ума от Эгберта, — пояснил ее муж. — Ничего удивительного, он ведь ее младшенький.

Взяв новую соломинку, миссис Уилкинс задумчиво допила лимонад.

— Об Эгберте не беспокойтесь, — заметила она. — С ним все в порядке.

В этот момент французский чиновник, все время мирно сидевший в сторонке, поднялся и принялся прогуливаться по палубе. В порту его провожали французский посланник в Бангкоке, несколько секретарей, один из королевских

наследников. Они долго раскланивались с отъезжающим, жали ему руки, а когда корабль наконец отчалил от пирса, махали платками и шляпами. Видимо, он был важной персоной. Я слышал, как капитан обращался к нему *Monsieur le gouverneur*¹.

— На нашем корабле это самая крупная птица, — оживился мистер Уилкинс. — Он был губернатором в одной из французских колоний, а сейчас просто путешествует. В Бангкоке он был на моем представлении. Пожалуй, спрошу, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Как мне к нему обратиться, дорогая?

Миссис Уилкинс медленно повернула голову и взглянула на француза, прохаживающегося взад-вперед по палубе. В петлице у него была закреплена розетка ордена Почетного легиона.

— Никак не обращайся, — отозвалась она. — Покажи ему обруч, и он сам в него прыгнет.

Я едва удержался от смеха. *Monsieur le gouverneur* был невысокий человечек, много ниже среднего роста, хлипкого телосложения, с маленьким некрасивым лицом и крупными почти негроидными чертами. Кроме того, у него были густые седые волосы, густые седые брови и густые седые усы. Он действительно чем-то смахивал на пуделя, и глаза у него, как у пуделя, были добрые, умные и блестящие. Когда он в очередной раз проходил мимо, мистер Уилкинс окликнул его:

— *Monsoo. Qu'est-ce que vous prenez?*² — Я не могу воспроизвести всю эксцентричность его акцента. — *Une petite verre de porto*³. — Он повернулся ко мне: — Иностранцы всегда пьют порто, тут уж впросак не попадешь.

— Только не голландцы, — откликнулась миссис Уилкинс, глядя за борт. — Они ни к чему, кроме шнапса, и не притронутся.

Высокопоставленный француз остановился и взглянул на мистера Уилкинса в некотором смущении, мистер же Уилкинс, легонько стукнув себя в грудь, объявил:

— *Мoa, proprietaire Cirque. Vous avez visité*⁴.

¹ Господин губернатор (*фр.*).

² Месье, что вы будете пить? (*фр.*).

³ Рюмочку порто (*фр.*).

⁴ Я владелец цирка. Вы посещали (искаж. *фр.*).

Тут мистер Уилкинс по необъяснимой причине изобразил руками обруч, как бы приглашая пуделя прыгнуть сквозь него.

Затем он указал на обезьянку, которая продолжала сидеть на коленях миссис Уилкинс.

— *La petit fils de mon femme*¹, — представил он.

Губернатор весь просиял и захохотал, смех у него был особый — музыкальный и очень заразительный. Мистер Уилкинс тоже начал смеяться.

— *Oui, oui*, — закричал он. — Моа, владелец цирка. *Une petite verre de porto. Oui. Oui. N'est-ce pas?*²

— Мистер Уилкинс говорит по-французски, как настоящий француз, — сообщила миссис Уилкинс бегущим волнам.

— *Mais très volontiers*³, — согласился губернатор, все еще улыбаясь.

Я пододвинул ему кресло, и, поклонившись миссис Уилкинс, он уселся рядом с нами.

— Скажи пуделю, что нашего сыночка зовут Эгберт, — сказала она, глядя на море.

Я подозвал мальчика, и мы заказали всем выпить.

— Подпиши счет, Элмер, — сказала миссис Уилкинс. — Нечего мистеру, не знаю, как там его, играть в кости, если он не может выбросить больше двух троек.

— *Vous comprenez le français, madame?*⁴ — вежливо обратился губернатор к миссис Уилкинс.

— Он спрашивает, дорогая, говоришь ли ты по-французски.

— Вот еще! Он что, считает, что я родом из Неаполя?

Тогда губернатор, бурно жестикулируя, разразился потоком английского, настолько фантастического, что мне потребовалось все мое знание французского, чтобы его понять.

Мистер Уилкинс тут же потащил его вниз показать своих животных, а через некоторое время мы снова собрались в душном салоне на обед. Появилась жена губернатора, которую посадили справа от капитана. Губернатор представил ей всех присутствующих, после чего она грациозно нам

¹ Младший сын моей супруги (фр.).

² Да, да. Рюмочку порто. Да, да. Не так ли? (фр.).

³ С удовольствием (фр.).

⁴ Вы понимаете по-французски, мадам? (фр.).

поклонилась. Это была крупная женщина, высокая, крепкого сложения, лет пятидесяти — пятидесяти пяти, одетая в несколько строгое платье из черного шелка. На голове она носила огромный круглый шлем. Черты ее были настолько правильные и крупные, формы настолько внушительные, что вам сразу приходили на ум те могучие женщины, без которых не обходится ни одна процессия. Она была бы прекрасным олицетворением Америки или Британии в какой-нибудь патриотической демонстрации. Она возвышалась над своим миниатюрным мужем, как небоскреб над хижинкой. Он беспрерывно болтал, с живостью и остроумием, и когда он говорил что-нибудь особенно забавное, ее солидные черты расплывались в широкую нежную улыбку.

— *Que tu es bête, mon ami!*, — сказала она. Повернувшись к капитану, она добавила: — Пожалуйста, не обращайтесь на него внимания. Он всегда такой.

Мы действительно хорошо позабавились за обедом и, когда все было съедено, разошлись по своим каютам, чтобы переспать послеобеденную жару. На таком маленьком корабле, однажды познакомившись со всеми попутчиками, было просто невозможно, даже если бы я этого и хотел, избежать компании друг друга, разве что сидеть, запершись в каюте. Единственным человеком, державшимся особняком, был итальянец-тенор. Он ни с кем не заговаривал, а сидел в сторонке и тихонько тренькал на гитаре, и чтобы уловить мелодию, приходилось напрягать слух. Беседуя то об одном, то о другом, мы наблюдали, как догорает день, ужинали, а потом снова сидели на палубе и глядели на звезды. Два коммерсанта, несмотря на духоту, играли в салоне в пикет, бельгийский же полковник присоединился к нашей маленькой группке. Он был робок и толст и открывал рот лишь для того, чтобы произнести какую-нибудь вежливую фразу. Приход ночи и наступление темноты, видимо, вдохновили сидящего на корме тенора, дав ему ощущение, что он с морем один на один, ибо, подыгрывая себе на гитаре, он начал петь, сначала совсем тихо, потом громче, и, наконец, музыка целиком захватила его, и он запел во весь голос. У него был настоящий итальянский голос, полный спагетти, оливкового масла и солнечного света, и пел

¹ Ну что ты за шут, друг мой (*фр.*).

он неаполитанские песни, которые я слышал в годы моей юности, а также арии из «Богемы», «Риголетто» и «Травиаты». Пел он с чувством, но довольно наигранно, и тремоло его напоминали вам любого третьеразрядного итальянского тенора, однако в эту прекрасную ночь под открытым небом напыщенность его пения лишь вызывала улыбку, и вы чувствовали, как вас переполняет ленивое наслаждение. Он пел примерно час, и все мы тихо сидели и слушали. Потом он смолк, но остался сидеть, и его могучий силуэт смутно вырисовывался на фоне закатного неба.

Я обратил внимание, что маленький французский губернатор держит в руке руку своей большой жены, зрелище это было нелепым и в то же время трогательным.

— Знаете ли вы, что сегодня годовщина того дня, когда я впервые встретил свою жену? — разорвал он внезапно тишину, которая, безусловно, давила его, потому что он был на редкость словоохотлив. — Сегодня также годовщина дня, когда она обещала стать моей женой. Вам это может показаться странным, но оба эти события произошли в один день.

— *Voyons, mon ami*¹, — с укоризной сказала его жена, — неужели ты собираешься уморить всех этой старой историей? Ты совершенно невыносим.

Но на крупном, строгом лице ее играла улыбка, а по тону можно было предположить, что она не прочь послушать эту историю снова.

— Но им это будет интересно, *mon petit chou*². — Именно так он всегда обращался к жене, что при ее импозантности и статуарности, при его малом росте было весьма забавно слышать. — Разве нет, *monsieur*, — обратился он ко мне. — Это романтическая история, а разве все мы не романтичны в душе, особенно в такую прекрасную ночь!

Я уверил губернатора, что мы будем очень рады его послушать, а бельгийский полковник не упустил случая в очередной раз продемонстрировать хорошее воспитание.

— Видите ли, брак наш был браком по расчету в самом чистейшем виде.

— *C'est vrai*³, — подтвердила супруга. — Было бы глупо это отрицать. Но иногда любовь приходит не до свадьбы, а после нее, и такая любовь вернее. Она длится дольше.

¹ Право же, друг мой (*фр.*).

² Моя лапунечка (*фр.*).

³ Это правда (*фр.*).

Я заметил, как губернатор нежно пожал ее руку.

— Видите ли, я долго служил во флоте, и когда вышел в отставку, мне было сорок девять лет. Я чувствовал, что полон сил и энергии, и жаждал найти себе какое-нибудь занятие. Я начал искать, я использовал все имевшиеся у меня связи. К счастью, у меня был двоюродный брат, который имел кое-какой вес. В этом заключается одно из преимуществ демократического правления: если ты обладаешь определенным влиянием и имеешь определенные заслуги, это уже не пройдет незамеченным и тебе воздается должное.

— Ты сама скромность, *mon pauvre ami!*¹, — сказала она.

И вот однажды меня вызвал к себе министр по делам колоний и предложил пост губернатора в одной из колоний. Место, куда он собирался меня послать, находилось довольно далеко, к тому же было на отшибе, но так как всю свою жизнь я таскался из порта в порт, это обстоятельство меня ничуть не смутило. Я принял предложение с радостью. Министр велел мне быть готовым к выезду через месяц. Я ответил, что старому холостяку, у которого за душой нет ничего, кроме необходимой одежды да книг, много времени на сборы не потребуется.

— *Comment, mon lieutenant?*², — воскликнул он, — вы холостяк?

— Да, — отвечал я. — И намереваюсь в этом качестве остаться.

— В таком случае, боюсь, мне придется свое предложение снять. Для назначения на этот пост вам необходимо иметь супругу.

Это длинная история, но суть ее в том, что мой предшественник, холостяк, оскандалился из-за того, что у него прямо в резиденции жили местные девушки, и это вызывало постоянные жалобы наших соотечественников — колонистов и жен служащих. После этого было решено, что губернатор должен быть образцом добродетели. Я пытался возражать. Я спорил. Я перечислил свои заслуги перед страной, говорил о том, насколько полезным может оказаться мой двоюродный брат на предстоящих выборах. Но все мои доводы не произвели на министра никакого впечатления. Он был непреклонен.

¹ Мой бедный друг (*фр.*).

² Как, лейтенант (*фр.*).

— Но что же мне делать? — воскликнул я в отчаянии.

— Вы можете жениться, — посоветовал министр.

— Mais voyons, monsieur le ministre¹, у меня нет ни одной знакомой женщины. Я никогда не пользовался у них успехом, и мне сорок девять лет. Каким же образом я могу найти себе жену?

— Нет ничего проще. Поместите объявление в газете.

Я был настолько ошарашен, что у меня даже язык отнялся.

— Обдумайте все как следует, — сказал на прощание министр. — Найдете за месяц жену — можете ехать, не найдете — места не получите. Это мое последнее слово. — Он чуть улыбнулся, ему ситуация рисовалась вполне комичной. — Если надумаете давать объявление в газету, могу порекомендовать «Фигаро».

Когда я вышел из министерства, сердце мое переполняла великая скорбь. Я был знаком с местом моего возможного назначения и знал, что оно устроило бы меня во всех отношениях, климат был вполне сносным, а здание резиденции — большим и удобным. Перспектива стать губернатором вовсе не была мне неприятна, а жалованье, учитывая, что, кроме пенсии морского офицера, я не имел ни гроша, тоже не оказалось бы лишним. И тогда я решился. Я пошел в редакцию «Фигаро», написал объявление и отдал его для публикации. Но могу сказать вам: когда я шел по Елисейским полям, сердце мое колотилось с таким неистовством, с каким не колотилось, даже когда мой корабль собирался вступить в бой.

Губернатор подался чуть вперед и сжал мне рукой колено.

— Mon cher monsieur², в это трудно поверить, но я получил четыре тысячи триста семьдесят два ответа. Это была настоящая лавина. Я ожидал получить максимум полдюжины писем, но мне пришлось нанять кеб, чтобы перевезти всю почту к себе в отель. Комната была буквально завалена письмами. Четыре тысячи триста семьдесят две женщины выражали желание разделить мое одиночество и стать губернаторшей. Я был потрясен. Они были всех возрастов, от семнадцати до семидесяти. Здесь были девицы с безупречной

¹ Но послушайте, господин министр (*фр.*).

² Мой дорогой месье (*фр.*).

родословной и прекрасным образованием, здесь были незамужние женщины, которые в определенный период своей жизни совершили маленькую ошибку и теперь хотели стабилизировать свое положение; были здесь и вдовы, мужья которых погибли при самых трагических обстоятельствах; были и вдовы, чьи дети могли бы стать мне утешением на старости лет. Были блондинки и брюнетки, высокие и невысокие, полные и худощавые; одни свободно говорили на пяти языках, другие умели отлично играть на фортепьяно. Одни предлагали мне любовь, другие жаждали ее получить; третьи могли мне обещать только верную дружбу, основанную на глубоком уважении; четвертые владели состоянием и прочими несметными богатствами. Я был подавлен. Я был сбит с толку. В конце концов, будучи человеком вспыльчивым, я совершенно вышел из себя, стал топтать ногами все эти письма вместе с фотографиями и кричать, что не женюсь ни на одной из них. Ведь не было никакой надежды на то, что в течение оставшегося месяца я смогу встретиться со всеми четырьмя тысячами женщин, претендующих на мою руку. Я чувствовал, что, если не встречу с каждой из них, меня до конца дней будет мучить мысль, что я прошел мимо женщины, которая предназначалась мне судьбой. Поэтому я решил отказаться от этой авантюры.

Мне стало жутко в своей комнате, засыпанной смятыми письмами и фотографиями, и, чтобы немного развеяться, я отправился на бульвар посидеть в кафе де ля Пе. Через некоторое время появился один мой приятель; заметив меня, он кивнул мне и улыбнулся. Я попытался ответить ему улыбкой, но на душе у меня скребли кошки. Я представил, что до конца жизни мне придется прозябать на скромную пенсию. Мой знакомый остановился, подошел ко мне и сел рядом.

— Почему у тебя такой мрачный вид, *mon cher*?¹ — осведомился он.

Я был рад, что нашелся кто-то, кому я могу поведать о своих бедах, и рассказал ему всю историю. Он хохотал до упаду. Позже мне неоднократно приходило в голову, что со стороны этот случай должен был выглядеть достаточно комичным, но, уверяю вас, в тот момент я не видел в нем ничего смешного. Я так и сказал моему приятелю, причем

¹ Мой друг (*фр.*).

в довольно резкой форме, и тогда, стараясь, по возможности, сдержать свое веселье, он спросил меня:

— Но, дорогой мой, ты в самом деле собрался жениться?

Тут уж я окончательно потерял над собой контроль.

— Ты безмозглый идиот! — заявил ему я. — Если бы я не собирался жениться, причем жениться немедленно, в течение двух недель, разве стал бы я три дня подряд сидеть над любовными письмами от женщин, которых никогда и в глаза не видел?

— Упокойся и слушай, что я тебе скажу, — сказал он тогда. — У меня в Женеве есть двоюродная сестра. Она швейцарка. У нее совершенно безупречная репутация, она достаточно молода, старой девой осталась потому, что последние пятнадцать лет ухаживала за своей больной матушкой, которая недавно умерла, она очень образованна и во все не безобразна.

— Прямо пример для подражания, — сказал я.

— Этого я не утверждаю, но она получила хорошее воспитание и вполне справится с ролью, которую ты можешь ей предложить.

— Ты забываешь одну маленькую деталь. Где те доводы, которые заставят ее бросить друзей, отказаться от привычного образа жизни ради того, чтобы сопровождать в ссылке сорокадевятилетнего мужчину, которого к тому же никак не назовешь красавцем?

Monsieur le gouverneur прервал свой монолог и, пожав плечами столь выразительно, что голова его почти скрылась между ними, повернулся к нам:

— Я уродлив, и мне об этом прекрасно известно. Бывает уродство, которое внушает уважение или страх, мой же тип уродства способен вызвать лишь смех, и этот тип — самый худший. Когда люди видят меня впервые, они не содрогаются от ужаса, что в какой-то степени было бы лестно, а просто начинают смеяться. Вы знаете, когда сегодня утром наш чудесный мистер Уилкинс показывал мне своих животных, орангутанг Перси, увидев меня, протянул мне навстречу лапы и, если бы не решетка клетки, прижал бы меня к груди, как давно пропавшего без вести родного брата. Однажды, когда я гулял по парижскому зоопарку и вдруг услышал, что сбежала человекообразная обезьяна, я как можно скорее направился к выходу, боясь, что,

ошибочно приняв меня за беглеца, меня схватят и, не слушая никаких объяснений, упрячут в обезьяний вольер.

— *Voyons, mon ami*¹, — сказала его супруга своим напевным бархатистым голосом, — ты совсем зарапортовался. Я не говорю, что ты Аполлон, в твоём положении это и не требуется, но ты полон достоинства, умеешь прекрасно держаться в обществе, любая женщина даст тебе самую лучшую аттестацию.

— Я продолжу свой рассказ. Итак, когда я с сомнением отнесся к предложению моего приятеля, он мне сказал:

— Поступки женщин не поддаются логике. В женитьбе есть нечто такое, что привлекает их самым удивительным образом. Чем ты, собственно говоря, рискуешь? В конце концов, когда женщине предлагают руку и сердце, для нее это комплимент. В худшем случае она откажется.

— Но я ведь твою двоюродную сестру даже не знаю и не имею понятия, как с ней познакомиться. Не могу же я просто прийти к ней в дом, спросить ее и, когда меня проведут в гостиную, объявить: «*Voilà*², я приехал просить вас выйти за меня замуж». Она примет меня за сумасшедшего и станет звать на помощь. Кроме того, я человек крайне застенчивый и на такой шаг в жизни не решусь.

— Я научу тебя, как поступить, — сказал мой приятель. — Поезжай в Женеву и повези ей от меня коробку шоколада. Она будет рада новостям обо мне и примет тебя с удовольствием. Ты можешь с ней немного поболтать, и если она тебе не понравится, ты просто спрашиваешь и уйдешь, и все останется на своих местах. Если же, напротив, она тебе понравится, мы займемся этим вопросом серьезно, и ты сделаешь ей официальное предложение.

Я был в отчаянии. Казалось, другого выхода у меня не было. Не теряя времени, мы пошли в магазин, купили огромную коробку шоколада, и вечером того же дня я поездом выехал в Женеву. Прибыв туда, я тотчас послал ей письмо, извещая, что у меня находится подарок для нее от ее двоюродного брата и я с большим удовольствием передал бы этот подарок лично. Через час пришел ответ, в котором она сообщала, что будет рада принять меня в четыре часа дня. Все оставшееся время я провел перед зеркалом, я сем-

¹ Послушай, друг мой (*фр.*).

² Ну вот (*фр.*).

надцать раз завязывал и снова развязывал галстук. Ровно в четыре часа я появился на пороге ее дома, и меня сразу провели в гостиную. Она меня ждала. Ее двоюродный брат сказал, что она не безобразна. Представьте, как я изумился, увидев молодую женщину, enfin¹ женщину еще молодую, с благородной осанкой, величавую, как Юнона, красивую, как Венера, во взгляде которой светился ум Минервы.

— Ты совсем утратил чувство меры, — поморщилась его супруга. — Но всем уже и так ясно, что тебя здорово заносит.

— Клянусь вам, я не преувеличиваю. Я был так поражен, что чуть не выронил коробку с шоколадом. Но я тут же сказал себе: «La garde meurt mais ne se rend pas»². Я передал ей коробку конфет и рассказал о ее двоюродном брате. Я нашел ее очень общительной. Так мы проговорили четверть часа, после чего я приказал себе: «Вперед». И тогда я сказал ей:

— Mademoiselle, я должен признаться, что прибыл сюда не только для того, чтобы передать вам коробку шоколада.

Улыбнувшись, она ответила, что у меня, вполне естественно, были более серьезные причины для приезда в Женеву.

— Я приехал сюда, чтобы просить вашей руки.

Она вздрогнула.

— Но, monsieur, вы сошли с ума, — сказала она.

— Умоляю вас не отвечать, прежде чем вы не выслушаете факты, — прервал ее я и, не дав ей произнести ни слова, выложил все, как было, от начала до конца.

Я рассказал ей об объявлении в «Фигаро», и она смеялась так, что по щекам ее текли слезы. Потом я повторил свое предложение.

— Вы это серьезно? — спросила она.

— Как никогда в жизни серьезно.

— Глупо отрицать, что ваше предложение является для меня неожиданностью. О замужестве я и не помышляла, возраст у меня уже не тот, но тем не менее ваше предложение не из тех, которые женщины отвергают не задумываясь. Оно мне льстит. Мне нужно на размышление несколько дней.

¹ По крайней мере (фр.).

² Гвардия умирает, но не сдается (фр.).

— Mademoiselle, я в полном отчаянии, — воскликнул я — но у меня абсолютно нет времени! Если вы не согласитесь выйти за меня замуж, мне придется вернуться в Париж и снова усесться за чтение, ибо тысячи полторы писем еще требуют моего внимания.

— Но, помилуйте, совершенно ясно, что я не могу вам дать ответ немедленно! Четверть часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я должна посоветоваться с друзьями и родственниками.

— Да какое они к этому имеют отношение? Вы взрослый, самостоятельный человек. Дело очень срочное. Ждать я не могу. Я вам обо всем рассказал. Вы умная женщина. Разве может длительное размышление повлиять на решение, принятое под влиянием момента?

— Я надеюсь, вы не требуете от меня ответа сию же минуту? Это уж слишком.

— Именно об этом я и прошу. Мой поезд отправляется в Париж через два часа.

Она задумчиво посмотрела на меня.

— Вы сумасшедший, это совершенно ясно. Вас нужно посадить под замок для вашей собственной безопасности и для безопасности окружающих.

— Так какой же будет ответ? — не отступал я. — Да или нет?

Она пожала плечами.

— Mon Dieu¹. — Минуту она молчала, а я сгорал от нетерпения, мучительно ожидая ответа. — Да.

Губернатор простер руку в сторону жены:

— И вот вам моя жена. Через неделю мы вступили в брак, и я стал губернатором колонии. Я взял в жены настоящее сокровище, уважаемые господа, женщину с прекрасным характером, какой встретишь у одной из тысячи, человека с мужским умом и женским сердцем, восхитительную женщину.

— Но, mon ami, попридержи хоть чуточку свой язык, — урезонивающе произнесла его супруга. — Теперь ты не только себя, но и меня выставляешь на посмешище.

Он повернулся к бельгийскому полковнику:

— Вы, кажется, холостяк, полковник? Если это так, я самым решительным образом рекомендую вам отправиться

¹ Господи (фр.).

в Женеву. Там настоящий цветник (он сказал: «une repinière») очаровательных молодых девушек. Такую жену, как там, вы не найдете нигде. Кроме того, Женева — чудесный город. Не теряйте времени, полковник, езжайте туда, я дам вам адрес племянницы моей супруги.

Черту под рассказом подвела она:

— Дело в том, что при браке по расчету вы не рассчитываете на многое, поэтому вряд ли будете сильно разочарованы. И поскольку вы не предъявляете друг к другу повышенных требований, причин для злости и раздражения нет. Вы и не ищете в другом совершенства, поэтому к недостаткам друг друга относитесь терпимо. Страсть, конечно, прекрасная вещь, но она не является надежной основой для брака. Видите ли, двое могут быть счастливы в браке лишь тогда, когда они в состоянии уважать друг друга, когда они занимают одинаковое положение в обществе, когда у них есть общие интересы. В этом случае, если оба они порядочные люди, если готовы не только брать, но и давать, если готовы жить не только для себя, но и для другого, их союз может оказаться таким же счастливым, как наш. — Она сделала паузу. — Но, кроме всего прочего, мой муж — в высшей степени достойный человек.

ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО БЫЛА СОВЕСТЬ

Сен-Лоран де Марони — прехорошенький городок. Весь он такой чистенький и опрятный. Здания ра­туши и судебной палаты там такие, что и во Франции лю­бой город бы позавидовал. Улицы широкие, обсаженные деревьями, которые бросают на панели отрадную тень. Дома все словно только что покрашены и почти все ютятся в небольших садиках, где растут пальмы и кусты лесного пла­мени, где канны щеголяют яркими красками, а кротоны — бесконечным разнообразием своей листвы; где буйствует пурпурная и алая бугенвиллея, а изящные кусты гибиска с такой небрежной щедростью протягивают вам свои вели­колепные цветы, что это уж кажется нарочитым кокетством. Сен-Лоран де Марони — административный центр ссыль­но-каторжных поселений во Французской Гвиане, и в ста шагах от набережной, на которую вы сходите с парохода, высятся ворота каторжной тюрьмы. В этих нарядных доми­ках среди тропических садов живут тюремные служащие, и если улицы здесь так чисты и опрятны, то это потому, что нет недостатка в подневольных руках, чтобы содержать их в чистоте. Однажды, прогуливаясь со случайным знакомым по улице, я увидел молодого человека в круглой соломен­ной шляпе и полосатой — белой с розовым — одежде за­ключенного: он стоял на обочине с мотыгой в руках и ниче­го не делал.

— Почему ты не работаешь? — спросил мой спутник. Молодой человек презрительно пожал плечами.

— Видите вон ту былинку? — сказал он. — У меня впе­реди двадцать лет, чтобы ее выковырнуть. Успею.

Сен-Лоран де Марони имеет единственное назначение — обслуживать тюремные лагеря, центром которых он является.

Вся торговля, какая там есть, на этом основана; городские лавки — их содержат китайцы — существуют для того, чтобы удовлетворять нужды надзирателей, врачей и бесчисленных мелких чиновников, так или иначе связанных с лагерями. Улицы тихи и пустынные. Изредка попадется навстречу человек в одежде заключенного, с портфелем под мышкой — это значит, что он работает в тюремной конторе; или другой, с корзинкой в руках — это повар в доме какого-нибудь чиновника. Иной раз видишь группу в несколько человек, которые шагают куда-то под надзором тюремщика; а еще чаще они бредут по направлению к тюрьме или от нее вовсе без всякого надзора — тюремные ворота открыты весь день, и заключенные могут входить и выходить, когда им вздумается. Если же встретится вам человек в обычной одежде, то и это, по всем вероятностям, отбывший свой срок заключенный, которому положено еще сколько-то лет прожить в колонии и который за невозможностью найти работу влачит полуголодное существование и спивается насмерть. Здесь все пьют крепкий дешевый ром, который называют тафия.

В Сен-Лоран де Марони есть гостиница; в ней я и столовался. Вскоре я уже знал в лицо всех обычных ее посетителей. Они приходили, садились каждый за свой излюбленный столик, молча ели и уходили. Гостиницу содержала цветная женщина, а единственным официантом был ее сожитель, бывший заключенный. Ночевал я, однако, не там: губернатор колонии, сам проживавший в Кайенне, любезно предоставил мне свое бунгало. За домом присматривал старик араб. Он был ревностный мусульманин, и несколько раз в течение дня, в определенные часы, я слышал, как он читает молитвы. Для услуг комендант тюрьмы прикомандировал ко мне другого заключенного; он стлал мне постель, убирал комнаты, бегал по поручениям. И он и араб были приговорены к пожизненной каторге за убийство; комендант уверял меня, что они достойны всяческого доверия; оба честнейшие люди: хоть все бросай незапертым — ничего и никогда не пропадет. Но не скрою от читателя, что вечером, ложась спать, я всегда запирал дверь на ключ и ставни на задвижки. Это была, вероятно, совсем излишняя предосторожность, но так мне спалось спокойнее.

Отправляясь сюда, я запасаюсь рекомендательными письмами, и губернатор тюремных поселений, так же как и

комендант тюрьмы в Сен-Лоране, приложил все усилия к тому, чтобы мое пребывание здесь оказалось приятным для меня и поучительным. Не буду рассказывать обо всем, что я здесь видел и слышал. Я не репортер. Не мое дело осуждать или оправдывать ту пенитенциарную систему, которую французы считали нужным применять к своим преступникам. Тем более что сейчас эта система уже отвергнута: приговоренных к каторге не будут больше отправлять во Французскую Гвиану, где их терзают всяческие болезни, связанные с тропическим климатом и работой в зараженных малярией джунглях, куда многих из них посылают; где они терпят неописуемые унижения, теряют надежду, гниют заживо, умирают. Скажу только: я не видал случаев жестокого обращения с заключенными. С другой стороны, я не видел и заботы о том, чтобы отбывший свой срок преступник мог стать полезным членом общества. Для его морального воспитания ничего не делается. Не заведено ни школ, в которых он мог бы чему-нибудь научиться, ни спортивных игр, участие в которых отвлекало бы его от тяжелых мыслей. Я не видал библиотеки, где он мог бы взять книгу и почитать после работы. Я видел такое положение вещей, при котором только самый сильный и стойкий человек может не пасть духом. Я видел такую грубость, такое общее отупение, которое всякого, кроме, может быть, очень немногих, неизбежно должно привести к апатии и отчаянию.

Обо всем этом я говорить не буду — это не входит в мои задачи. Терзаться из-за чужих страданий, когда не имеешь возможности их облегчить, — бесплодное занятие. Моя цель здесь иная: просто рассказать одну любопытную историю. Я давно уже понял, что невозможно все знать о человеческой природе; сколько ее ни изучай, рано или поздно непременно натолкнешься на какую-нибудь неожиданность. И когда я несколько оправился после того потрясения, изумления и ужаса, какие я испытал при первом своем посещении тюрьмы, я стал соображать, что здесь, пожалуй, можно разузнать кое-что новое о таких сторонах жизни, которые меня всегда интересовали. Надо вам сказать, что три четверти заключенных в тюрьме Сен-Лорана попали сюда за убийство. Эти сведения получены мною не из официальных источников, и, возможно, я преувеличиваю. На каждого заключенного здесь заведена тетрадь, в которой записано его преступление, приговор, взыскания, которым он под-

вергался, и вообще все, что тюремное начальство считает нужным отметить; из просмотра значительного числа таких тетрадей я и сделал свои выводы. И я был прямо-таки поражен, когда понял, что подавляющее большинство этих людей, которых я видел вокруг себя — видел, как они работают в мастерских, отдыхают на верандах, бродят по улицам, — в Англии, без сомнения, были бы казнены.

Они охотно отвечали на расспросы о том поступке, который привел их сюда, и я потратил целый день, пытаюсь разведать природу так называемых преступлений на любовной почве. В каждом случае я старался точно установить, что именно побудило этого человека убить свою жену или любовницу. Мне сдавалось, что не все тут можно объяснить ревностью или чувством оскорбленной чести. Я получил много любопытных ответов и среди них один, по-моему, не лишенный юмора. В плотничной мастерской работал человек, который перерезал горло своей жене. Я спросил, почему он это сделал, и он, пожав плечами, ответил: «Manque d'entente»¹.

Принимая во внимание небрежный тон, каким это было сказано, ответ его можно перевести так: «Мы с ней не ладили». Я не удержался от замечания, что, если бы все мужчины считали это достаточной причиной для убийства своих жен, смертность среди женского пола приняла бы угрожающие размеры. Но, подробно расспросив большое число людей, я пришел к выводу, что в основе почти всех этих преступлений таились причины экономического порядка; чаще всего муж или любовник убивал не просто из ревности, не только потому, что женщина ему изменяла, но еще и потому, что эта измена так или иначе била его по карману. Иногда неверность жены сочеталась с денежным уроном для мужа, и именно это толкало его на отчаянный поступок; а иногда муж сам не прочь был завладеть деньгами жены ради удовлетворения других своих страстишек и убивал свою жертву потому, что она была препятствием на этом пути. Я не берусь утверждать, что мужчина никогда не убивает женщину из-за того только, что его любовь была отвергнута или честь поругана. Эти отдельные случаи, которые мне пришлось наблюдать, я привожу здесь лишь потому, что они бросают свет еще на одну любопытную

¹ Не сошлись характерами (фр.).

сторону человеческой природы. Но я и не думаю выводить отсюда какие-либо общие законы.

Еще один день я потратил, разбираясь в вопросе об угрызениях совести. Моралисты стараются убедить нас, что совесть — это могучий фактор, определяющий человеческое поведение. В наше время, когда рассудок и сострадание отвергли миф об адском пламени как злую выдумку, многие хорошие люди видят в совести единственную гарантию того, что человечество будет все-таки следовать по стезе праведности. Шекспир сказал, что совесть всех нас обращает в трусов. Романисты и драматурги неоднократно описывали нравственные страдания злодеев; они живо изображали муки нечистой совести и причиняемые ею бессонные ночи; показывали, что она отравляет человеку всякое удовольствие и делает жизнь его невыносимой, так что поимку и кару он под конец приветствует как желанное избавление.

Я часто задавал себе вопрос: сколько во всем этом правды? У моралистов, конечно, свое на уме: им из всего нужно вывести мораль. Они думают, что если постоянно повторять одно и то же, люди в конце концов этому поверят. И, кроме того, они слишком часто склонны желаемое принимать за действительное. Они утверждают, например, что за преступлением неизбежно следует кара; мы, однако, знаем, что это далеко не всегда так. Что же касается творцов художественной литературы, то романисты и драматурги, напав на хороший сюжет, стараются развить его как можно эффективнее, не особенно считаясь с тем, насколько их измышления согласуются с реальной жизнью. Так вот и получилось, что некоторые взгляды на человеческую природу стали как бы общим достоянием и считаются самоочевидными. Примерно то же было с художниками: в течение столетий они писали тени черными, и, только когда импрессионисты вгляделись в окружающий мир непредубежденным взглядом и точно изобразили то, что видели, всем стало ясно, что тени вовсе не черные, а цветные. Мне часто приходило в голову, что совесть, возможно, есть выражение высокого нравственного развития и действует лишь в тех сияющих добродетелью людях, которые вообще едва ли способны на предосудительные поступки. Мы все согласны, что самое страшное преступление — это убийство; предполагается поэтому, что из всех преступников именно убийца должен больше всего страдать от угрызений совести. Нас уверяют, что образ

жертвы преследует его в ночных кошмарах, что память о совершенном злодеянии неотступно терзает его в часы бодрствования. Теперь у меня был случай все это проверить, и я не преминул им воспользоваться. Если бы я заметил, что кому-нибудь неприятны или даже мучительны мои расспросы, я бы тотчас их прекратил. Но никто из тех, с кем я разговаривал, не проявлял подобных чувств. Одни говорили, что, случись опять такое же стечение обстоятельств, они сделали бы то же самое. Бессознательные детерминисты, они считали, что их поступок был предопределен судьбой, над коей они не властны. Другие так говорили о своем преступлении, словно его совершил кто-то, не имеющий к ним никакого отношения.

— Молодой был, ну и глупый, — замечали они с небрежным жестом или снисходительной улыбкой.

Иные говорили, что, зная они заранее, как тяжело придется им поплатиться за свое преступление, они бы от него воздержались. Но какой-либо жалости к тому человеческому существу, которое они насильственно лишили жизни, я ни в ком не заметил. Казалось, убитый будил в них не больше сочувствия, чем те свиньи, которых им случалось колоть для продажи на рынке. Они не только его не жалели, он даже вызывал у них злобу, как причина того, что теперь им приходится маяться в этой гиблой стране. Лишь у одного обнаружили чувства, которые можно назвать угрызениями совести, и его история столь примечательна, что ее стоит рассказать. Самое любопытное в ней то, что, насколько я понимаю, именно угрызения совести довели этого человека до преступления. Я тогда знал его тюремный номер — он был напечатан черной краской на груди его белорозовой полосатой куртки, — но потом забыл. Имя его так и осталось мне неизвестным. Сам он мне не сказал, а я постеснялся спрашивать. Но это неважно. Буду называть его Жан Шарвен.

Я увидел его впервые, когда осматривал тюрьму в сопровождении коменданта. Мы пересекали внутренний дворик, на который выходят одиночки — не карцеры, а отдельные маленькие комнатки, предоставляемые заключенным в награду за хорошее поведение; на них всегда есть большой спрос среди тех, кто тяжело переносит тесное общение с разношерстной публикой, неизбежное в больших камерах. В этот час одиночки почти все стояли пустые — их обита-

тели находились где-нибудь на работе. Жан Шарвен работал у себя — он писал, сидя за столиком; дверь была открыта. Комендант окликнул его, и он вышел. Я заглянул в камеру. В ней была подвесная койка с грязным кисейным пологом от moskitov; возле койки — крохотный столик, на нем — нехитрое личное имущество заключенного: кисточка для бритья, бритва, щетка для волос, две-три истрепанные книжки. На стенах картинки, вырезанные из иллюстрированных журналов, и фотографии каких-то господ почтенной внешности. Сидеть тут можно было только на койке; столик, за которым Жан Шарвен писал, был завален бумагами — судя по виду, счетами. Жан Шарвен был очень недурен собой: высокий и стройный, с блестящими темными глазами и резкими, правильными чертами лица. Мне сразу бросились в глаза его густые, кудрявые и довольно длинные темно-каштановые волосы. Этим он отличался от прочих заключенных — те все острижены под машинку, причем так плохо, ступеньками, что это придает им мрачный и угрюмый вид. Комендант что-то сказал ему, касающееся его работы, а когда мы уже уходили, дружески добавил:

— Я вижу, волосы у вас уже отросли.

Жан Шарвен покраснел и улыбнулся. Улыбка у него была детски простодушная, очень приятная.

— Ну, еще не совсем. Не так-то скоро!

Комендант отпустил его, и мы пошли дальше.

— Весьма порядочный молодой человек, — сказал комендант. — Он у нас работает в бухгалтерии, и мы позволили ему отрастить волосы. Он в восторге.

— За что его сюда сослали? — спросил я.

— За убийство жены. Но ему дали только шесть лет. Очень неглупый парень и отличный счетовод. Этот не пропадет. Он из хорошей семьи и получил прекрасное образование.

Я бы не вспомнил больше о Жане Шарвене, но на другой день я увидел его на улице. Он шел мне навстречу с портфелем под мышкой. Если бы не бело-розовые полосы на его одежде и не уродливая круглая соломенная шляпа, прикрывавшая его красивую шевелюру, его можно было бы принять за молодого адвоката, направляющегося в суд. Он шел не спеша, размашистым шагом, и держался свободно, даже как-то щеголевато. Он тотчас узнал меня и,

сняв шляпу, поздоровался. Я остановился и, чтобы завязать разговор, спросил, куда он идет. Он ответил, что в банк: несет туда кое-какие бумаги из губернаторской канцелярии. У него было приятное, открытое выражение лица, глаза — надо сказать, на редкость красивые! — сияли доброжелательством. Видно было, что сила молодости бьет в нем ключом, так что даже здесь — в этой обстановке и в его положении — жизнь ему не горька, а может быть, и радостна. Посмотрев на него, всякий бы сказал: вот молодой человек, у которого нет ни забот, ни огорчений.

— Я слышал, вы завтра отправляетесь в Сен-Жан? — спросил он.

— Да. Выезжать, кажется, надо на рассвете.

Сен-Жан — это исправительный лагерь в семнадцати километрах от Сен-Лорана; там содержатся рецидивисты, высланные в колонию после многократных отсидок в тюрьме. Это по преимуществу мелкие воришки, мошенники, фальшивомонетки, вымогатели и тому подобное; заключенные Сен-Лорана, попавшие сюда за более серьезные преступления, смотрят на них свысока.

— Это будет для вас интересная поездка, — сказал Жан Шарвен со своей обаятельной улыбкой. — Но берегите карманы! Там такая публика: только зазевайся — рубашку с плеч стащат. Отъявленные мерзавцы!

В тот же день я сидел на веранде у дверей в свою спальню и читал, поджидая, пока спадет жара; я опустил жалюзи, и на веранде было довольно прохладно. Мой старик араб поднялся по лестнице, неслышно ступая босыми ногами, и доложил, что пришел какой-то человек от коменданта и хочет меня видеть.

— Пусть зайдет сюда, — сказал я.

Через минуту появился посланец: это был Жан Шарвен. Его прислал комендант что-то мне передать насчет завтрашней поездки в Сен-Жан. Когда он выполнил свое поручение, я пригласил его сесть и выкурить со мной сигарету. Он посмотрел на дешевенькие часы у себя на руке.

— С удовольствием, — сказал он. — У меня есть еще несколько минут свободных.

Он сел и закурил сигарету. Потом посмотрел на меня; в его ласковых темных глазах мерцала усмешка.

— Знаете, — сказал он, — ведь это в первый раз после приговора мне предложили сесть. — Он глубоко затянулся

сигаретой. — Египетские. Три года я не курил египетских сигарет.

Заключенные курят самокрутки из простого крепкого табака, который продается здесь в квадратных синих пачках. Так как платить им деньгами за услуги не разрешается, но дарить табак можно, я накопил множество этих синих паке-тиков.

— Ну и как? Нравятся вам египетские?

— Да знаете ли, человек ко всему привыкает, и у меня теперь вкус уже так испорчен, что я предпочитаю здешние.

— Так я вам дам несколько пачек.

Я пошел в комнату за табаком. Вернувшись, я увидел, что Жан Шарвен разглядывает книги, лежащие на столе.

— Вы любите читать? — спросил я.

— Очень. Здесь, пожалуй, больше всего страдаешь от недостатка книг. Попадется какая-нибудь, так уж по десять раз читаешь и перечитываешь.

Такому страстному любителю чтения, как я, отсутствие книг должно было, конечно, показаться самым жестоким лишением.

— У меня в чемоданах где-то есть несколько французских. Я их разыщу, а вы заходите опять, и, если они вас заинтересуют, я охотно вам подарю.

Мое предложение исходило не только от доброты сердца: мне хотелось иметь случай еще раз с ним побеседовать.

— Я должен буду показать их коменданту. Нам разрешается держать у себя только те книги, в которых нет ничего вредного для нашей нравственности. Но комендант — добрый человек и, я думаю, не станет чинить препятствий.

Он сказал это с какой-то хитровой усмешкой, и я подумал, что он, по-видимому, давно раскусил своего ревностного к службе, но недалекого начальника и сумел снизить его благосклонность. Что ж, нельзя его осуждать, если он применяет такт или даже хитрость, чтобы облегчить свою участь.

— Комендант о вас очень высокого мнения.

— Он хороший человек. Я ему очень благодарен, он много для меня сделал. По профессии я бухгалтер, и он дал мне работу в счетном отделе. Я люблю цифры, они для меня как живые, и теперь, когда я целый день с ними вожусь, я опять чувствую себя человеком.

— И вы, наверно, довольны, что вас перевели в одиночку?

— Еще бы! Это же и сравнивать нельзя. Вы не знаете, какой это ужас, когда вокруг тебя все время люди (и какие люди — настоящие подонки!) и ты никогда ни минуты не можешь побыть один. Хуже этого ничего быть не может. Дома, в Гавре — я родом из Гавра, — у нас была отдельная квартирка, очень, конечно, скромная, но своя, и женщина приходила по утрам убирать. Мы жили как люди. Поэтому для меня все это было в сто раз тяжелее, чем для других, которые лучшего и не знали и с детства привыкли жить кучей, в нищете, в грязи.

Я задал вопрос об одиночке в надежде что-нибудь выпытать у Жана Шарвена о жизни заключенных в этих огромных камерах, где их запирают с пяти часов вечера до пяти утра. В течение двенадцати часов они сами себе хозяева. Говорят, надзиратели не решаются к ним входить из страха поплатиться жизнью. Свет гасят в восемь часов, но заключенные мастерят самодельные лампы — для этого им нужна лишь консервная банка, немножко масла, скрученный из тряпок фитиль — и при этом скудном освещении играют в карты. Игра идет отчаянная, не ради развлечения, а на деньги, которые они как-то ухитряются прятать у себя на теле. Народ там грубый и безжалостный, — не удивительно, что сплошь да рядом возникают жестокие ссоры, которые кончаются поножовщиной. Утром, когда открывают камеру, там нередко находят мертвое тело, но никогда еще не удавалось ни угрозами, ни посулами заставить заключенных выдать виновника. Многое из того, что я услышал от Жана Шарвена, я даже не решаюсь здесь повторить. Между прочим, он рассказал мне трагическую историю одного молодого человека, с которым он подружился во время переезда из Франции — их везли на одном пароходе. Это был красивый юноша. Однажды он пришел к коменданту и попросил перевести его в одиночку. Комендант спросил, почему он этого добивается, и тот объяснил. Просмотрев списки, комендант сказал, что сейчас свободных одиночек нет, но как только освободится, его переведут. На следующее утро, когда открыли камеру, юноша лежал на койке мертвый с распоротым снизу доверху животом.

— Это дикие звери, а не люди, и если кто-нибудь из них еще похож на человека, когда приезжает, так потом

все равно станет таким же зверем, как и остальные. Только чудо может его от этого уберечь.

Жан Шарвен поглядел на часы и встал. Он отошел на несколько шагов, повернулся и снова подарил меня своей сияющей улыбкой.

— Мне пора, — сказал он. — Если комендант разрешит, я опять зайду и возьму книги, которые вы так любезно мне предложили.

В Гвиане не принято пожимать руку заключенному, и если тот — человек тактичный, он всегда прощается с вами издали, чтобы вам не пришлось либо нарушать правила, либо обижать его отказом, если сам он, забывшись, машинально протянет вам руку. Видит бог, я охотно пожал бы руку Жану Шарвену, и меня больно укололо его старание избавить меня от неловкости.

Я еще дважды виделся с ним за время моего пребывания в Сен-Лоране. Он рассказал мне свою историю, но здесь я передам ее своими словами, потому что она складывалась постепенно из отрывочных его рассказов то об одном эпизоде, то о другом, а все, чего он не договорил, мне пришлось дополнить собственным воображением. Но не думаю, чтобы в своих домыслах я очень уклонился от истины. Это примерно так, как если бы он из каждого слова в пять букв называл мне только три; вероятно, я более или менее правильно угадал бы все слова.

Жан Шарвен родился и вырос в Гавре, большом портовом городе. Отец его служил в таможне, занимал там довольно видную должность. Окончив школу и отбыв воинскую повинность, Жан стал искать работу. Как многие молодые французы, неверной погоне за богатством он предпочитал скромный достаток. У него была врожденная способность к счетному делу, это помогло ему получить место бухгалтера в крупной торговой фирме, работавшей на экспорт. Будущее его было обеспечено. Он мог с уверенностью рассчитывать на приличный заработок, который позволит ему жить скромно, но безбедно, как он привык и как жили все люди его круга. Подобно большинству французов своего поколения, он увлекался спортом. Летом играл в теннис и плавал, зимой ездил на велосипеде. Два раза в неделю посещал гимнастический зал, чтобы всегда быть в форме. В детстве он подружился с мальчиком, которого мы для удобства повествования назовем хотя бы Анри Ренар;

отец его тоже был чиновником в таможне. Эта дружба продолжалась и в отроческие годы и в годы юности. Жан и Рири вместе ходили в школу, вместе играли — семьи их тоже были близко знакомы, — вместе ухаживали за девушками, вместе выступали на теннисных турнирах, вместе отбывали воинскую повинность. Они никогда не ссорились. Им только вместе и бывало по-настоящему весело. Они были неразлучны. Когда пришло время поступать на работу, они решили и тут не разлучаться. Но оказалось, что это не так-то просто. Жан пытался устроить Рири в той фирме, где сам служил; это не вышло, и только через год Рири вообще удалось получить работу. Но к этому времени в Гавре, как и повсюду, в делах наступило затишье, и через несколько месяцев Рири опять остался без работы.

Рири был легкомысленный юноша и не огорчался своим вынужденным досугом. Он весело проводил время: танцевал, плавал, играл в теннис. Тут-то он и познакомился с молодой девушкой, которая только недавно поселилась в Гавре. Отец ее был капитаном колониальных войск; после его смерти мать Мари-Луизы вернулась на родину. Мари-Луиза почти всю жизнь прожила в Тонкине; это придавало ей какое-то экзотическое очарование в глазах обоих юношей, никогда не бывавших за пределами Франции; и оба они — сперва Рири, а потом и Жан — в нее влюбились. Вероятно, это было неизбежно, но оказалось гибельным для обоих. Мари-Луиза получила прекрасное воспитание, она была единственным ребенком, а у ее матери, кроме пенсии, был свой небольшой капиталец. Ухаживать за такой девушкой можно было, только имея в виду брак. Рири, пока что живший на средства отца, для нее, конечно, был не жених — мадам Мерис, мать Мари-Луизы, никогда бы не дала согласия. Но, не связанный службой, он мог чаще видеться с девушкой, чем Жан. Мадам Мерис была слаба здоровьем, поэтому Мари-Луиза пользовалась большей свободой, чем другие французские девушки ее возраста и ее круга. Она, конечно, видела, что Рири и Жан в нее влюблены, и оба они ей нравились, ей льстило их внимание, но сама она не проявляла никаких признаков влюбленности, и нельзя было понять, кому она отдает предпочтение. И, уж конечно, она хорошо понимала, что Рири сейчас не может на ней жениться.

— Какая она была собой? — спросил я.

— Маленькая, с изящной фигуркой, с большими серыми глазами, матовой кожей и мягкими волосами мышиного цвета. Она вообще была похожа на мышку. Нельзя сказать, что красивая, но хорошенькая на свой особый лад и занятная. Этакая скромница. Очень привлекательная. С ней было легко, она всегда держалась просто и естественно. Смотришь, бывало, на нее и думаешь: вот девушка, на которую можно положиться — из нее выйдет хорошая жена.

Жан и Рири не имели тайн друг от друга, и Жан не скрывал, что влюблен в Мари-Луизу, но между ними был как бы молчаливый уговор: так как Рири познакомился с ней первый, Жан не будет становиться ему поперек дороги. Наконец она сделала выбор. Однажды вечером Рири дождался Жана у дверей конторы, где тот работал, и сказал ему, что Мари-Луиза согласилась выйти за него замуж. Они уже обо всем договорились. Как только Рири устроится на работу, его отец пойдет к мадам Мерис и сделает формальное предложение. Это был жестокий удар для Жана. Нелегко ему было слушать, как взволнованный и упоенный счастьем юноша строит планы на будущее, — а ведь надо было еще и выражать ему сочувствие. Но он так любил Рири, что не мог на него злобиться; и, понимая, насколько тот мил и привлекателен, он не мог осуждать Мари-Луизу. Он постарался с чистым сердцем принести эту жертву на алтарь дружбы.

— Почему она выбрала его, а не вас? — спросил я.

— Он был такой жизнерадостный: поглядишь на него, ну прямо жизнь из него брызжет. Такой веселый, такой остроумный. Он всех заражал своим весельем. С ним никогда не бывало скучно.

— С изюминкой, значит, юноша, — усмехнулся я.

— А с каким обаянием!

— Красивый был?

— Да нет, не очень. Ростом пониже меня, худенький, сухощавый. Но лицо у него было славное, доброе. — Жан Шарвен усмехнулся не без самодовольства. — Скажу, не хвастая, что я был красивее Рири.

Но Рири все не удавалось устроиться на работу. Отцу надоело содержать взрослого сына, который только бьет баклуши, и он принялся писать во все концы Франции родственникам и знакомым с просьбой подыскать ему какое-нибудь место, пусть самое скромное, и наконец получил

ответ из Лиона от одного из своих двоюродных братьев, служившего на шелкокрутильной фабрике. Тот писал, что их фирма ищет молодого человека, который поехал бы в Пномпень в Камбодже, где у них есть отделение для закупки местного шелка-сырца. Если Рири согласен на такую работу, он его устроит.

Как все родители-французы, отец и мать не хотели, чтобы их сын покидал родину. Но делать было нечего; на семейном совете решили, что хоть жалованье и небольшое, а соглашаться надо. Сам Рири не прочь был поехать. Камбоджа не так далеко от Тонкина, для Мари-Луизы обстановка там будет привычная. Она часто вспоминала о своей жизни в тамошних краях, и Рири думал, что ей приятно будет вернуться на Восток. Каково же было его огорчение, когда она решительно заявила, что не поедет. Во-первых, она не может оставить больную мать — та, чем дальше, тем все больше прихварывала. Во-вторых, поселившись наконец во Франции, она вовсе не желает опять куда-то уезжать. Ей очень жаль Рири, но свое решение она не изменит — кончено, припечатано. О том, чтобы отказаться от этого предложения при отсутствии всяких других перспектив, не могло быть и речи, отец Рири ни за что бы не позволил. Выходило так, что, хочешь не хочешь, а Рири должен ехать. Жану было грустно его терять, но вместе с тем с первой же минуты, как только Рири принес ему это печальное известие, он понял с тайной радостью, что судьба играет ему в руку. Рири пробудет в Камбодже по меньшей мере пять лет, а если проявит хоть какие-нибудь деловые способности, то, вероятно, и совсем обоснуется на Востоке. Ну, а Мари-Луиза тем временем выйдет замуж за Жана. В этом он не сомневался. Его обеспеченность, хорошее служебное положение, то, что, выйдя за него, Мари-Луиза сможет жить в Гавре и, стало быть, не разлучаться с матерью, — все это в ее глазах будет доводами в пользу такого брака. К тому же он ей нравится и, когда не будет рядом Рири с его обаянием, эта приязнь легко превратится в любовь. После долгих месяцев уныния Жан снова воспрянул духом и втайне от всех уже строил планы на будущее. Ему больше не надо было запрещать себе любить Мари-Луизу.

Вдруг все его надежды рухнули. В одной судовой компании, занимавшейся морским фрахтом, открылась вакансия.

Рири тотчас подал прошение и, по-видимому, мог рассчитывать на благоприятный ответ. Знакомый, служивший в той фирме, сказал ему, что это дело верное. Если бы ему на этот раз повезло, все бы устроилось. Фирма была старинная, солидная, все знали, что поступишь туда, так это уж на всю жизнь. Жан Шарвен впал в отчаяние; и хуже всего было то, что никому нельзя было сказать о своих душевных муках. Но однажды его вызвал к себе директор того торгового дома, в котором он сам служил.

Дойдя до этого места в своем рассказе, Жан остановился. В глазах его появилось выражение боли.

— Я сейчас расскажу вам то, чего еще никому не рассказывал. Я честный человек, у меня есть правила. Я расскажу вам о том, как я единственный раз в жизни совершил бесчестный поступок.

Тут, пожалуй, не мешает напомнить читателю, что на Жане Шарвене была полосатая одежда арестанта с номером на груди и что отбывал он свой срок за убийство жены.

— Я представить себе не мог, зачем я понадобился директору. Когда я вошел в его кабинет, он, сидя за письменным столом, испытующе оглядел меня.

— Я хочу задать вам один важный вопрос, — сказал он. — И прошу вас, пусть все это останется между нами. Ваш ответ я тоже обещаю сохранить в тайне.

Я молча ждал. Он снова заговорил:

— Вы уже больше двух лет у нас служите. Я вами очень доволен. Можно надеяться, что со временем вы займете ответственный пост в нашей фирме. Я отношусь к вам с полным доверием.

— Благодарю вас, сударь, — сказал я. — Постараюсь оправдать ваше доброе мнение.

— Вопрос этот вот какой. Господин Такой-то собирается принять к себе на службу Анри Ренара. Господин Такой-то очень шепетилен насчет нравственности своих служащих, а в данном случае для него особенно важно не совершить ошибки. В числе обязанностей Анри Ренара будет выдача жалованья командам судов, принадлежащих компании; через его руки будут проходить сотни тысяч франков. Я знаю, что он ваш близкий друг, что ваши семьи тоже были между собой в самых дружеских отношениях. Я прошу вас сказать мне, положа руку на сердце: не ошибется ли господин Такой-то, если примет этого молодого человека к себе на службу?

Я тотчас понял все значение его вопроса. Если Рири получит это место, он останется в Гавре и женится на Мари-Луизе; если не получит, он уедет в Камбоджу, и на Мари-Луизе женюсь я. Клянусь вам, не я ответил ему в ту минуту — какой-то другой человек говорил моим голосом; он, а не я, произнес слова, родившиеся на моих устах.

— Господин директор, — сказал я, — мы с Анри всю жизнь были друзьями. Мы никогда не разлучались, даже на неделю. Мы вместе ходили в школу, у нас все было общее: карманные деньги, когда мы были детьми, и любовницы, когда мы стали взрослыми. Мы вместе были в армии.

— Мне все это известно. Вы знаете его лучше, чем кто-либо другой. Поэтому я и задаю вам этот вопрос.

— Вы ставите меня в щекотливое положение, господин директор. Вы хотите, чтобы я предал своего друга. Я этого не могу и не отвечу на ваш вопрос.

Директор посмотрел на меня с тонкой улыбкой. Он имел несколько преувеличенное мнение о своем уме и проницательности.

— Ваш ответ делает вам честь, но вы уже сказали мне все, что я хотел знать. — Улыбка его стала добродушной и сочувственной. Вероятно, я был очень бледен; кажется, меня даже била дрожь. — Успокойтесь, дорогой мой. Вы волнуетесь, я это понимаю. Бывает в жизни так, что честность требует одного ответа, а верность другу совсем иного. Колебания тут, конечно, недопустимы, но сделать выбор нелегко. Я не забуду, как вы вели себя в этом случае, и от имени господина Такого-то я вас благодарю.

Через полгода после этого разговора Жан и Мари-Луиза стали мужем и женой. Со свадьбой поторопились, так как болезнь мадам Мерис приняла дурной оборот. Понимая, что ей недолго осталось жить, она спешила устроить судьбу дочери. Жан перед свадьбой написал Рири, а тот ответил письмом, в котором тепло поздравлял Жана и уговаривал его не мучиться угрызениями совести: он, Рири, сам понимал, покидая Францию, что никогда не сможет жениться на Мари-Луизе, и очень рад, что она будет женой его друга. А о нем пусть не горюют: он и в Пномпене найдет себе утешение. Письмо было очень веселое. Жан с самого начала предполагал, что Рири при его живом темпераменте скоро забудет Мари-Луизу, и, судя по письму, это уже произошло. Рана его быстро зажила. В этом Жан видел свое оправдание.

Потому что он-то попросту умер бы, если бы потерял Мари-Луизу: для него это был вопрос жизни и смерти.

Первый год после женитьбы они были совершенно счастливы. Мадам Мерис скончалась, оставив дочери около двухсот тысяч франков, но Жан и Мари-Луиза решили все-таки не обзаводиться пока детьми: время было тревожное — кризис, падение валюты; пусть сперва экономическое положение немного упрочится. Мари-Луиза была отличная хозяйка — аккуратная, бережливая; она была хорошая жена — ласковая, внимательная, заботливая. У нее был ровный, спокойный характер. До свадьбы это казалось Жану очень привлекательной чертой. Но мало-помалу в ее спокойствии он стал прозревать некоторую скудость чувств. Под этой ровной поверхностью не было глубины. Раньше он часто сравнивал ее с мышкой; и правда, было что-то мышинное в ее уклончивой сдержанности и вечной заботе о мелочах; она до странности серьезно относилась к тому, что, собственно говоря, не имело никакого значения, и могла без конца заниматься всякими пустяковыми делами. У нее был свой маленький мирок со своими маленькими интересами, и в ее красивой, гладко причесанной головке не оставалось места ни для чего другого. Она иногда начинала читать роман, но редко дочитывала до конца. Жан вынужден был признать, что с ней бывает скучновато. И все чаще его посещала мысль: да стоило ли ради нее совершать подлость? Под конец он совсем загрустил. Ему не доставало Рири. Он пытался оправдаться перед самим собой, говорил себе, что теперь уж поздно каяться, сделанного не воротишь, а в ту минуту он действовал под влиянием чувства, не по своей воле. Но совесть его не хотела успокаиваться. Он горько сожалел, зачем тогда не ответил директору иначе.

А тут пришла страшная весть. Рири захворал тифом и умер. Жан был потрясен до глубины души. Мари-Луиза тоже была потрясена; она, как водится, посетила родителей Рири, принесла им свои соболезнования. Но кушала по-прежнему с аппетитом и спала так же крепко, как всегда. Такое самообладание несказанно возмущало Жана.

— Бедный Рири, — говорила она, — он всегда был такой веселый, ему, наверно, очень не хотелось умирать. Но зачем он туда поехал? Я ведь предупреждала его, что там вредный климат. У меня отец там умер, я знала, что говорю.

Жан понимал так, что это он убил Рири. Если бы он рассказал директору все хорошее, что знал о своем друге — а он это знал лучше всех на свете, — Рири получил бы место в Гавре и сейчас был бы жив и здоров.

«Никогда себе не прощу, — думал он. — И никогда уже не буду счастлив. Ах, какой я был дурак — и какой негодай!..»

Он оплакивал Рири. Мари-Луиза старалась его утешить. Она была добренькая и любила Жана.

— Не надо так расстраиваться. Подумай сам: вы увиделись бы не раньше, чем через пять лет, а он за это время, наверное, так изменился бы, что у вас и общего ничего бы не осталось. Он уже был бы для тебя чужой. Это часто бывает, я сколько раз видела. Люди радуются встрече, а через полчаса оказывается, что им и сказать друг другу нечего.

— Должно быть, ты права, — вздохнул Жан.

— Он был чересчур ветреный, ничего толкового из него все равно не вышло бы. У него не было твоей твердости характера и твоего ясного, практического ума.

Жан понимал, о чем она думает. Каково было бы сейчас ее положение, если бы она уехала с Рири в Индокитай? Осталась бы вдовой в двадцать один год, без всяких средств к существованию, кроме собственных двухсот тысяч франков. Да, чуть было не опростоволосилась, но, слава богу, она вовремя проявила здравый смысл. А таким мужем, как Жан, она могла гордиться. Он хорошо зарабатывал. Серьезный, положительный человек.

Но Жана терзали угрызения совести. Если он и раньше страдал, то теперь страдал в миллион раз больше. Мысль о совершенном предательстве заставляла его корчиться, как от физической боли. Иногда, во время работы, он вдруг вспоминал — и сердце переворачивалось у него в груди. Это была такая мука, что он на все был готов, лишь бы от нее избавиться. Он едва не поддался соблазну все рассказать Мари-Луизе и удержал себя только величайшим усилием воли. Он знал, как она примет его исповедь. Не возмутится, не вознегодует — даже сочтет это ловким ходом с его стороны, даже будет польщена тем, что ради нее он пошел на подлость. Нет, от нее помощи ждать нечего. Он начинал чувствовать к ней прямую неприязнь. Ведь это из-за нее он запятнал себя позорным поступком, а что она такое? Самая заурядная, ограниченная и расчетливая маленькая мещанка.

«Какой я был дурак!» — повторял он про себя.

Она уж даже не казалась ему хорошенькой. Он видел только, что она ужасно глупа. Но ведь нельзя же винить ее за это. Не ее вина, что он предал своего друга. И он заставлял себя быть с ней нежным и ласковым. Он всячески ей угождал. Стоило ей выразить какое-нибудь желание, и он спешил его исполнить. Он старался вызвать в себе жалость к ней; он говорил: надо быть терпимым. Ведь в меру своего куцега разумения она хорошая жена — домовитая, бережливая; умеет держать себя, умеет одеться, недурна собой — как раз такая жена, какая нужна приличному молодому человеку. Все это было верно. Но Рири умер из-за нее, и Жан ее ненавидел. Когда они оставались вдвоем, он изнывал от скуки. Он этого не показывал, он был добр к ней, внимателен, ласков, но порою чувствовал, что готов ее убить. И все же, когда это наконец случилось, это вышло как-то само собой, словно невзначай. Со смерти Рири прошло уже около года, и его родители, старики Ренар, решили устроить вечеринку по случаю помолвки дочери. Жан почти не видался с ними после смерти Рири и не хотел идти. Но Мари-Луиза сказала, что это неудобно: он был лучшим другом Рири и не может отказаться от участия в их семейном торжестве, это было бы грубой неучтивостью. Она была очень щепетильна насчет всяких светских приличий.

— А кстати, и развлечешься немножко. Ты был в таком подавленном состоянии последнее время, не мешает тебе чуточку повеселиться. У них ведь и шампанское будет, как ты думаешь? Мадам Ренар, правда, не любит тратиться, но уж раз такой случай, придется ей пойти на жертвы.

И Мари-Луиза ехидно усмехнулась, представив себе, с каким сердечным сокрушением мадам Ренар станет развязывать свой кошель.

Вечеринка была очень веселая. Жана словно ударило в сердце, когда он увидел, что в бывшей комнате Рири устроили раздевалку и мужчины складывали там свои пальто, а женщины свои накидки и шали. Шампанское лилось рекой. Жан много пил. Здесь, в этом доме, ему всюду слышался смех Рири, виделись его добрые, сияющие глаза, и он пил, чтобы не видеть и не слышать, чтобы заглушить терзавшее его раскаяние. Вернулись домой в три часа утра. На другой день было воскресенье, на службу идти не надо. Проснулись

поздно. Дальнейшее я передаю уже собственными словами Жана.

— Я проснулся с головной болью. Мари-Луиза уже встала. Она сидела за туалетным столиком и расчесывала волосы. Я тогда усердно занимался спортом и по утрам всегда делал гимнастику. В то утро мне не хотелось, но я подумал, что после вчерашней выпивки это необходимо. Я встал, взял булавы. Спальня у нас была просторная, между кроватью и туалетным столиком, за которым сидела Мари-Луиза, было достаточно места. Я проделал обычные упражнения. Мари-Луиза незадолго перед тем переменила прежнюю свою прическу на новую, по-моему отвратительную — подстриглась совсем коротко и сзади была похожа на мальчика, — и я смотрел на ее затылок, на щетинку от подбритых волос, и меня тошнило. Мари-Луиза отложила щетки и стала пудриться. Вдруг она как-то очень противно захихикала.

— Чему ты смеешься? — спросил я.

— Это я над мадам Ренар. Она вчера была в старом платье — том самом, что еще на нашу свадьбу надевала. Она его перешила и перекрасила, но меня не проведешь. Я его сразу узнала.

Это было такое идиотское замечание — оно привело меня в ярость. Я прямо ослеп от злобы и изо всех сил ударил ее булавой. Должно быть, я проломил ей череп — через два дня она умерла в больнице, не приходя в сознание.

Он помолчал. Я протянул ему сигарету и сам закурил.

— Я рад был, что она умерла. Все равно мы уже не могли бы жить вместе, и трудно было бы объяснить ей мой поступок.

— Да. Трудновато.

— Меня арестовали и судили за убийство. Я, конечно, говорил, что это несчастный случай, что булава вырвалась у меня из руки. Но медицинская экспертиза с этим не согласилась. Обвинение доказало, что такой пролом черепа, как у Мари-Луизы, мог быть результатом только очень сильного преднамеренного удара. К счастью для меня, они никак не могли доискаться причины преступления. Прокурор сперва выдвинул ревность: будто бы на вечере у Ренаров кто-то из мужчин слишком рьяно ухаживал за моей женой. Но этот человек клялся всеми святыми, что ничего такого не сделал, что могло возбудить мою ревность, да и другие

гости засвидетельствовали, что, уезжая с вечера, мы с женой были в самых мирных отношениях. На туалетном столике нашли неоплаченный счет от портнихи, и прокурор высказал предположение, что у нас с женой из-за этого вышла ссора. Но мне удалось доказать, что свои туалеты Мари-Луиза всегда оплачивала из собственных средств, так что этот счет не мог быть причиной ссоры между нами. Нашлись свидетели, которые показали, что я всегда хорошо относился к Мари-Луизе. Нас вообще считали нежной парочкой. Репутация у меня была безупречная, мой шеф дал обо мне наилучший отзыв. Я с самого начала видел, что гильотина мне не угрожает, а одно время даже надеялся, что меня совсем отпустят. В конце концов мне дали шесть лет. И я не жалею о том, что сделал, потому что с того самого дня — пока я сидел в тюрьме до суда и после, уже здесь, — я больше не мучаюсь из-за Рири. Если бы я верил в духов, я бы сказал, что дух Рири успокоился в могиле после смерти Мари-Луизы. Так или иначе, совесть меня больше не терзает; и если вспомнить, как я мучился прежде, то, смею вас уверить, все, что я перенес потом, — это недорогая плата. Теперь я чувствую, что опять могу смотреть людям в глаза.

Я сам понимаю, что это невероятная история, а я ведь как-никак реалист и в своих произведениях стараюсь быть верным жизни. Я тщательно избегаю всего причудливого и фантастического — равно как и писательского произвола. Если бы я выдумал эту историю, я бы, конечно, постарался сделать ее более правдоподобной. А так я, пожалуй, и сам бы ей не поверил, не услышь я ее собственными ушами. Не знаю, правду ли мне говорил Жан Шарвен, но слова, которыми он закончил свой рассказ в последнее наше свидание, звучали убедительно. Я спросил, каковы его виды на будущее.

— У меня во Франции есть друзья, — ответил он, — они хлопчут обо мне. После приговора многие считали, что я стал жертвой грубой судебной ошибки. Директор той фирмы, где я служил, убежден, что меня осудили несправедливо. Возможно, мне сократят срок. А если даже нет, то после шести лет мне, вероятно, разрешат вернуться во Францию. Я, видите ли, приношу здесь большую пользу. Бухгалтерия была здесь в крайне запущенном состоянии, а я все привел в идеальный порядок. Были утечки, и я уверен,

что, если мне предоставят свободу действий, я их прекращу. Комендант ко мне расположен, он сделает для меня все, что в его силах. В самом худшем случае мне будет всего тридцать лет с небольшим, когда я вернусь на родину.

— Но не трудно ли вам будет устроиться на работу?

— Такой опытный бухгалтер, как я, если он вдобавок трудолюбив и честен, всегда найдет работу. Конечно, в Гавре мне нельзя будет оставаться. Но у директора нашей фирмы есть деловые связи в Лилле, Лионе и Марселе. Он обещал мне помочь. Нет, я без страха взираю на будущее. Где-нибудь устроюсь, и, как только прочно осяду на месте, я женюсь. После всего, что я перенес, я хочу иметь семейный очаг.

Мы сидели у меня на веранде — в одном из ее углов, чтобы не упустить ни малейшего дуновения воздуха; с тою же целью я оставил с северной стороны жалюзи неспущенными, и нам виден был кусок неба и ближе к краю одинокая пальма, чьи зеленые листья резко вычерчивались на синем фоне; все вместе напоминало рекламу тропического путешествия. Жан Шарвен смотрел вдаль, словно пытаясь разглядеть там свое будущее.

— Но если я опять женюсь, — задумчиво сказал он, — то уж не по любви. Нет, в следующий раз я женюсь по расчету.

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Этот был крепкий, широкоплечий человек среднего роста, и хотя с годами — а ему было пятьдесят — он располнел, его нельзя было назвать толстым; ни жаркое солнце, ни гнилой климат здешних мест не согнали румянца с его лица. В его жилах текла отменная, неразжиженная кровь. Густые каштановые волосы только на висках были подернуты сединой. Особенно гордился он усами, светлыми и пушистыми, которые всегда тщательно расчесывал. Голубые глаза его весело искрились. Словом, казалось, что перед вами настоящий баловень судьбы, воплощение добродушия и здоровья. И вы проникались к нему доверием. Он напоминал одного из тех толстых, румяных бюргеров — таких можно увидеть на старых голландских полотнах вместе с их розовощекиими женами, — которые наживали деньги и наслаждались плодами своего усердия. Однако этот человек был вдовцом. Звали его Луи Ремир, тюремный номер 68763. Он отбывал двенадцатилетний срок заключения в Сен-Лоран-де-Марони, большом каторжном поселении во французской Гвиане, за убийство своей жены; а так как до этого в Лионе, откуда он был родом, Луи служил в полиции и так как его поведение на каторге было примерным, теперь он состоял на государственной службе. Из числа почти двухсот претендентов на должность палача выбрали именно его.

Потому-то ему и было разрешено носить роскошные усы, которые он так холил. Он был единственным каторжником с усами; они являлись своего рода отличительным знаком его профессии. По этой же причине ему разрешалось носить собственную одежду. Каторжники носят куртки и штаны в белую и розовую полоску, круглые соломенные

шляпы и неуклюжие башмаки на деревянной подошве с кожаным верхом. А Луи Ремир носил сандалии на босу ногу, синие бумажные штаны, рубашку цвета хаки с широким воротом, открывавшим его могучую волосатую грудь. Когда он прогуливался по городскому саду, ласково поглядывая на играющих ребятишек, черных и цветных, он мог бы сойти за почтенного лавочника, наслаждающегося минутой отдыха. У него был свой дом. И это было не только одним из преимуществ, которые давала ему должность, — это было необходимостью, ибо живи он вместе с каторжниками, те быстро сумели бы от него избавиться. В одно прекрасное утро его нашли бы со вспоротым животом. Правда, домишко был небольшой, деревянный — всего-навсего одна комната с пристройкой, служившей ему кузней, но вокруг него был обнесенный забором садик, где росли бананы, папайя и овощи, которые позволял выращивать здешний климат. Садик выходил на море и был окружен кокосовой рощей. Место было замечательное. И до тюрьмы всего четверть мили, что очень удобно, когда надо ходить за пайком. Пакет обычно приносил его помощник, живший вместе с ним. Это был здоровенный, неуклюжий верзила с глубоко посаженными неподвижными глазами и огромной челюстью; он был приговорен к пожизненной каторге за изнасилование и убийство. Нельзя сказать, чтобы он был умен, но до того, как попасть сюда, он работал поваром и теперь, добавляя к тюремному рациону овощи с огорода и те специи, что Луи Ремир мог приобрести у бакалейщика-китайца, умудрялся готовить поистине удивительные обеды из супа, картофеля с капустой и неизменной говядины, которую круглый год, на протяжении всех трехсот шестидесяти пяти дней, выдавали на кухне. Вот почему Луи Ремир настоятельно просил коменданта дать ему этого человека, когда потребовался новый помощник. У прежнего помощника сдали нервы, и, как говорил Луи Ремир, добродушно посмеиваясь, он засомневался в целесообразности смертной казни. Теперь он, признанный безнадежным неврастеником, находился на острове Святого Иосифа, куда отправляли душевнобольных.

Но и новый помощник скоро заболел. Его трепала жестокая лихорадка, и вид у него был такой, словно он вот-вот умрет. Пришлось отослать его в госпиталь. Луи загрустил: не так-то просто найти хорошего повара. А хуже всего, что

это случилось именно теперь: завтра предстояла работа — и какая! Нужно было казнить шестерых — двух алжирцев, одного поляка, испанца и двух французов. Эта компания совершила групповой побег и двинулась вверх по реке. Почти целый год они грабили, насиловали, убивали, наводя ужас на всю колонию. Люди боялись выйти из дома. Наконец их поймали и приговорили к смерти, однако приговор подлежал утверждению министра по делам колоний, и бумагу за его подписью только что получили. Луи Ремир не мог обойтись без помощника — столько всего нужно подготовить заранее. Самое скверное, что в такой день придется зависеть от человека без всякого опыта. Комендант выделил ему в помощь одного из надзирателей. Надзиратели набирались из тех же каторжников, но отличившихся примерным поведением. Селились они отдельно от остальных: заключенные не любят их за то, что они всегда на стороне начальства.

Луи Ремир добросовестно относился к своим обязанностям, и ему хотелось, чтобы завтра все прошло как надо. Он условился встретиться со своим временным помощником в помещении, где хранилась гильотина, чтобы объяснить ему, как она работает, и показать, что он должен делать.

Когда не было работы, гильотина стояла в небольшой комнате в здании тюрьмы, но попасть туда можно было лишь с улицы. В назначенный час Луи не спеша подошел к двери и увидел, что помощник уже ждет его. Это был долговязый детина с грубым лицом. На нем была обычная тюремная одежда, но, как надзиратель, он носил фетровую, а не соломенную шляпу.

— За что тебя сюда?

Человек пожал плечами.

— Я убил фермера и его жену.

— Гм, и сколько схлопотал?

— Пожизненно.

В нем было что-то звериное, но нельзя судить о людях по внешности. Луи сам видел, как один тюремщик, здоровенный малый, упал в обморок во время казни. Ему не хотелось, чтобы его помощник раскис в самый неподходящий момент. Он дружелюбно улыбнулся и большим пальцем указал на закрытую дверь, за которой стояла гильотина.

— Это немного другая работа, — сказал он. — Их будет шестеро. И все — дрянь. Чем скорее с ними покончим, тем лучше.

— Не беспокойся. Я тут такого насмотрелся, что мне ничего не страшно. Это для меня все равно, что отрубить голову цыпленку.

Луи отпер дверь и вошел. Помощник последовал за ним. В маленькой комнате, чуть больше одиночки, гильотина, казалось, занимала все пространство. Она стояла грозная и зловещая. Луи Ремир услышал легкий вздох и, обернувшись, увидел, что надзиратель уставился на нее глазами, полными ужаса. Его лицо, землистое от лихорадки и глистов, которыми время от времени страдали все каторжники, стало мертвенно-бледным. Палач добродушно улыбнулся.

— Что, испугался? Никогда не видал раньше?

— Никогда.

Луи Ремир хмыкнул.

— Уж если бы увидел, так не стоял бы теперь здесь. Как тебе удалось отвертеться?

— Я подышал с голоду, когда пошел на это дело. Попросил чего-нибудь поесть, а они спустили на меня собак. Меня приговорили к смерти. Но мой адвокат съездил в Париж, и президент заменил смертную казнь пожизненной каторгой.

— Да, что и говорить, живым-то быть лучше, чем мертвым, — сказал Луи Ремир, и глаза его весело блеснули.

Он всегда содержал гильотину в образцовом порядке. Она была сделана из дерева местной породы, темного и твердого, как красное дерево, и отполирована до блеска; медные части ее блестели и сверкали, как на корабле, чем Луи Ремир очень гордился. Лезвие ножа сияло, будто только что вышло из рук мастера. Сейчас Луи должен был убедиться в том, что машина исправна, и показать помощнику, как она работает. В обязанности помощника входило подтягивать нож вверх, после того, как он падал, для чего надлежало подняться по короткой лесенке.

Луи Ремир приступил к объяснениям, как настоящий мастер, досконально изучивший свое дело. Он испытывал какую-то тихую радость, когда говорил о своей умной машине. Приговоренного привязывают к доске, которую затем с помощью нехитрого приспособления опускают вниз и продвигают вперед так, что шея осужденного оказывается прямо под лезвием ножа. Добросовестный малый, Луи Ремир притащил с собой ствол банана длиной около пяти футов, и надзиратель гадал, для чего бы это. Но теперь он

понял. Ствол был не толще человеческой шеи, и на нем можно было прекрасно продемонстрировать новичку работу аппарата, а заодно лишний раз убедиться в его исправности. Луи Ремир укрепил ствол в нужном положении и отпустил нож. Нож упал молниеносно, с громким лязгом. Требовалось всего тридцать секунд, чтобы обезглавить осужденного, привязанного к подъемной доске. Голова падала в корзину. Палач поднимал голову за уши и показывал ее тем, кто по долгу службы наблюдал за казнью. Затем торжественно произносил:

— *Au nom du peuple français justice est faite* — Именем французского народа правосудие свершилось.

И бросал голову обратно в корзину.

Завтра предстояло казнить шестерых, и поэтому придется сначала отвязать туловище казненного и положить его на носилки вместе с головой, а уж потом приниматься за следующего. Их будут выводить одного за другим — в зависимости от тяжести совершенного преступления. Менее виновных казнят первыми, и они не увидят страшного зрелища — смерти товарищей.

— Нужно внимательно следить, чтобы не спутать головы, а то при воскресении начнется неразбериха, — пошутил Луи Ремир.

Он опустил нож раза три, чтобы окончательно убедиться в том, что помощник научился закреплять его, а затем, достав с полки принадлежности для чистки меди, усадил парня за работу: хотя и без того все сияло, Луи решил, что не мешает почистить еще раз. Сам же, прислонившись к стене, лениво закурил сигарету.

Наконец все было в порядке, и Луи отпустил помощника. В полночь они выташат гильотину на тюремный двор. Придется немного повозиться, чтобы установить ее, но все должно быть готово за час до казни, которая состоится на рассвете. Луи Ремир медленно побрел домой. Смеркалось. По дороге он встретил группу заключенных, возвращавшихся с работы в тюрьму. Они переговаривались вполголоса, и он догадался, что речь шла о нем; кое-кто потупился, другие глядели на него с открытой ненавистью, а один даже сплюнул. Не выпуская сигареты изо рта, Луи с насмешкой посмотрел на них. Его не трогали их взгляды, полные отвращения и страха. И ему было безразлично, что никто из них не станет с ним говорить. А мысль о том, что среди

них едва ли найдется хоть один, кто с радостью не всадил бы ему нож в живот, только забавляла его. Он презирал их всей душой. Кто-кто, а уж он сумеет постоять за себя. Да и ножом он владел не хуже любого из них и был уверен в своих силах. Заключение знали о предстоявшей казни и, как всегда перед этим событием, были подавлены и взвинчены. На работе они угрюмо молчали, и охрана следила за ними внимательнее обычного.

«Успокоятся, когда все будет кончено», — подумал Луи Ремир, открывая калитку своего садика.

Когда он вошел, собаки залились лаем, и хотя он не был трусом, это доставило ему удовольствие. Теперь, когда помощник заболел и он остался один в доме, он не жалел, что находится под защитой двух свирепых псов. По ночам они рыскали в роще за оградой и вовремя предупредили бы его об опасности. На них можно положиться. Они вцепятся в глотку каждому, кто осмелится подойти слишком близко. Будь у его предшественника такие псы, он бы так не кончил.

Тот палач проработал всего два года, а потом вдруг исчез. Начальство считало, что он сбежал: известно было, что у него водились деньги, и потому решили, что ему удалось договориться с капитаном какой-нибудь шхуны, направлявшейся в Бразилию. У палача не выдержали нервы. Он несколько раз ходил к коменданту тюрьмы и говорил, что опасается за свою жизнь. Он был уверен, что заключенные решили его убить. Однако коменданту его страхи показались необоснованными, и он не принял их всерьез, когда же палач пропал, комендант решил, что страх перед карающим ножом каторжников пересилил все остальное и человек предпочел бежать, рискуя быть пойманным и водворенным в тюрьму. А недели три спустя охранник, сопровождавший партию заключенных, которые работали в джунглях, увидел большую стаю грифов, густо облепивших дерево. Грифы, или урубубу, — большие черные отвратительного вида птицы, обычно кружат над базарной площадью Сен-Лорана, подбирая отбросы, которые оставляют им полуголодные бывшие каторжники. Эти жуткие птицы тяжело перелетают с дерева на дерево и на чистых, опрятных улочках городка. Залетают они и на тюремный двор, где как бы напоминают заключенным о конце, который ожидает всякого, кто попытается уйти в джунгли: десять против одного, что эти

мерзкие твари начисто обгложут его кости. В тот день грифы дрались и визжали вокруг дерева так исступленно, что охраннику это показалось странным. Он доложил коменданту, и тот послал выяснить, в чем там дело. На дереве висел человек, и когда труп сняли, то узнали в нем палача. Официально было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством, но на спине у него обнаружили ножевую рану, и каторжники поняли, что его сначала ударили ножом, а потом, еще живого, приволокли в джунгли и повесили.

Луи Ремир не боялся подобной участи. Он знал, на чем попался его предшественник. Его погубила женщина.

По французским законам, человек, приговоренный к каторжным работам, отбыв свой срок, должен прожить в колонии еще столько же лет. Фактически он свободен, однако жить обязан там, где ему предписано. При благоприятных условиях бывший каторжник может даже открыть свое дело, и если он будет работать старательно, то сумеет сколотить и кое-какой капитал. Однако после долгих лет каторги, измученные лихорадкой, глистами и прочими недугами, люди уже не в состоянии выполнять регулярную, утомительную работу. Поэтому многие лишь перебиваются кое-как: нищенствуют, воруют, тайно поставляют заключенным табак и деньги или работают грузчиками в порту, когда туда два-три раза в месяц заходят корабли. Жена одного из этих освобожденных и сгубила предшественника Луи. Это была цветная женщина, молоденькая, хорошенькая, с изящной фигуркой и завлекательным взглядом. Заговор тщательно продумали. Палач был здоровый, полнокровный, темпераментный мужчина. Попавшись ему на глаза и поймав его одобрительный взгляд, эта женщина вызывающе посмотрела на него. Спустя день или два он снова увидел ее в городском саду. Заговорить с ней он не осмелился (никто, будь то мужчина, женщина или ребенок, не заговаривал с ним из боязни быть замеченным другими), но когда он подмигнул ей, женщина улыбнулась. Однажды вечером он встретил ее в кокосовой роще неподалеку от своего дома. Вокруг не было ни души. И он заговорил с ней. Они едва обменялись несколькими словами: уж очень она боялась, что кто-нибудь увидит их. Но через некоторое время она снова пришла в рощу. Она вела с ним игру осторожно,

пока его подозрения окончательно не рассеялись; она разжигала его желания, выманивала небольшие подарки и, наконец, условившись о сумме, изрядной для них обоих, согласилась прийти к нему ночью. В порт как раз пришел корабль, и ее муж должен был работать до утра. Палач отворил ей дверь, и так как она стояла в нерешительности, словно раздумывая, войти или нет, он шагнул за порог, чтобы взять ее за руку, и рухнул на землю, сокрушенный ударом ножа в спину.

— Болван, — процедил сквозь зубы Луи Ремир. — Поделом ему. Надо было вовремя раскусить хитрую бабу. Ох, уж это мужское тщеславие!

Что касается его, то он покончил с женщинами. Это из-за них он оказался в таком положении, по крайней мере из-за одной из них; а кроме того, какие там страсти в его-то годы. Ведь в жизни есть и еще кое-что, и мужчина, достигший определенного возраста, если он не дурак, не может этого не понять. Луи всегда был заядлым рыболовом. Раньше у себя на родине, во Франции, до того, как с ним случилось это несчастье, он сразу после работы брал удочку и отправлялся на Рону. Да и теперь часто ходил на рыбалку. Каждое утро он сидел на своем излюбленном месте, пока не начинало припекать солнце, и обычно ему удавалось наловить кое-что для стола коменданта тюрьмы. Жена коменданта была женщина практичная и платила ему за рыбу меньше, чем он просил, но он не осуждал ее: ведь она знала, что ему все равно придется взять столько, сколько она предложит, и было бы глупо с ее стороны платить хоть на сантим больше. Так или иначе, это были деньги, на которые он мог покупать себе табак, ром и другие мелочи. Однако в этот вечер он решил наловить рыбы для себя. Взяв из-под навеса наживку и удочку, он пошел к заливу и уселся на свой камень.

Нет рыбы вкуснее, чем та, которую поймал сам, к тому же Луи научился отличать хорошую от жесткой и безвкусной — такую не жалко и обратно в море. Но водилась тут одна рыба, на редкость вкусная, не хуже кефали, особенно если ее поджарить на настоящем оливковом масле.

Не прошло и пяти минут, как поплавок дернулся, и когда Луи подсек леску, то словно в ответ на его молитвы на крючке забилась та самая рыба. Он снял ее, стукнул головой о камень и, положив на землю, сменил наживку.

Из четырех таких вот рыбин получится прекрасный ужин, лучше и не придумаешь, а ему надо как следует подкрепиться, — ведь ночью предстоит тяжелая работа. И завтра утром не порыбачишь. Сначала придется разобрать эшафот и по частям перенести его в комнату, где он обычно хранится, а потом все это нужно будет чистить. Занятие не из приятных: в прошлый раз его штаны так пропитались кровью, что он ничего не мог с ними поделать, пришлось их выкинуть. Да и медь надо будет надраить и нож наточить. Не такой он человек, чтобы бросить дело на полдороге, а к тому времени, когда все будет приведено в порядок, он изрядно проголодается. Поэтому было бы очень кстати поймать еще несколько штук и положить их в прохладное место, чтобы утром плотно позавтракать. Чашка кофе, пара яиц и немного жареной рыбы — недурной завтрак. Потом он как следует выпится. После бессонной ночи, волнений из-за неопытности помощника и всей этой грязи, которую предстоит убрать, — право же, отдых будет заслуженный.

Перед ним простирался залив, спокойный и величественный, вдалеке виднелся покрытый зеленью островок. День был изумительно тихий. И в душу рыболова снизошел покой. Он лениво следил за поплавком. Если серьезно подумать, рассуждал Луи, все ведь могло быть гораздо хуже; взять, к примеру, каторжников, тех самых каторжников, которыми до отказа набита тюрьма всего в каких-нибудь трехстах ярдах от него, — некоторые из них так тоскуют по родине, что с ума сходят, но он-то немного философ: пока можно ловить рыбу, жизнь не так уж плоха, и какая, в сущности, разница, где следить за поплавком — на берегу южного моря или на берегу Роны. Мысли его обратились к прошлому. Его жена была несносная женщина, и он не жалел, что убил ее. Он никогда и не думал на ней жениться. Она была портнихой и приглянулась ему потому, что всегда была аккуратно и нарядно одета. Держалась она с достоинством, как настоящая дама. Он ничуть не удивился бы, если б она сочла, что полицейский ей не пара. Но он был обаятельный малый. Скоро она дала ему понять, что совсем не такая уж гордая, и когда он попытался поухаживать за ней, как это положено, то с облегчением обнаружил, что ее не назовешь недотрогой, а он был не из тех мужчин, которые считают, что длительное сопротивление придает особую прелесть

победе. Ему нравилось появляться с ней в ресторане, куда он приглашал ее пообедать. Женщина она была неглупая и притом не транжира. Она знала, где можно вкусно и дешево поесть. Короче, ему можно было лишь позавидовать, особенно если учесть, что он мог без особых затрат удовлетворять и другие свои желания, столь понятные при его здоровом организме. Когда же она пришла к нему и сказала, что ждет ребенка, ему показалось вполне естественным жениться на ней. Зарабатывал он прилично, да и пора было обзавестись семьей. Ему надоело питаться *en pension*¹ и в ресторанах, он мечтал о собственном доме и домашней кухне. И хотя тревога по поводу ребенка оказалась ложной, Луи, будучи человеком незлым, не рассердился на Адель. Вскоре, однако, он обнаружил — как, впрочем, и многие до него, — что жена и любовница не одно и то же. Она оказалась ревнивой и властной. Так, она почему-то считала, что в воскресенье днем он должен гулять с женой, а не удить рыбу, и если после работы он заходил в кафе, то она обижалась. А он частенько заглядывал в одно кафе, где собирались рыболовы, с которыми ему было о чем потолковать. Куда ведь приятнее провести свободный вечер за кружкой пива, перекинуться с приятелями в карты, чем сидеть дома с женой. Она начала устраивать ему сцены. А Луи, несмотря на природную покладистость и добродушие, был человеком вспыльчивым. В Лионе много всякого сброда, и иной раз полиции просто не справиться с головорезами, не прибегая к крутым мерам. Поэтому, когда с женой стало совсем невтерпеж, ему и в голову не пришло, что с ней нужно вести себя как-то иначе. И вскоре она убедилась, что у ее мужа тяжелая рука. Будь она женщиной разумной, она сделала бы для себя выводы, но она таковой не была. Луи все чаще приходилось прибегать к этому способу воздействия, она же мстила ему тем, что кричала на весь дом — они занимали двухкомнатную квартиру на пятом этаже большого дома — и жаловалась соседям, какой он зверь. Она уверяла их, что когда-нибудь он ее убьет, это он-то, добрейший человек! Жена обвиняла его в том, что он слишком много тратит на кафе и на женщин. Что ж, он, как и всякий другой, время от времени имел такие возможности и не пренебрегал ими; он легко расставался с деньгами.

¹ В пансионах (*фр.*).

и охотно угощал приятелей, а когда какая-нибудь девушка, которая была с ним мила, нуждалась в новой шляпке или паре шелковых чулок, он никогда ей не отказывал. Жена же считала, что если деньги потрачены не на нее, то они у нее украдены; она пыталась заставить его отчитываться за каждый сантим, а когда он, смеясь, говорил, что выбросил деньги в окно, она приходила в ярость. Язык ее становился все более язвительным, а голос скрипучим, целыми днями она ходила мрачная и злая. Она рта не могла раскрыть без того, чтобы не сказать ему какую-нибудь гадость. Словом, они жили как кошка с собакой. Луи Ремир частенько говорил приятелям, что жена его сушая ведьма и что он сто раз на дню проклинает себя за эту женитьбу; а иногда добавлял, что если Адель не умрет от какой-нибудь эпидемии, то ему действительно придется ее убить.

Вот из-за этих-то слов, сказанных в шутку, да еще из-за вечных жалоб жены, утверждавшей в разговорах с соседями, что он ее прикончит, и оказался Луи в Сен-Лоран-де-Марони, приговоренный к двенадцати годам каторжных работ. Иначе бы ему не дали больше трех-четырёх лет где-нибудь во Франции.

Развязка наступила в жаркий летний день. Луи пребывал в дурном настроении, что случалось с ним редко. В городе началась забастовка, и бастующие были настроены воинственно. Полиции пришлось многих арестовать, а эти люди не сдавались добровольно. Луи получил страшный удар в челюсть и был вынужден как следует поработать своей дубинкой. Доставить арестованных в участок тоже оказалось делом нелегким. Он зашел домой, чтобы переодеться и пойти в кафе выпить кружку пива и сыграть в карты. Пострадавшая от удара челюсть нестерпимо ныла. Жена выбрала именно этот момент, чтобы попросить у него денег, а когда он отказал ей, устроила сцену. Она кричала, что на кафе у него деньги есть, а на кусок хлеба для жены нет и что ему наплевать, если она подохнет с голоду. Он велел ей заткнуться, и тут разразился настоящий скандал. Она встала в дверях и поклялась, что не выпустит его до тех пор, пока он не даст ей денег. Луи приказал жене уйти с дороги и шагнул вперед. Она схватила револьвер, который он отстегнул, когда переодевался, и пригрозила, что застрелит его, если он сделает еще шаг. Луи привык иметь дело с опасными преступниками, и едва она произнесла эти слова, как он

кинулся на нее и вырвал револьвер. Она пронзительно закричала и ударила его по лицу. Удар пришелся как раз по больному месту. Не помня себя от ярости и боли, Луи выстрелил, он выстрелил дважды, и Адель упала. С минуту он стоял ошеломленный и смотрел на нее. Она была мертва. Луи почувствовал необыкновенное облегчение. Он прислушался. Похоже, что никто не слышал выстрелов. Соседей, как видно, нет дома. Отлично, по крайней мере он мог принять необходимые меры. Он снова надел мундир, вышел, запер дверь и положил ключи в карман. Заглянув в знакомое кафе, он выпил пива и затем вернулся к себе в участок. Из-за беспорядков, происходивших в тот день в городе, главный инспектор был еще у себя, Луи Ремир прошел к нему и рассказал о случившемся. Ночь он провел в камере по соседству с забастовщиками, которых сам же арестовал. Даже в этот драматический момент он не мог не почувствовать всей иронии своего положения.

Будучи полицейским, Луи Ремир не раз выступал свидетелем при разборе уголовных дел и хорошо знал, до чего охотно друзья подсудимого дают показания, которые могут повредить человеку, попавшему в беду. Он мрачно усмехался, вспоминая, как часто единственным основанием для обвинительного приговора служили показания лучших друзей подсудимого. И все же, когда разбиралось его дело, он, несмотря на весь свой опыт, был буквально поражен, услышав показания хозяина кафе, куда он так часто заглядывал, и тех, с кем он много лет ловил рыбу, играл в карты и выпивал. Оказывается, они бережно хранили в памяти каждое неосторожно произнесенное им слово, все его жалобы на жену и угрозы, которые он время от времени в шутку отпускал по ее адресу, говоря, что расквитается с ней. Он знал, что в свое время никто из них не принимал его слов всерьез. И если он мог оказать им небольшую услугу — а в его положении такая возможность представлялась нередкой, — он не колеблясь делал это. Да и денег он не жалел. А слушая этих свидетелей, можно было подумать, что им доставляет огромное удовольствие вытаскивать на свет самые незначительные подробности, которые могли бы быть использованы против него.

Из сказанного на суде явствовало, что Луи — злодей, развратник, взяточник, человек расточительный, ленивый и подверженный приступам ярости. Но сам-то он знал, что

это не так. Он был обыкновенным, добродушным, покладистым парнем, который никогда не вмешивался в чужие дела. Правда, он любил перекинуться в карты и выпить кружку пива; правда и то, что ему нравились хорошенькие женщины. Но что в этом дурного? Луи смотрел на присяжных и думал: найдется ли среди них хоть один, который выглядел бы лучше, если бы вот так же рассказать о всех его больших и малых проступках, напомнить о словах, сказанных сгоряча? Луи не возмущался, когда суд вынес ему суровый приговор. Он сам был слугой закона, и раз он совершил преступление, то по справедливости должен и понести наказание. Но преступником-то он не был. Он был лишь жертвой злополучной случайности.

В лагере Сен-Лоран-де-Марони, надев полосатую белую с розовым одежду каторжника и уродливую соломенную шляпу, Луи ни на минуту не забывал, что прежде он был полицейским и что заключенные, с которыми теперь он должен жить бок о бок, всегда были его естественными врагами. Он не любил и презирал их, а поэтому старался как можно меньше иметь с ними дела. Он совсем не боялся их: он их слишком хорошо знал. Как и все каторжники, Луи носил при себе нож и не скрывал, что в случае чего готов пустить его в ход. Он ни с кем не хотел ссориться, но и никому не позволил бы совать нос в свои дела.

Шеф лионской полиции относился к Луи хорошо, его послужной список был образцовым, да и в досье, присланном на него, он характеризовался положительно. Луи знал, что начальству нравятся заключенные, которые не доставляют много хлопот, не сетуют на свою судьбу и усердно трудятся. Работа ему досталась легкая. Вскоре его перевели в одиночку, и таким образом он избавился от тесноты и бесчинств общей камеры. С надзирателями он ладил. Большинство из них были славные ребята; к тому же они знали, что в свое время он служил в полиции, и относились к нему скорее как к коллеге. Начальник тюрьмы доверял ему. Спустя некоторое время Луи взяли слугой в дом одного из тюремных чиновников. Он только ночевал в тюрьме, в остальном же пользовался полной свободой. Каждый день он провожал детей своего хозяина в школу, а после занятий приводил домой. Луи мастерил им игрушки. Он сопровождал хозяйку на рынок, а на обратном пути нес ее покупки. И подолгу обсуждал с ней местные новости. Вся семья

полюбила Луи. Им нравился его шуточный тон и добродушная улыбка. К тому же он был трудолюбив и вызывал доверие. Жизнь снова стала вполне сносной.

Но через три года хозяина Луи перевели в Кайенну. Это было для него тяжелым ударом. Однако случилось так, что как раз в это время освободилось место палача, и он получил его. Теперь он снова был на государственной службе. Он стал чиновником. И домик его при всем своем убожестве был его собственным домом. Ему больше не нужно было носить тюремную одежду. Он мог отрастить волосы и усы. Его мало трогало, что заключенные боялись и презирали его. Для него они были отбросами общества. Когда он вынимал из корзины окровавленную голову казненного и, держа ее за уши, торжественно произносил: «Именем французского народа правосудие свершилось», — он чувствовал, что действительно представляет свою страну. Он стоял на страже закона и порядка. Он защищал общество от орд жестоких преступников.

За каждую голову Луи получал по сто франков. Этих денег и того, что платила за рыбу жена начальника тюрьмы, хватало на вполне приличное существование, а иногда он мог позволить себе даже и кое-какую роскошь. И в этот погожий вечер, сидя на своем камне у залива, Луи думал о том, как он распорядится деньгами, которые завтра получит. Время от времени поплавок вздрагивал — клевала рыба; тогда он вытаскивал ее, снимал с крючка и нацеплял свежую наживку, но все это он делал машинально, не отвлекаясь от своих мыслей. Шестсот франков. Огромная сумма. Он с трудом представлял себе, что станет делать с такими деньгами. У него в домике есть все необходимое: большой запас продуктов и рома предостаточно, если учесть, что он мало пьет; рыболовные снасти ему не нужны, да и одежда у него вполне приличная. Оставалось одно — припрятать денежки. Недалеко от дома под корнем папайи у него уже лежала кругленькая сумма. Луи даже хмыкнул, представив себе, как вытаращила бы глаза Адель, если б узнала, что он стал копить деньги. Это было бы бальзамом для ее алчной души. Он постоянно откладывал деньги, приберегая их на то время, когда снова будет свободным. Ведь для многих это — самое трудное время. Пока они в тюрьме, у них есть пища и крыша над головой, но после освобождения и при том, что им предстоит еще долгие годы жить в

колонии, бывшие заключенные должны сами о себе заботиться. Поэтому все они говорили, что настоящее наказание начнется для них только после отбытия срока. Они не могли найти работу. Брать их на службу опасались. Подрядчикам не было смысла нанимать их, поскольку тюремные власти предоставляли рабочую силу по цене, исключавшей всякую конкуренцию. Бывшие каторжники спали на базарной площади под открытым небом, а чтобы не умереть с голоду, порой даже вынуждены были обращаться в Армию Спасения. Но там за кусок хлеба нужно было много работать и, кроме того, обязательно присутствовать на церковных службах. Иногда люди совершали тяжкие преступления с единственной целью — снова оказаться на издвигении тюрьмы. Луи Ремир не собирался рисковать. Он мечтал накопить достаточно денег, чтобы открыть собственное дело. Надо только добиться разрешения на жительство в Кайенне — и тогда можно будет открыть там бар. Посетители вряд ли появятся сразу — как-никак ведь он был палачом, — но если в баре будет хороший выбор вин, они отбросят предрассудки, и при его радушии и умении поддерживать порядок все мало-помалу наладится. Люди, приезжавшие в Кайенну по делам, стали бы заглядывать к нему из любопытства. Разве не забавно по возвращении домой рассказать друзьям, что самый лучший ром в Кайенне дают в баре палача? Но до этого еще далеко, а пока он может жить, не отказывая себе ни в чем. Луи задумался. Нет, ему действительно ничего не нужно. Он попытался напрячь воображение и даже перестал следить за поплавком. Море лежало перед ним удивительно спокойное, переливаясь всеми красками заката. В небе уже мерцала одинокая звезда. И тут в голову ему пришла мысль, наполнившая его каким-то удивительным чувством: «Ведь если у человека все есть и ему нечего больше желать, то, значит, он счастлив. — Он погладил усы, и его голубые глаза засветились мягким светом. — Конечно, я счастлив, и как это я до сих пор этого не понимал».

Мысль эта была настолько неожиданной, что Луи даже не знал, как ее воспринять. Очень странная, конечно, мысль: но при этом для всякого здравого рассуждающего человека столь же ясная, как постулат Эвклида.

«Так, стало быть, я счастлив. Многие ли могут сказать то же самое? Впервые в жизни — и где? В Сен-Лоран-де-Марони».

Солнце садилось. Луи наловил себе рыбы на ужин и на завтрак. Он свернул удочку, собрал рыбу и отправился домой. Его дом находился всего в нескольких шагах от моря. Луи быстро развел огонь, и скоро четыре рыбины уже шипели на сковороде. Он всегда жарил на хорошем масле. Самое лучшее оливковое масло стоило дорого, но этот расход окупался.

В тюрьме давали неплохой хлеб, и, когда рыба была готова, Луи поджарил два ломтика хлеба на оставшемся масле. Он с удовольствием вдохнул приятный запах. Затем зажег лампу, вымыл зелень, которую принес с огорода, и приготовил себе салат. Луи считал, что никто не умеет делать салат лучше него. Он выпил стаканчик рома и с аппетитом поужинал. Обьедки он бросил собакам, лежавшим у его ног, вымыл посуду, потому что был человеком аккуратным и ему не хотелось, вернувшись утром домой, застать беспорядок. После этого он выпустил собак в рощу, занес лампу в дом, устроился поудобней в шезлонге и, покуривая контрабандную голландскую сигару, привезенную из соседней колонии, взялся за одну из французских газет, пришедших с последней почтой. Теперь, когда Луи был сыт и наслаждался отдыхом, он не мог не почувствовать, что жизнь при всех ее недостатках — штука стоящая. Луи все еще был под впечатлением странного чувства, внезапно нахлынувшего на него от сознания, что он счастлив. Подумать только: у людей вся жизнь проходит в поисках счастья, а он, Луи, уже нашел его. Но факт был налицо. Если человек имеет все, чего он хочет, значит, он счастлив; Луи имеет все, чего хочет, стало быть, он счастлив. Он даже хмыкнул, когда на ум ему пришла еще одна мысль: «И никуда не денешься — всем этим я обязан Адели».

Уж эта Адель! Ну и стерва же она была!

Тут Луи решил, что неплохо бы немного вздремнуть. Он поставил будильник на без четверти двенадцать, лег и через несколько минут уже крепко спал. Сны не тревожили его. Когда будильник зазвенел, Луи даже подскочил от неожиданности, но тут же вспомнил, зачем его завел, и, зевнув, лениво потянулся.

«Однако пора и на работу. У всякой должности свои неудобства».

Он выбрался из-под москитной сетки и снова зажег лампу. Ополоснул лицо и руки, чтобы освежиться, выпил

стаканчик рома, потому что ночью на улице прохладно. Вспомнив о новом помощнике, он решил, что надо и для него захватить немного рома. «Весело будет, если он раскиснет».

Скверно, что их шестеро. Был бы один, тогда не так уж важно, что помощник — новичок, но будет совсем неудобно, если произойдет заминка и остальным пяти придется ждать. Луи пожал плечами. Ничего не поделаешь: придется им с помощником постараться. Он прошелся гребнем по взъерошенным волосам и тщательно расчесал свои красивые усы. Он закурил сигарету, пересек дворик, отворил тяжелую калитку, вышел и запер ее за собой. Луны не было. Он свистнул собак, но, к его удивлению, они не прибежали. Он свистнул снова. Негодные, небось, поймали крысу и дерутся из-за нее. Ох, и влетит им за это. Он им покажет, как не являться на зов хозяина. Луи направился к тюрьме. Под пальмами было темно, и, право же, было бы лучше, если б собаки бежали рядом. Впрочем, до открытого места было всего ярдов пятьдесят. В окнах дома начальника тюрьмы горели огни, и, глядя на них, Луи почувствовал себя увереннее. Он улыбнулся, так как догадался, почему в окнах, несмотря на поздний час, горел свет: начальнику не спится, — ведь он знает о предстоявшей на рассвете казни. Гнетущее чувство тревоги, овладевшее и каторжниками и поселенцами накануне казни, испытывал, видимо, и он. Правда, в такие дни всегда можно было ожидать беспорядков, поэтому стражники держали ухо остро и готовы были в случае чего пустить в ход оружие.

Луи свистнул собак еще раз, но они не появлялись. Это было непонятно, и Луи почувствовал легкое беспокойство. Обычно он ходил не спеша, немного вразвалку, но сейчас ускорил шаг. Он выплюнул сигарету. Ему пришло в голову, что будет разумнее не выдавать своего присутствия. Внезапно он споткнулся обо что-то и замер. Луи был не робкого десятка, и нервы у него были стальные, но тут он похолодел от ужаса. То, обо что он споткнулся, было мягким и большим, и Луи сразу же догадался. На ногах у него были сандалии, и он осторожно потрогал предмет, лежавший перед ним на земле. Да, так оно и есть. Одна из его собак. Мертвая. Луи отступил назад и вынул нож. Он знал, что кричать бесполезно. Единственным домом поблизости был дом коменданта тюрьмы, который выходил на открытое про-

странство за кокосовой рошей. Но там его не услышат, а если и услышат, то не двинутся с места. В Сен-Лоран-де-Марони люди не выходят из дома поздно ночью на крики о помощи. А если утром одного из бывших заключенных находят мертвым, что ж, потеря невелика. Луи Ремир мгновенно понял, что произошло.

Мысль его заработала с лихорадочной быстротой. Собак убили, пока он спал. Должно быть, это случилось, когда после ужина он выпустил их со двора. Им подбросили отравленного мяса, и эти твари тут же сожрали его. Если та, о которую он споткнулся, была недалеко от дома, так только потому, что она пыталась поползти туда, пока не сдохла. Луи Ремир напряг зрение. Ничего не видно. Тьма крошечная. Он едва различал стволы ближайших пальм. Первым его желанием было броситься назад к дому. Там, в безопасности, он мог бы переждать, пока тюремная администрация, удивленная его отсутствием, не послала бы за ним. Но он знал, что домой ему уже не попасть. Он знал, что те, кто убил его собак, притаились там, в темноте. Кроме того, ему пришлось бы повозиться с ключом, а прежде чем он успел бы отпереть калитку, ему всадили бы нож в спину. Он внимательно прислушался. Ни звука. И тем не менее он чувствовал, что они здесь и только ждут возможности, чтобы убить его. Они убьют его так же, как убили его собак. Он умрет, как собака. Конечно, их несколько. По крайней мере трое или четверо, а может, и больше; Луи знал, что это либо каторжники, которые работают в частных домах и потому могут возвращаться поздно ночью, либо отчаявшиеся, умирающие с голоду освобожденные, которым нечего терять. С минуту он стоял в нерешительности. Бежать он не рискнул: они могли протянуть веревку через тропу, которая вела на открытое место, и если он налетит на нее, то ему конец. Пальмы росли редко, но в темноте враги видели Луи не лучше, чем он их. Он перешагнул через мертвую собаку и, сойдя с тропы, прислонился к стволу пальмы: как же быть дальше? Кругом стояла зловещая тишина. Внезапно послышался шепот, заставивший Луи содрогнуться от страха. И снова мертвая тишина, Луи понимал, что надо идти вперед, но его ноги словно приросли к земле. Он чувствовал, что они высматривают его из темноты, и ему казалось, что они видят его отчетливо, как днем. Затем позади него раздался легкий кашель. Луи так испугался, что чуть

не вскрикнул. Теперь он знал, что окружен со всех сторон. Он не ждал пощады от этих грабителей и убийц. Ему вспомнился тот, другой палач, его предшественник, которого еще живого приволокли в джунгли, выкололи ему глаза и повесили на растерзание грифам. У Луи затряслись колени. Какой же он был дурак, что взялся за эту работу. Ведь он бы мог найти что-нибудь попроще и совсем не опасное. Но теперь думать об этом поздно. Луи взял себя в руки. Он понимал, что у него нет надежды выйти из рощи живым, но в руки им живым он не дастся. Он крепче сжал нож. Самое ужасное, что он никого не видел и не слышал и в то же время ясно сознавал, что они затаились где-то рядом, выжидая лишь подходящего момента, чтобы нанести удар. Внезапно в голову ему пришла шальная мысль: а что, если бросить нож и крикнуть им, что он безоружен, что они могут спокойно подойти и убить его? Но Луи знал их: им было бы мало просто его убить. Ярость охватила его. Нет, он не такой, чтобы трусливо сдаться каким-то головорезам. Он честный человек и находится на государственной службе, его долг — защищаться. Не может он стоять здесь всю ночь. Уж лучше покончить сразу. Но он никак не мог заставить себя сдвинуться с места: прижавшись спиной к дереву, он чувствовал себя в относительной безопасности. Он стоял, пристально вглядываясь в дерево напротив, как вдруг оно сдвинулось с места, и тут он с ужасом обнаружил, что это человек. Тогда наконец Луи решился и, преодолевая страх, шагнул вперед. Он двигался медленно и осторожно. Он ничего не видел и не слышал. Но он знал, что по мере того, как продвигается он, продвигаются и его враги. Казалось, он шел в сопровождении незримых телохранителей. Он как будто даже слышал шаги их босых ног. Луи больше не чувствовал страха. Он шел, стараясь держаться ближе к деревьям, чтобы враги не могли нанести ему удар сзади. В душе его возникла отчаянная надежда, что они побоятся напасть на него, ведь они знали его, все знали, и тот, кто первым попытается ударить его, только по счастливой случайности сумеет избежать ответного удара в живот. До освещенного места оставалось всего ярдов тридцать — там бы он мог дать бой. Еще несколько ярдов — и можно пуститься бегом. И тут случилось нечто, отчего Луи похолодел и остановился как вкопанный. Что-то вспыхнуло — зловещий свет в темноте ночи, — карманный фонарик. Инстинктивно Луи

бросился к дереву и прижался к нему спиной. Он не видел того, кто светил ему в лицо. Он был ослеплен и молча стоял, низко держа нож; он знал, что бить будут в живот, и приготовился ответить на удар. Он дорого продаст свою жизнь. Те несколько секунд, пока он стоял ослепленный, показались ему вечностью. Он даже как будто начал смутно различать их лица. Вдруг в жуткой тишине раздался возглас:

— Бросай!

В то же мгновение брошенный кем-то нож ударил его в ключицу. Луи вскинул руки, кто-то прыгнул на него и широким взмахом ножа вспорол ему живот. Свет погас. Застонав от невыносимой боли, Луи Ремир опустил на землю. Пять или шесть человек вышли из темноты и сгрудились вокруг него. Нож, попавший ему в ключицу, выпал и лежал на земле. Яркая вспышка фонаря осветила его. Один из убийц поднял нож и плавным движением перерезал горло Луи Ремиру — от уха до уха.

— Именем французского народа правосудие свершилось, — произнес он.

Убийцы исчезли во мраке, и на рошу опустилась глубокая, мертвая тишина.

ЧУВСТВО ПРИЛИЧИЯ

Я не люблю принимать приглашения задолго. Как поручиться, что в такой-то день через три недели или через месяц захочешь обедать у таких-то? Возможно, тем временем подвернется случай провести этот вечер приятнее, а когда приглашают так задолго, явно соберется многочисленное и церемонное общество. Ну, а как быть? День назначен давным-давно, званые гости вполне могли заранее освободить его, и нужен очень веский предлог для отказа, иначе оскорбишь хозяев неучтивостью. Принимаешь приглашение, и целый месяц это обязательство тяготит тебя и омрачает настроение. Оно нарушает дорогие твоему сердцу планы. Оно вносит беспорядок в твою жизнь. По сути, есть только один выход — увильнуть в самую последнюю минуту. Но на это у меня то ли не хватает мужества, то ли совесть не позволяет.

Однажды июньским вечером, около половины девятого я не без досады вышел из квартиры, которую снимал на улице Полумесяца, и отправился за угол, на обед к Макдональдам. Макдональды мне нравились. Много лет назад я взял себе за правило не делить трапезу с людьми, которых не люблю или презираю, и тем самым отказался от гостеприимства многих, в чьих домах мог бы приятно проводить время, однако и по сей день полагаю, что решил правильно. Макдональды очень милы, но вечера у них — сущая лотерея. Они почему-то воображают, что, если пригласить шесть человек, которым совершенно не о чем друг с другом говорить, вечер обречен на неудачу, но если утроить число таких гостей и пригласить восемнадцать, все пройдет прекрасно. Я немного запоздал, это почти неизбежно, когда живешь по соседству с домом, куда приглашен. и незачем

брать такси, и в комнате, куда меня ввели, было уже полно народу. Знакомых лиц я почти не увидел и с тоской представил себе, как за долгим обедом буду мучительно искать тему для разговора, сидя между двумя незнакомками. Я вздохнул с облегчением, когда вслед за мной появились Томас и Мэри Уортон, и еще больше обрадовался, обнаружив, что за столом мое место рядом с Мэри.

Томас Уортон, художник-портретист, когда-то пользовался немалым успехом, но не оправдал надежд, которые подавал в молодости, и критики давно уже не принимают его всерьез. Зарабатывает он прилично, однако на ежегодной выставке в Королевской Академии, куда он неизменно посылает добросовестно выполненные, но скучные портреты процветающих коммерсантов или землевладельцев — любителей охоты на лисиц, посетители едва достаивают эти портреты беглым взглядом. Вы бы и рады восхищаться его работами, ведь сам он человек благодушный и доброжелательный. Если вы — писатель, он искренне восхищается всем, что вы написали, радуется каждой вашей удаче, и так приятно было бы с чистой совестью тепло отозваться о его произведениях. Но это невозможно, и остается прибегнуть к единственно спасительной фразе, какая еще остается приятелю художника-портретиста.

— Видимо, сходство паразитное, — говорите вы.

Мэри Уортон в прошлом известная певица, еще и сейчас в голосе ее сохранилось что-то от бывлой прелести. Наверно, в молодости она была очень хороша собой. Теперь, в пятьдесят три, лицо у нее изможденное. Черты утратили женственность, кожа огрубела; но коротко стриженные седеющие волосы все еще густы и выются, а в чудесных глазах светится ясный ум. Одевается она не строго по моде, но живописно, и у нее слабость к ожерельям и каким-то необыкновенным серьгам. Она резковата, мгновенно подмечает чужую глупость, язычок у нее острый, и потому ее многие не любят. Но все признают, что она умница. Она не только настоящий музыкант, но и очень начитанна и до страсти увлекается живописью. Она на редкость тонко чувствует искусство. Интерес к современному искусству у нее не показной, а искренний, и она за гроши покупала картины безвестных художников, к которым потом приходила слава. В ее доме слышишь новейшую сложную музыку, и стоит в Европе появиться поэту или романисту, способному сказать новое,

необычное слово, она немедля ринется за него в бой против филистеров. Вы скажете, что она интеллектуалка — так оно и есть; но вкус у нее едва ли не безошибочный, ее суждения здравы и восторги непритворны.

Больше всех ею восхищается Томас Уортон. Он влюбился в нее, когда она еще пела на концертной сцене, и стал преследовать предложениями руки и сердца. Раз пять или шесть она ему отказывала и, как я подозреваю, вышла за него не без колебаний. Она думала, что он станет большим художником, и когда он оказался всего лишь приличным ремесленником, лишенным оригинальности и воображения, почувствовала себя обманутой. Ее оскорбляло, что знатоки смотрят на него свысока. Томас Уортон любил жену. Он глубоко уважал ее мнение, и ее одобрительное слово было бы ему дороже хвалебных рецензий во всех лондонских газетах. Но она была слишком честна, чтобы говорить не то, что думала. Его жестоко уязвляло, что жена так мало ценит его работу, и, хотя он пытался обратить это в шутку, видно было, что втайне он обижен ее замечаниями. В иные минуты его длинная лошадиная физиономия багровела от еле сдерживаемого гнева и взгляд омрачала ненависть. Другим известно было, что супруги не ладят. У них была злосчастная привычка ссориться на людях. Уортон неизменно говорил о жене с восхищением, но Мэри, не столь сдержанная, не скрывала от близких друзей, как муж ее раздражает. Она признавала его достоинства — доброту, великодушие, бескорыстие, признавала охотно; но недостатки у него такие, из-за которых с человеком трудно ужиться: он узколобый, самоуверенный и притом заядлый спорщик. По натуре он не художник, а для Мэри Уортон искусство превыше всего. В том, что касается искусства, она не способна на уступки. И потому не замечает, что грехи Уортона, которые так бесят ее, объясняются в значительной мере его уязвленным самолюбием. Она то и дело ранила его, а он, обороняясь, становился высокомерен и нетерпим. Нет муки злее, чем презрение единственного человека, чьей похвалы жаждешь больше всего на свете, и хоть Томас Уортон был невыносим, нельзя было ему не посочувствовать. Но если в моем описании Мэри выглядит вечно недовольной, капризной и в общем-то утомительной особой, значит, я оказался несправедлив. Она была верным другом и очаровательной собеседницей. С ней можно было поговорить о чем угодно. Она была весела и остроумна. Жизнь была в ней ключом.

Сейчас она сидела по левую руку от хозяина, и вокруг нее завязался общий разговор. Я занят был соседкой с другой стороны, но по взрывам смеха, которым встречали каждую шуточку Мэри, догадывался, что она сегодня блистает остроумием. Если она бывала в таком настроении с нею никто не мог сравниться.

— Вы сегодня в ударе, — заметил я, когда наконец она повернулась ко мне.

— Вас это удивляет?

— Нет, ничего другого я от вас и не ждал. Не удивительно, что вы всюду нарасхват. У вас неоценимый дар вносить оживление в любое общество.

— Стараюсь, как могу, заслужить угощение.

— Кстати, что с Мэнсоном? На днях мне кто-то говорил, будто он ложится в больницу на операцию. Надеюсь, ничего серьезного?

Мэри мгновенно помедлила с ответом, но улыбалась все так же весело.

— Вы разве не видели вечернюю газету?

— Нет, я играл в гольф. Только и забежал домой принять ванну и переодеться.

— Он умер сегодня в два часа дня. — У меня чуть не вырвался возглас изумления и ужаса, но Мэри меня остановила: — Осторожнее. Том следит за мной зорче рыси. Все за мной следят. Все знают, что я обожала Мэнсона, но никто не знает наверняка, был ли он моим любовником; даже Том не знает; они хотят видеть, как на меня подействовала его смерть. Старайтесь делать вид, что мы говорим о русском балете.

Тут к ней обратился кто-то из сидящих напротив, и Мэри, по привычке чуть откинув голову, с улыбкой на полных губах, тотчас ответила так остроумно и метко, что все вокруг расхохотались. Разговор опять сделался общим, а я оцепенел, ошеломленный.

Я знал, все мы знали, что добрых двадцать пять лет Джерарда Мэнсона и Мэри Уортон соединяла пылкая привязанность. Это длилось так долго, что даже самые строгие пуритане среди ее друзей, если поначалу их это и корбило, давно научились относиться к ее слабости терпимо. Оба были уже немолоды, Мэнсону шестьдесят, Мэри немногим моложе, и нелепо им было бы в их возрасте не поступать, как хочется. Порой эту пару видели в тихом углу какого-нибудь

захудалого ресторанички или встречали на дорожке зоопарка, и даже странно было, чего ради они все еще стараются скрыть то, что никого, кроме них, не касается. Впрочем, нельзя забывать о Томасе. Он безумно ревновал жену. Он закатывал ей дикие скандалы и не так давно, под конец одной бурной полосы в их жизни, вырвал у нее обещание больше с Мэнсоном не встречаться. Конечно, она не сдержала слово и, хоть знала, что Томас об этом подозревает, всячески остерегалась, чтобы он не убедился в правоте своих подозрений.

Томасу приходилось нелегко. Думаю, они с Мэри довольно сносно тянули бы супружескую лямку и Мэри примирилась бы с тем, что он всего лишь посредственный художник, если бы связь с Мэнсоном не заставила ее судить строже. Слишком жесток был контраст между посредственностью мужа и яркой одаренностью возлюбленного.

— С Томом мне душно, как в закупоренной наглухо комнате, забитой пыльными безделушками, — сказала она мне однажды. — С Джерардом я дышу чистым воздухом горных высей.

— Неужели женщина может влюбиться в ум мужчины? — спросил я из чистого любопытства.

— А что еще есть в Джерарде?

Вопрос, признаться, не из легких. По-моему, больше ничего в Джерарде не было; но секс непредсказуем, и я вполне готов поверить, что Мэри увидела в Джерарде Мэнсоне обаяние и физическую привлекательность, к которым почти все оставались слепы. Он был маленький, сморщенный, бледное умное лицо, за стеклами очков блеклые голубые глаза, огромный выпуклый лоб и сияющая лысина. Внешность отнюдь не романтического любовника. С другой стороны, он бесспорно был очень тонкий критик и отличный эссеист. Меня несколько раздражало, что он пренебрежительно отзывался обо всех английских авторах, кроме тех, кто благополучно отошел в мир иной; но это лишь возвышало его в глазах нашей интеллигенции, охотно верящей, будто на почве отечества не произрастает ничего путного, и в этой среде он пользовался большим влиянием. Однажды я сказал ему, что достаточно изречь пошлость по-французски, чтобы он счел ее остроумной, и он настолько оценил мою шуточку, что вставил ее как свою в очередное эссе. Если уж он снисходил до похвалы современным

авторам, то хвалили лишь тех, кто пишет на чужом языке. Но вот что досадно — сам он, бесспорно, писал блестяще. Стилль его был безупречен. Познания широки и разносторонни. Он умел быть серьезным без высокопарности, забавным без легкомыслия, изысканным без жеманства. Самая незначительная его статейка отлично читалась. Каждое его эссе — маленький шедевр. Что до меня, я не считал его таким уж приятным собеседником. Возможно, мне не удалось разглядеть лучшие его стороны. Хотя мы были знакомы много лет, ни разу я не слышал от него забавной шутки. Он был не речист, и когда уж произносил два слова, то будто не говорил, а вещал. Если бы мне предстояло провести вечер с ним вдвоем, я пришел бы в отчаяние. Меня всегда поражало, что этот скучный, напыщенный человек способен писать так изящно, остроумно и весело.

Еще больше я поражаюсь, что общительная, жизнерадостная Мэри Уортон пылает к нему такой нежной страстью. Подобные загадки непостижимы, видно, было в этом немолодом, недоброжелательном, злонравном человечке что-то притягательное для женщин. Жена его обожала. Она была толстая, нудная и настырная. Она отравляла Джерарду жизнь и нипочем не соглашалась дать ему свободу. Она поклялась, что покончит с собой, если он от нее уйдет, и Мэнсон опасался, как бы она при своем неуравновешенном, истеричном нраве не исполнила угрозу. Однажды, когда Мэри позвала меня на чашку чаю, я заметил, что она беспокойна и чем-то расстроена, спросил, что случилось, и она вдруг расплакалась. Оказалось, перед тем она завтракала с Мэнсоном, и он был совсем выбит из колеи, жена закатила ему ужасную сцену.

— Так продолжаться не может! — воскликнула Мэри. — Его жизнь идет прахом. У всех у нас жизнь идет прахом.

— Почему бы вам не сжечь свои корабли?

— То есть?

— Вы так давно любите друг друга, вы успели изучить друг в друге и самое хорошее, и самое дурное; вы оба уже немолоды, много ли вам осталось; обидно, чтобы пропадало понапрасну чувство, которое выдержало такое испытание временем. И какая от вашей жертвы польза Тому и миссис Мэнсон? Разве они счастливы оттого, что вы оба мучаетесь?

— Нет.

— Тогда почему бы вам попросту все не бросить и не укатить вдвоем, а там будь что будет?

Мэри покачала головой.

— Мы без конца это обсуждали. Больше четверти века обсуждали. Это невозможно. Многие годы Джерард не мог так поступить из-за дочерей. Может быть, миссис Мэнсон была очень нежной матерью, но матерью очень плохой, и правильно воспитывать девочек было некому, кроме Джерарда. А теперь, когда они уже замужем, у него сложились свои привычки. Что нам было делать? Уехать во Францию или в Италию? Я не могу вырвать Джерарда из привычного окружения. Он был бы глубоко несчастен. Он слишком стар, чтобы все начинать сначала. И потом, хоть Томас изводит меня и скандалит, и мы ссоримся и действуем друг другу на нервы, он меня любит. В сущности, у меня бы просто не хватило духу от него уйти. Без меня он пропадет.

— Положение безвыходное. Мне очень грустно за вас.

Внезапно полные яркие губы Мэри дрогнули, сияющая улыбка преобразила изможденное немолодое лицо; честное слово, на минуту она стала красавицей.

— Можете не грустить. Я приуныла было, а вот выплакалась, и стало легче. Сколько боли, сколько страданий ни принес мне наш роман, ни за что на свете я бы от него не отказалась. Ради считанных минут восторга, которые подарила мне эта любовь, я готова бы всю свою жизнь пережить сызнова. И, думаю, он сказал бы вам то же самое. О, поверьте, игра вполне стоила свеч.

Я поневоле был тронут.

— Никакого сомнения, — сказал я. — Это настоящая любовь.

— Да, это любовь, и мы просто не можем от нее отмахнуться. Этот узел не развяжешь.

И вот теперь с трагической внезапностью узел развязался. Я чуть повернулся, посмотрел на Мэри, и она, почувствовав на себе мой взгляд, тоже повернулась. С губ ее не сходила улыбка.

— Почему вы сегодня пришли сюда? Должно быть, для вас это пытка.

Она пожала плечами.

— А что было делать? В больницу он просил не звонить из-за жены. Я прочла извещение в вечерней газете, когда переодевалась. Это меня убило. Убило. Сюда нельзя было не

пойти. Нас пригласили месяц назад. Что я могла объяснить Тому? Предполагалось, что мы с Джерардом уже два года не видимся. А мы двадцать лет писали друг другу каждый день! — Нижняя губа ее слегка задрожала, но Мэри закусила губу, на мгновение лицо ее странно исказилось; потом она взяла себя в руки и улыбнулась. — Он — единственное, что было у меня в жизни, но не могла я испортить людям вечер, правда? Он всегда говорил, что мне присуще чувство приличия.

— К счастью, мы сегодня не засидимся допоздна, и вам можно будет уйти домой.

— Не хочу я домой. Не хочу оставаться одна. Я не смею плакать, тогда у меня будут опухшие красные глаза, а завтра у нас завтракает куча народу. Кстати, может быть, и вы придете? За столом не хватает одного мужчины, и я должна быть в хорошей форме; Том надеется, что после этого завтрака ему закажут портрет.

— Вы храбрая женщина, черт возьми.

— Вы думаете? Понимаете, для меня все кончено. Наверно, от этого мне легче. Джерард хотел бы, чтобы я держалась молодцом. Он бы оценил иронию судьбы. Он всегда считал, что французские романисты прекрасно описывают подобные случаи.

НЕЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Кажется, я всегда попадаю в Италию только в мертвый сезон. В августе и сентябре разве что остановлюсь проездом дня на два, чтобы еще разок взглянуть на милые мне по старой памяти места или картины. В эту пору очень жарко, и жители Вечного города весь день слоняются взад и вперед по Корсо. «Кафе национале» полным-полно, посетители часами сидят за столиками перед стаканом воды и пустой кофейной чашкой. В Сикстинской капелле видишь белобрых, обожженных солнцем немцев в шортах и рубашках с открытым воротом, которые прошагали по пыльным дорогам Италии с рюкзаками, а в соборе Св. Петра — кучки усталых, но усердных паломников, прибывших из какой-нибудь далекой страны. Они находятся на попечении священнослужителя и говорят на непонятных языках. В отеле «Плаза» той порой прохладно и отдохновенно. Холлы темны, тихи и просторны. В гостиной в час вечернего чая только и сидят молодой шеголеватый офицер да женщина с прекрасными глазами, пьют холодный лимонад и негромко разговаривают с чисто итальянской неутомимой живостью. Поднимаешься к себе в номер, читаешь, пишешь письма, через два часа опять спускаешься в гостиную, а они все еще разговаривают. Перед обедом кое-кто заглядывает в бар, но в остальное время он пуст, и бармен на досуге рассказывает о своей матушке в Швейцарии и о своих похождениях в Нью-Йорке. Вы с ним рассуждаете о жизни, о любви и о том, как подорожали спиртные напитки.

Вот и в этот раз отель оказался чуть не в полном моем распоряжении. Провожая меня в номер, служащий сказал, будто все переполнено, но, когда я, приняв ванну и переде-

вшись, отправился вниз, лифтер, давний знакомец, сообщил, что постояльцев сейчас всего человек десять. Усталый после долгой поездки в жару по Италии, я решил мирно пообедать в отеле и лечь пораньше. Когда я вошел в просторный, ярко освещенный ресторан, было уже поздно, но заняты оказались лишь три или четыре столика. Я удовлетворенно огляделся. Очень приятно, когда ты один в огромном и, однако, не совсем чужом городе, в большом, почти безлюдном отеле. Чувствуешь себя восхитительно свободно. Крылышки моей души радостно затрепетали. Я помедлил минут десять у стойки и выпил martini. Спросил бутылку хорошего красного вина. Ноги гудели от усталости, но все существо мое с ликованием встретило еду и напитки, и мне стало на редкость беззаботно и легко. Я съел суп и рыбу и предался приятным мыслям. На ум пришли обрывки диалога, и воображение пустилось весело играть действующими лицами романа, над которым я в ту пору работал. Я попробовал на вкус одну фразу, она была лучше вина. Я задумался о том, как трудно описать наружность человека, чтобы читатель увидел его таким же, каким его видишь сам. Для меня это едва ли не труднее всего. Что, в сущности, дает читателю, если описываешь лицо черточку за черточкой? По-моему, ровно ничего. И, однако, иные авторы выбирают какую-нибудь особенность, скажем, кривую усмешку или бегающие глазки, и подчеркивают ее, что, конечно, действует на читателя, но не решает задачу, а скорее запутывает. Я поглядел по сторонам и задумался — как можно бы описать посетителей за другими столиками. Какой-то человек сидел в одиночестве напротив меня, и, чтобы попрактиковаться, я спросил себя, как набросать его портрет. Он высокий, худощавый и, что называется, долговязый. На нем смокинг и крахмальная сорочка. Лицо длинновато, блеклые глаза; волосы довольно светлые и волнистые, но уже редуют, отступают с висков, от чего лоб приобрел некоторое благородство. Черты ничем не примечательные. Рот и нос самые обыкновенные; лицо бритое; кожа от природы бледная, но сейчас покрыта загаром. Судя по виду, человек интеллигентный, но, пожалуй, заурядный. Похоже, какой-нибудь адвокат или университетский преподаватель, любитель играть в гольф. Скорее всего, у него неплохой вкус, он начитан и, наверно, был бы очень приятным гостем на светском завтраке в Челси. Но как, черт возьми, описать

его в нескольких строчках, чтобы получился живой, интересный и верный портрет, не знаю, хоть убейте. Может быть, лучше отбросить все остальное и подчеркнуть главное — впечатление какого-то утомленного достоинства. Я задумчиво разглядывал этого человека. И вдруг он подался вперед и чопорно, но учтиво кивнул мне. У меня дурацкая привычка краснеть, когда я застигнут врасплох, и тут я почувствовал, как вспыхнули щеки. Я даже испугался. Надо ж было несколько минут глазеть на него, точно это не человек, а манекен. Должно быть, он счел меня отъявленным нахалом. Очень смущенный, я кивнул и отвел глаза. К счастью, в эту минуту официант подал мне следующее блюдо. Насколько мне помнилось, я никогда прежде не видел того человека. Может быть, он поклонился мне в ответ на мой настойчивый взгляд, решив, что мы когда-нибудь встречались, а может быть, я и правда когда-то с ним сталкивался и начисто об этом забыл. У меня плохая память на лица, а тут у меня есть оправдание: людей, в точности на него похожих, великое множество. В погожий воскресный день на площадках для гольфа вокруг Лондона видишь десятки его двойников.

Он покончил с обедом раньше меня. Поднялся, но, проходя мимо моего столика, остановился. И протянул руку.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я не сразу вас узнал, когда вы вошли. Я совсем не хотел быть невежливым.

Голос у него был приятный, интонации чисто оксфордские, которым старательно подражают многие, кто в Оксфорде не учился. Он явно знал меня и столь же явно не подозревал, что я-то его не узнаю. Я встал, и, поскольку он был много выше, он посмотрел на меня сверху вниз. В нем чувствовалась какая-то вялость. Он слегка сутулился, от этого еще усиливалось впечатление, будто вид у него немножко виноватый. Держался он словно бы чуть высокомерно и в то же время чуть стесненно.

— Не выпьете ли со мной после обеда чашку кофе? — предложил он. — Я совсем один.

— Спасибо, с удовольствием.

Он отошел, а я все еще не понимал, кто он такой и где я его встречал. Я заметил одну странность. Пока мы обменивались этими несколькими словами, пожимали друг другу руки и когда он кивнул мне отходя, ни разу на лице его не мелькнула хотя бы тень улыбки. Увидав его ближе, я

заметил, что он по-своему недурен собой: правильные черты, красивые серые глаза, стройная фигура; но все это, на мой взгляд, было неинтересно. Иная глупая дамочка сказала бы, что он выглядит романтично. Он напоминал какого-нибудь рыцаря с картин Берн-Джонса, только покрупнее, и незаметно было, чтобы он страдал хроническим колитом, как эти несчастные тощие герои. Воображаешь, что человек такой наружности будет изумителен в экзотическом костюме, а когда увидишь его в маскараде, окажется, он нелеп.

Вскоре я покончил с обедом и вышел в гостиную. Он сидел в глубоком кресле и, увидав меня, подозвал официанта. Я сел. Подошел официант, и он заказал кофе и ликеры. По-итальянски он говорил отлично. Я ломал голову, как бы выяснить, кто он такой, не оскорбив его. Людям всегда обидно, если их не узнаешь, они весьма значительны в собственных глазах, и их неприятно поражает открытие, что для других они значат очень мало. По беглой итальянской речи я узнал этого человека. Я вспомнил, кто он, и в то же время вспомнил, что не люблю его. Звали его Хэмфри Кэразерс. Он служил в министерстве иностранных дел, занимал довольно важный пост. Возглавлял какой-то департамент. Побывал в качестве атташе при нескольких посольствах и, надо думать, в Риме оказался потому, что в совершенстве владел итальянским языком. Глупо, как я сразу не понял, что он связан именно с дипломатией. Все приметы его профессии бросались в глаза. Его отличала надменная учтивость, тонко рассчитанная на то, чтобы вывести из себя широкую публику, и отрешенность дипломата, сознающего, что он не чета простым смертным, и в то же время некоторая стеснительность, вызванная неуютным сознанием, что простые смертные, пожалуй, не вполне это понимают. Я знал Кэразерса многие годы, но встречал лишь изредка, за завтраком у кого-нибудь в гостях, где разве что с ним здоровался, да в опере, где он мне холодно кивал. Считалось, что он умен; несомненно, он был человек образованный. Он мог поговорить обо всем, о чем говорить полагается. Непростительно, что я его не вспомнил, ведь в последнее время он приобрел немалую известность как писатель. Его рассказы появлялись сначала в каком-нибудь журнале из тех, которые порой надумает издавать иной благожелатель, намеренный предложить разумному чита-

телю нечто достойное внимания, и которые испускают дух; когда владелец потеряет на них столько денег, сколько готов был истратить; и, появляясь на этих скромных, изяшно отпечатанных страницах, рассказы его привлекали ровно столько внимания, сколько позволял ничтожный тираж. Затем они вышли отдельной книгой. И произвели сенсацию. Редко я читал столь единодушные хвалы в еженедельных газетах. Почти все уделили книге целую колонку, а литературное приложение к «Таймс» поместило отзыв о ней не в куче рецензий на рядовые романы, но особо, рядом с воспоминаниями почтенного государственного деятеля. Критики приветствовали Хэмфри Кэразерса как новую звезду на литературном небосклоне. Они превозносили его оригинальность, его изысканность, его тонкую иронию и проницательность. Превозносили его стиль, чувство красоты и настроение его рассказов. Наконец-то появился писатель, поднявший рассказ на высоты, давно утраченные в англоязычных странах, вот литература, которой вправе гордиться англичане, достойная стать наравне с лучшими образцами этого жанра, созданными в Финляндии, России и Чехословакии.

Три года спустя вышла вторая книга Хэмфри Кэразерса, и критики с удовлетворением отметили, что он не спешил. Это вам не вульгарный писака, торгующий своим дарованием! Похвалы, которыми встретили эту книгу, оказались несколько прохладнее тех, какие расточали первому тому, критики успели собраться с мыслями, однако приняли ее достаточно восторженно, такими отзывами счастлив был бы любой обыкновенный автор, пером зарабатывающий свой хлеб, и, несомненно, Кэразерс занял в литературном мире прочное и почетное место. Наибольшее одобрение заслужил рассказ под названием «Кисточка для бритья», и лучшие критики подчеркивали, как прекрасно автор всего лишь на трех-четырёх страницах раскрыл трагедию души парикмахерского подмастерья.

Но самый известный и притом самый длинный его рассказ назывался «Суббота и воскресенье». Он дал название всей первой книге Кэразерса. Речь шла о приключениях компании, которая субботним днем отправилась с Паддингтонского вокзала погостить у друзей в Тэпло и в понедельник утром вернулась в Лондон. Описывалось это весьма деликатно, даже трудновато было понять, что же, собственно, происходит. Некий молодой человек, секретарь

некоего министра, совсем уже готов был сделать предложение дочери некоего баронета, но не сделал. Двое или трое других участников поездки пустились в плоскодонном ялике по реке. Все очень много разговаривали, сплошь намеками, но каждый обрывал фразу на полуслове, и лишь по многоточиям и тире можно было догадываться, что же они хотели сказать. Было множество описаний цветов в саду и прочувствованное изображение Темзы под дождем. Повествование велось от лица немки-гувернантки, и все единодушно заявляли, что Кэразерс с прелестным юмором передал ее взгляд на происходящее.

Я прочитал обе книги Хэмфри Кэразерса. Полагаю, писателю необходимо знать, что пишут его современники. Я всегда рад чему-то научиться и надеялся открыть в этих книгах что-нибудь полезное для себя. Меня ждало разочарование. Я люблю рассказы, у которых есть начало, середина и конец. Мне непременно нужна «соль», какой-то смысл. Настроение — это прекрасно, но одно только настроение — это рама без картины, оно еще ничего не значит. Впрочем, может быть, я не замечал достоинств Кэразерса оттого, что мне самому чего-то не доставало, и, возможно, два самых шумевших его рассказа я описал без восторга потому, что задето было мое самолюбие. Ведь я прекрасно понимал: Хэмфри Кэразерс считает меня неважным писателем. Я уверен, он не прочел ни одной моей строчки. Я популярен, и этого довольно, чтобы он решил, что я не стою его внимания. На время вокруг него поднялся такой шум, что казалось, он и сам станет жертвой презренной популярности, но, как вскоре выяснилось, его изысканное творчество недоступно широкой публике. Очень трудно определить, насколько многочисленна интеллигенция, зато совсем несложно определить, многие ли из среды интеллигенции согласны выложить деньги, чтобы поддержать свое возлюбленное искусство. Спектакли, чересчур утонченные, чтобы привлечь посетителей коммерческого театра, могут рассчитывать на десять тысяч зрителей, а книги, требующие от читателя больше понимания, чем можно ожидать от заурядной публики, находят сбыт в количестве тысячи двухсот экземпляров. Ибо интеллигенция, сколь она ни чувствительна к красоте, предпочитает ходить в театр по контрамарке, а книги брать в библиотеке.

Я уверен, Кэразерса это не огорчало. Он был человек искусства. И притом служил в министерстве иностранных дел. Как писатель он составил себе имя; успех у обывателей его не привлекал, а стань его книги ходким товаром, это, пожалуй, повредило бы его карьере. Я терялся в догадках, чего ради ему вздумалось пить со мной кофе. Правда, он здесь один, но, надо полагать, отнюдь не скучал бы наедине со своими мыслями, и уж наверно не надеется услышать от меня хоть что-то ему интересное. А между тем явно изо всех сил старается быть любезным. Он напомнил мне, где мы в последний раз встречались, и мы потолковали немного об общих лондонских знакомых. Он спросил, как я попал в Рим в это время года, и я объяснил. Он сообщил, что прибыл только сегодня утром из Бриндизи. Разговор не очень вязался, и я решил встать и распрощаться, как только позволят приличия. Но вот странно, вскоре, не знаю отчего, почувствовал, что он уловил это мое намерение и отчаянно старается меня удержать. Я удивился. Стал внимательней. Заметил, что, едва я умолкаю, он находит новый предмет для беседы. Пытается хоть чем-то меня заинтересовать, лишь бы я не ушел. Просто из кожи вон лезет, чтоб быть мне приятнее. Но не страдает же он от одиночества; при его дипломатических связях уж наверно у него полно знакомств, нашлось бы с кем провести вечер. В самом деле, странно, почему он не обедает в посольстве; даже сейчас, летом, там уж наверно есть кто-нибудь знакомый. И еще я заметил, что он ни разу не улыбнулся. Он говорил слишком резко, нетерпеливо, будто боялся даже мимолетного молчания и звуком собственного голоса силился заглушить некую мучительную мысль. Все это было престранно. И хоть я не любил его, ни в грош не ставил и его общество меня даже раздражало, мне поневоле стало любопытно. Я посмотрел на него испытующе. То ли мне почудилось, то ли и правда в его блеклых глазах есть что-то затравленное, точно у побитой собаки, и в бесстрастных чертах, наперекор привычной выдержке, сквозит намек на гримасу душевного страдания. Я ничего не понимал. В мозгу промелькнуло с десятков нелепейших догадок. Не то чтобы я ему сочувствовал, но настоужился, как старый боевой конь при звуках трубы. Еще недавно меня одолевала усталость, теперь я был начеку. Внимание напрягло свои чуткие щупальца. Я вдруг стал примечать малейшее изменение в его лице, малейшее

движение. Я отбросил мысль, что он сочинил пьесу и хочет услышать мое мнение. Таких вот утонченных эстетов почему-то неотвратимо влечет блеск рамп, и они не прочь заполучить подсказку профессионала, чью искушенность будто бы презирают. Но нет, тут что-то другое. В Риме одинокому человеку с изысканными вкусами легко попасть в беду, и я уже спрашивал себя, не впутался ли Кэразерс в какую-нибудь историю, когда за помощью меньше всего можно обратиться в посольство. Я и прежде замечал, что идеалисты порой бывают неосмотрительны в плотских развлеченьях. Подчас они ищут любви в таких местах, куда некстати заглядывает полиция. Я подавил затаенный смешок. Боги — и те смеются, когда самодовольный педант попадает в двусмысленное положение.

И вдруг Кэразерс произнес слова, которые меня поразили.

— Я страшно несчастен, — пробормотал он.

Он сказал это без всякого перехода. И явно искренне. Голос его прервался каким-то всхлипом. Чуть ли не рыданием. Не могу передать, как ошарашили меня его слова. Чувство было такое, как будто шел по улице, повернул за угол и порыв встречного ветра перехватил дыхание и едва не сбил с ног. Совершенная неожиданность. В конце концов, знакомство у нас было шапочное. Мы не друзья. Он мне очень мало приятен, я очень мало приятен ему. Я всегда считал, что в нем маловато человеческого. Непостижимо, чтобы мужчина, такой сдержанный, прекрасно воспитанный, привычный к рамкам светских приличий, ни с того ни с сего сделал подобное признание постороннему. Я по природе человек замкнутый. Как бы я ни страдал, я постыдился бы открыть кому-то свою боль. Меня передернуло. Его слабость меня возмутила. На минуту во мне вскипела ярость. Как он посмел взвалить на меня свои душевные муки? Я едва не крикнул:

— Да какое мне дело, черт возьми?

Но смолчал. Кэразерс сидел сгорбившись в глубоком кресле. Благородные черты, напоминающие мраморную статую одного из государственных деятелей викторианской поры, исказились, лицо обмякло. Казалось, он сейчас заплачет. Я колебался. Я растерялся. Когда он сказал это, кровь бросилась мне в лицо, а теперь я чувствовал, что бледнею. Он был жалок.

- От души сочувствую, — сказал я.
- Я вам все расскажу, вы позволите?
- Расскажите.

Многословие в эту минуту было неуместно. Кэразерсу, я думаю, шел пятый десяток. Он был хорошо сложен, на свой лад даже крепок, с уверенной осанкой. А сейчас казался на двадцать лет старше и словно бы усох. Мне вспомнились убитые солдаты, которых я видел во время войны, смерть делала их странно маленькими. Я смутился, отвел глаза, но почувствовал, что он ищет моего взгляда, и опять посмотрел на него.

— Вы знакомы с Бетти Уэлдон-Бернс? — спросил он.

— Встречал ее иногда в Лондоне много лет назад. Но давно уже не видел.

— Она, знаете, живет теперь на Родосе. Я сейчас оттуда. Я гостил у нее.

— Вот как?

Он замялся.

— Боюсь, вам кажется дикостью, что я так с вами говорю. Только сил моих больше нет. Надо кому-нибудь все выложить, не то я сойду с ума.

Прежде он заказал с кофе двойную порцию коньяка, а тут окликнул официанта и спросил еще. В гостиной мы были одни. На столике между нами горела небольшая лампа под абажуром. Говорил он вполголоса, ведь в любую минуту мог кто-нибудь войти. Как ни странно, тут было довольно уютно. Не сумею повторить в точности рассказ Кэразерса, невозможно было бы запомнить все, слово в слово; мне удобнее пересказать это по-своему. Иногда он не мог заставить себя что-то сказать прямо, и мне приходилось угадывать, что он имеет в виду. Иногда он чего-то не понимал, и, похоже, в каких-то отношениях я лучше разбирался в сути дела. Бетти Уэлдон-Бернс одарена тонким чувством юмора. Кэразерс же начисто его лишен. Я уловил много такого, что от него ускользнуло.

Бетти я встречал часто, но знал больше понаслышке. В свое время она привлекала всеобщее внимание в тесном лондонском мирке, и я много слышал о ней еще прежде, чем увидел. А встретил ее впервые на балу в Портленд-Плейс вскоре после войны. Тогда она была уже на вершине славы. Какую иллюстрированную газету ни раскроешь, непременно увидишь ее портрет, кругом только и разговору,

что о ее сумасбродных выходках. Ей тогда было двадцать четыре года. Ее мать умерла, отец, герцог Сент-Эрт, уже старый и не слишком богатый, большую часть года проводил в своем корнуоллском замке, а Бетти жила в Лондоне у вдовеющей тетушки. Когда грянула война, она отправилась во Францию. Ей только-только минуло восемнадцать. Она была сестрой милосердия в госпитале при военной базе, потом научилась водить машину. Она играла в труппе, которую послали в воинские части для развлечения солдат; в Англии она участвовала в живых картинах на благотворительных вечерах и во всяких благотворительных базарах и продавала флажки на Пикадилли. Каждая ее затея широко рекламировалась, и в каждой новой роли ее несчетно фотографировали. Полагаю, она и тогда ухитрялась недурно проводить время. Но когда война кончилась, Бетти разгулялась напропалую. Тогда все немножко потеряли голову. Молодежь, освобождаясь от гнета, что давил на нее долгих пять лет, пускалась в самые безрассудные затеи. И непременной их участницей была Бетти. Иногда, по разным причинам, сообщения о таких забавах попадали в газеты — и в заголовках неизменно красовалось ее имя. В ту пору начали процветать ночные клубы — Бетти там видели каждую ночь. Ее жизнь полна была лихорадочного веселья. Только самая банальная фраза тут и подходит, потому что это была сама банальность. Британская публика по странной причуде воспылала к Бетти нежными чувствами, и в любом уголке на Британских островах ее называли за просто «леди Бетти». Женщины толпились вокруг нее, увидав ее на чьей-нибудь свадьбе, а на театральных премьерах галерка аплодировала ей, словно знаменитой актрисе. Молоденькие девчонки перенимали ее манеру причесываться, фабриканты мыла и косметики платили ей за право поместить ее фотографию на своих товарах.

Скучные тугодумы, те, кто помнил прежние порядки и жалел о них, разумеется, ее осуждали. Они издевались над тем, что она всегда на виду. Говорили, что она помещана на саморекламе. Говорили, что она распушенная особа. Что она слишком много пьет. Что она слишком много курит. Признаюсь, все, что я о ней слышал, не располагало в ее пользу. Я невысокого мнения о женщинах, которые, кажется, считают войну удобным случаем поразвлечься и показать себя. Мне надоели газеты с фотографиями светских особ,

разгуливающих в Каннах или играющих в гольф в Сент-Эндрюсе. Я всегда считал «золотую молодежь» безмерно утомительной. Стороннему наблюдателю веселая жизнь кажется скучной и глупой, но неразумен моралист, который станет судить ее сурово. Сердиться на молодежь за это веселье так же нелепо, как на щенят, которые носятся бессмысленно взад-вперед, барахтаются в куче или ловят собственный хвост. Лучше спокойно стерпеть, если они разроют клумбу в саду или разобьют какую-нибудь фарфоровую вещицу. Кое-кого из них утопят, потому что они окажутся хороши не по всем статьям, а из остальных вырастут вполне добропорядочные собаки. Буйствуют они просто по молодости, от избытка жизненных сил.

Бетти отличалась как раз избытком жизненных сил. Жажда жизни горела в ней ослепительно ярким огнем. Мне, наверно, не забыть, какой я увидел ее впервые на том балу. Она была подобна менаде. Она самозабвенно отдавалась танцу, нельзя было не смеяться, на нее глядя, так явно наслаждалась она и музыкой, и движениями своего молодого тела. Каштановые волосы слегка растрепались от резких движений, а глаза синие-синие, молочно-белая кожа и румянец как лепестки роз. Она была красавица, но в ней не было холодности признанных красавиц. Она поминутно смеялась, а если не смеялась, так улыбалась, и в глазах искрилась радость жизни. Она была точно служанка с молочной фермы богов. В ней чувствовались здоровье и сила простонародья, и, однако, по независимым повадкам, по какой-то благородной прямоте во всем облике угадывалась настоящая леди. Не знаю, как верней передать тогдашнее мое ощущение — что хоть держалась она просто, безыскусственно, однако не забывала о своем положении в обществе. Мне казалось, если понадобится, она обретет все свое достоинство и станет поистине величественна. Она была мила со всеми и каждым, вероятно, потому, что, не очень об этом задумываясь, втайне полагала — все вокруг ничтожны. Мне стало понятно, отчего ее обожают фабричные девчонки в Ист-Энде и отчего сотням тысяч людей, которые видели ее только на фотографиях, она кажется задушевной подружкой. Меня ей представили, и несколько минут она со мной поговорила. Необыкновенно лестно было, что она слушает с живейшим интересом; понимаешь, что едва ли она так уж рада с тобой познакомиться, как это кажется,

и не так уж ее восхищает каждое твое слово, и все же это покоряло. Она обладала даром с легкостью преодолевать неловкость первого знакомства, не пройдет пяти минут, а уже кажется, будто знаешь ее всю жизнь. Кто-то перехватил ее у меня и увлек в танце, и она отдалась в руки партнера с тем же радостным нетерпением, какое выразилось на ее лице, когда она села рядом и заговорила со мной. Две недели спустя мы встретились в гостях, и я с удивлением убедился, что она в точности помнит, о чем мы говорили в те десять минут среди шума и танцев. Она обладала всеми достоинствами светской молодой женщины.

Я рассказал об этом случае Кэразерсу.

— Она очень неглупа, — заметил он. — Мало кто знает, какая она умница. Она писала очень хорошие стихи. Она всегда весела, всегда беззаботна, ни с кем ничуть не считается, вот люди и думают, будто у нее ветер в голове. Ничего подобного. Она умна как бес. Трудно понять, откуда у нее взялось на это время, но она очень много читала. Едва ли кто-нибудь знает ее с этой стороны так, как знаю я. По воскресеньям мы с нею часто гуляли за городом, а в Лондоне ездили в Ричмонд-парк и там тоже гуляли и разговаривали. Она любила цветы, и траву, и деревья. Интересовалась всем на свете. Очень много знала и очень здраво рассуждала. Говорить могла о чем угодно. Иногда среди дня мы гуляли, а потом встречались в ночном клубе, ей довольно было выпить бокал-другой шампанского, и она уже в ударе, она душа общества, вокруг нее кипит веселье, а я поневоле думаю, как же все изумились бы, если бы знали, какие серьезные разговоры мы с ней вели несколькими часами раньше. Поразительный контраст. Как будто в ней жили две совсем разные женщины.

Кэразерс сказал все это без улыбки. Он говорил печально, так, словно речь шла о ком-то, кого вырвала из дружеского круга безвременная смерть. Он глубоко вздохнул.

— Я был без памяти в нее влюблен. Раз шесть просил ее стать моей женой. Понимал, конечно, что надеяться нечего, ведь я был всего лишь мелким чиновником в министерстве иностранных дел, но не мог с собой совладать. Она мне отказывала, но при этом всегда была ужасно мила. И это ничуть не мешало нашей дружбе. Понимаете, она очень хорошо ко мне относилась. Я давал ей что-то, чего она не находила в других. Я всегда думал, что ко мне она привязана, как ни к кому другому. А я с ума по ней сходил.

— Полагаю, вы не единственный, — заметил я, надо ж было что-то сказать.

— Еще бы. Она получала десятки любовных писем от совершенно незнакомых людей, ей писали фермеры из Африки, рудокопы, полицейские из Канады. Кто только не предлагал ей руку и сердце! Она могла выбрать в мужа кого вздумается.

— По слухам, даже члена королевской семьи.

— Да, но она сказала, что такая жизнь не по ней. А потом вышла за Джимми Уэлдон-Бернса.

— Кажется, всех это порядком удивило?

— А вы его знали?

— Как будто нет. Может быть и встречал, но он мне не запомнился.

— Он никому не мог запомниться. Совершеннейшее ничтожество. Отец его был крупный промышленник где-то на севере. Во время войны нажил кучу денег и приобрел титул баронета. По-моему, он даже говорить правильно не умел. Джимми учился со мной в Итоне, родные очень старались сделать из него джентльмена, и после войны он постоянно вращался в лондонском свете. Всегда готов был устроить роскошный прием. Никто не обращал на него внимания. Он только платил по счету. Отчаянно скучный и нудный тип. Такой, знаете, чопорный, до тошноты вежливый; с ним всегда было неловко, чувствовалось, до чего он боится совершить какой-нибудь промах. Костюм носил так, будто только что в первый раз надел и все ему немножко жмет.

Когда Кэразерс однажды утром, ничего не подозревая, раскрыл «Таймс» и, просматривая светские новости, наткнулся на сообщение о помолвке Элизабет, единственной дочери герцога Сент-Эрта, с Джеймсом, старшим сыном сэра Джона Уэлдон-Бернса, баронета, он был ошеломлен. Он позвонил Бетти и спросил, правда ли это.

— Конечно, — ответила она.

Потрясенный Кэразерс не находил слов. А Бетти продолжала:

— Он приведет к нам сегодня завтракать своих родных, познакомит их с папой. Смеею сказать, предстоит суровое испытание. Можете пригласить меня в «Кларидж» и подкрепить мои силы коктейлем, хотите?

— В каком часу? — спросил Кэразерс.

— В час.

— Хорошо. Встречаемся там.

Он уже ждал, когда вошла Бетти. Вошла такой легкой, пружинистой походкой, будто ногам ее не терпелось понестись в танце. Она улыбалась. Глаза ее сияли, ее переполняла радость оттого, что она живет и жить в этом мире прекрасно. Едва она вошла, ее узнали, вокруг перешептывались. Кэразерсу почудилось, будто она внесла в невозможное, но несколько подавляющее великолепие гостиной «Клариджа» солнечный свет и аромат цветов. Он даже не поздоровался, сразу выпалил:

— Бетти, вы этого не сделаете. Это просто невозможно.

— Почему?

— Он ужасен.

— Не думаю. По-моему, он довольно милый.

Подошел официант и выслушал заказ. Бетти смотрела на Кэразерса, прекрасные синие глаза ее умели смотреть сразу и так весело, и так ласково.

— Он вульгарнейший выскочка, Бетти.

— Не говорите глупостей, Хэмфри. Он ничуть не хуже других. По-моему, вы просто сноб.

— Он совершенный тупица.

— Нет, он просто тихий. Не уверена, что мне нужен чересчур блестящий супруг. По-моему, он будет для меня прекрасным фоном. Он очень недурен собой и мило держится.

— О господи, Бетти!

— Не валяйте дурака, Хэмфри.

— И вы станете верить, что влюблены в него?

— Я думаю, это будет только тактично, вы не согласны?

— Чего ради вы за него выходите?

Она холодно посмотрела на Кэразерса.

— У него куча денег. И мне уже скоро двадцать шесть.

Больше говорить было не о чем. Кэразерс отвез Бетти в дом ее тетки. Свадьбу справили с большой пышностью, на тротуарах по дороге к церкви Св. Маргариты в Вестминстере толпился народ, буквально все члены королевской семьи прислали подарки, медовый месяц молодые провели на яхте, которую предоставил им на это время свекор Бетти. Кэразерс попросил направить его служить за границу и послан был в Рим (я правильно угадал, именно там он в совершенстве овладел итальянским), а затем в Стокгольм.

Здесь он получил пост советника и здесь написал первые свои рассказы.

Быть может, брак Бетти разочаровал британскую публику, которая ждала от своей любимицы большего, а быть может, просто в роли молодой жены она уже не волновала присущие этой публике романтические чувства; ясно одно: она быстро перестала привлекать всеобщее внимание. О ней почти уже не было слышно. Вскоре после свадьбы прошел слух, что она ждет ребенка, а потом — что ребенок родился мертвый. Она не перестала бывать в обществе, думаю, продолжала встречаться с друзьями, но больше не привлекала все взоры каждым своим шагом. И уж конечно ее теперь редко видели на беспорядочных сборищах, где полинявшие аристократы заводят дружбу с мелкой шушерой, трущейся около искусства, и тешат себя мыслью, будто они причастны сразу и высшему свету и высокой культуре. Говорили, что она остепенилась. Спрашивали себя, как она ладит с мужем, а раз задавшись этим вопросом, тотчас порешили, что не ладит. Вскоре стали сплетничать, будто Джимми выпивает лишнее, года через два прошел слух, что у него открылся туберкулез. Чета Уэлдон-Бернс провела две зимы в Швейцарии. А потом стало известно, что они расстались и что Бетти поселилась на Родосе. Странное выбрала место.

— Там, наверно, скука смертная, — говорили ее друзья.

Теперь мало кто ее навещал, а возвратясь, рассказывали о красоте острова и очаровании неторопливо текущей там жизни. Но, конечно, там очень одиноко. Странно, что Бетти, такая блестящая, такая деятельная, довольна этой тихой пристанью. Она купила дом. У нее на Родосе только и знакомых что несколько итальянских чиновников, в сущности, там не с кем водить знакомство; но, похоже, она вполне счастлива. Посетители просто не могли этого понять. Однако жизнь в Лондоне хлопотлива, а человеческая память коротка. Люди перестали интересоваться беглянкой. Ее забыли. А потом, месяца за два до того, как я встретился в Риме с Хэмфри Кэразерсом, «Таймс» сообщила о смерти сэра Джеймса Уэлдон-Бернса, второго баронета. Титул унаследовал его младший брат. У Бетти ведь детей не было.

Кэразерс и после замужества Бетти продолжал с ней встречаться. Всякий раз, как он наезжал в Лондон, они вместе завтракали. Она умела с легкостью возобновлять

дружеские отношения после долгой разлуки, словно никакого перерыва не было, так что при встрече они вовсе не чувствовали отчуждения. Бывало, она его спрашивала, когда же он женится.

— Вы ведь не становитесь моложе, Хэмфри. Если вы вскорости не женитесь, вы станете вроде старой девы.

— А вы сторонница брака?

Не очень великодушный вопрос, ведь он, как и все, слышал, что с мужем у нее нелады, но ее слова его уязвили.

— В общем, сторонница. Пожалуй, неудачный брак лучше, чем никакого.

— Вы прекрасно знаете, ничто на свете не заставит меня жениться, и знаете, почему.

— Ну, мой дорогой, не станете же вы уверять, будто до сих пор в меня влюблены?

— Да, влюблен.

— Вы просто дурень.

— Ну и пусть.

Бетти улыбнулась ему. Она смотрела и дразняще, и вместе ласково, от ее взгляда у него сладко щемило сердце. Забавно, он даже мог в точности показать, где щемит.

— Вы славный, Хэмфри. Сами знаете, я очень нежно к вам отношусь, но замуж я за вас не вышла бы, даже если б была свободна.

После того как она рассталась с мужем и уехала на Родос, Кэразерс с ней больше не виделся. Она ни разу не приезжала в Англию. Но они постоянно переписывались.

— Письма были удивительные, — сказал он. — Казалось, так и слышишь ее голос. Ее письма — в точности как она сама. Тут и ум и остроумие, непоследовательность и при этом редкое здравомыслие.

Он предложил на несколько дней приехать к ней на Родос, но она ответила — лучше не надо. Он понял, почему. Всем известно, что он был безумно в нее влюблен. Всем известно, что он и сейчас влюблен. Он не знал точно, при каких обстоятельствах распрощались супруги Уэлдон-Бернс. Возможно, они расстались врагами. Возможно, Бетти опасается, что его приезд бросит тень на ее доброе имя.

— Когда вышла моя первая книга, она мне написала прелестное письмо. Вы ведь знаете, эту книгу я посвятил ей. Ее удивило, что мои рассказы так хороши. Все приняли их очень мило, и она была от этого в восторге. А я, наверно,

больше всего радовался ее радости. В конце концов, я ведь не профессиональный писатель, я не придаю большого значения литературному успеху.

Болван, подумал я, и враль. Неужели он воображает, будто я не замечал, каким самодовольством преисполнен он был оттого, что его книги встречали благосклонный прием? За самодовольство я его не осуждаю, что может быть простительней, но чего ради так усердно это отрицать? А вот что он наслаждался известностью, которую принесли ему книги, главным образом из-за Бетти, это, несомненно, чистая правда. Он чего-то достиг, теперь ему было что ей предложить. Он мог принести к ее ногам не только свою любовь, но и громкое имя. Бетти уже не так молода, ей тридцать шесть; ее замужество, ее жизнь за границей многое изменили; она уже не окружена поклонниками; она утратила былой ореол всеобщего восхищения. Их больше не разделяет неодолимая пропасть. Он один столько лет оставался ей верен. Нелепо ей и дальше хоронить свою красоту, и ум, и светское обаяние на каком-то острове, затерянном в Средиземном море. И ведь она очень нежно относится к нему, Хэмфри Кэразерсу. Не может быть, чтобы ее не трогала его неизменная преданность. И жизнь, которую он теперь может ей предложить, наверняка для нее привлекательна. Он твердо решил, что снова попросит ее стать его женой. Он может освободиться в конце июля. И он написал ей, что намерен провести отпуск на греческих островах и, если она хочет его повидать, остановится на день-другой на Родосе, по слухам, итальянцы открыли там отличную гостиницу. Из деликатности он упомянул об этом словно бы между прочим. Дипломатическая служба научила его избегать прямолинейности. Никогда он по доброй воле не поставил бы себя в такое положение, из которого не мог бы тактично вывернуться. Бетти ответила ему телеграммой. Просто чудесно, что он приедет на Родос, писала она, и, конечно, он должен, по крайней мере, две недели погостить у нее, и пускай телеграфирует, с каким пароходом его встречать.

Когда корабль, на который он сел в Бриндизи, вскоре после восхода солнца вошел наконец в чистенькую, красивую гавань Родоса, Кэразерс был вне себя от волнения. В эту ночь он не сомкнул глаз, вскочил спозаранку и смотрел, как величественно выступает остров из рассветной мглы и

солнце восходит над теплым морем. Пароход стал на якорь, навстречу вышли лодки. Спустили трап. Опершись на поручни, Хэмфри смотрел, как поднимаются по трапу врач, портовые чиновники и орава посыльных из гостиницы. На борту он был единственный англичанин. Он сразу бросился в глаза. Какой-то человек, поднявшись на палубу, уверенно подошел к нему.

— Вы — мистер Кэразерс?

— Да.

Он хотел было улыбнуться и протянуть руку, но мгновенно заметил, что этот человек хотя тоже англичанин, однако не джентльмен. И, оставаясь в высшей степени учтивым, невольно стал чуть-чуть суховат. Конечно, он мне этого не сказал, но вся сценка представляется мне очень ясно, и я могу уверенно ее описать.

— Ее милость надеется, вы не в обиде, что она сама вас не встретила, пароход-то прибывает рано, а до нашего дома больше часа езды.

— Ну, разумеется. Ее милость здорова?

— Да, спасибо. Ваши вещи сложены?

— Да.

— Вы мне покажите, где они, и я велю какому-нибудь малому перенести их в лодку. С таможеней у вас хлопот не будет. Я это уладил, и сразу поедem. Вы позавтракали?

— Да, благодарю вас.

По речи чувствовалось, что это человек не очень образованный. Кэразерсу неясно было, кто он такой. Не то чтобы он держался невежливо, но в его манере была некоторая бесцеремонность. Кэразерс знал, что у Бетти здесь солидное имение; возможно, это ее управляющий. Он, видимо, очень дельный. Отдавая распоряжения носильщикам, он свободно объяснялся по-гречески, а когда сели в лодку и гребцы попросили прибавки, он сказал что-то, отчего все засмеялись, пожали плечами и спорить не стали. Багаж Кэразерса на таможене не досматривали, его спутник обменялся с чиновниками рукопожатием, и оба вышли на залитую солнцем площадь, где стоял большой желтый автомобиль.

— Вы сами поведете машину? — спросил Кэразерс.

— Я шофер ее милости.

— А, вот как. Я не знал.

Он был одет не как шофер. Белые парусиновые брюки, сандалии на босу ногу, белая теннисная рубашка без

галстука, с распахнутым воротом, и соломенная шляпа. Кэразерс нахмурился. Напрасно Бетти позволяет шоферу садиться за руль в таком виде. Правда, ему пришлось подняться до рассвета и, похоже, ехать до виллы будет жарко. Может быть, обычно он носит ливрею. Он не маленького роста, хоть и ниже Кэразерса — в том метр восемьдесят два, — но плечистый, крепко сбит и кажется коренастым. Не толстый, скорее упитанный; похоже, у него отличный аппетит и ест он в свое удовольствие. Еще молод, лет тридцать, тридцать один, но уже очень плотный и когда-нибудь станет просто тушей. А пока он отменный здоровяк. Широкое лицо покрыто темным загаром, вздернутый нос толстоват, выражение словно бы недовольное. Светлые усики. Странно, Кэразерсу показалось, будто когда-то он уже видел этого человека.

— Давно вы служите ее милости?

— Да, можно сказать, порядком.

Кэразерс нахмурился чуть сильнее. Ему не очень нравилось, как разговаривает этот шофер. И почему-то не обращается к нему «сэр». Пожалуй, Бетти дает ему слишком много воли. Очень на нее похоже — не держать прислугу в строгости. Но это большая ошибка. При случае надо будет ей намекнуть. Он встретился глазами с шофером — никаких сомнений, у того блеснула во взгляде веселая искорка. Непонятно почему. Кэразерс не представлял, что в нем может показаться забавным.

— Это, я полагаю, древний город крестоносцев, — сухо сказал он, указывая на зубчатые крепостные стены.

— Да. Ее милость вам покажет. В бойкое время у нас тут полно туристов.

Кэразерс хотел держаться приветливо. Он подумал, что можно, пожалуй, сесть рядом с шофером, а не отдельно позади, и уже собирался это предложить, но его не спросили. Шофер велел носильщикам сложить чемоданы Кэразерса на заднее сиденье и, усаживаясь за руль, сказал:

— Залезайте, поедем.

Кэразерс сел с ним рядом, и они покатали по белой дороге вдоль берега. Через несколько минут выехали из города. Ехали молча. Кэразерс держался с подчеркнутым достоинством. Он чувствовал, что шофер склонен к фамильярному обращению, и не желал дать для этого повод. Он льстил себя мыслью, что умеет заставить тех, кто ниже

его, знать свое место. И втайне язвительно усмехнулся: не придется долго ждать, чтобы этот шофер начал величать его сэром. Но утро было чудесное; белая дорога бежала среди оливковых рощ, порой проезжали мимо крестьянских домиков с белыми стенами и плоскими крышами, это напоминало Восток, будоражило воображение. А впереди ждала Бетти. Кэразерс любил, а потому настроен был доброжелательно ко всем на свете и, закуривая, решил из великодушия предложить сигарету и шоферу. В конце концов, Англия очень далеко, они на Родосе, да и времена теперь демократические. Шофер взял сигарету и остановил машину, чтобы закурить.

— А табак вы захватили? — вдруг спросил он.

— Что захватил?

У шофера вытянулось лицо.

— Ее милость посылала вам телеграмму, просила захватить два фунта «Плейера». Я для того и уладил на таможне, чтоб ваш багаж не досматривали.

— Я не получал никакой телеграммы.

— Вот черт!

— Зачем, спрашивается, ее милости понадобился трубочный табак? — надменно спросил Кэразерс.

Ему не понравилось восклицание шофера. Тот искоса глянул на него, взгляд явно был дерзкий. Сказал коротко:

— Нам тут его не достать.

Он чуть ли не со злостью отшвырнул египетскую сигарету, которую дал ему Кэразерс, и опять повел машину. Лицо у него стало угрюмое. Больше он не сказал ни слова. Кэразерс решил, что напрасно пытался быть общительным. Остаток пути он не замечал шофера. Сидел с ледяным видом, который весьма успешно напускал на себя, когда какой-нибудь ничем не замечательный англичанин обращался к нему, секретарю британского посольства, за помощью. Некоторое время ехали в гору, и вот длинная невысокая ограда, распахнутые ворота. Шофер повернул в ворота.

— Уже приехали? — воскликнул Кэразерс.

— Шестьдесят пять километров за пятьдесят семь минут. — Шофер вдруг улыбнулся, у него оказались прекрасные белые зубы. — Неплохо по такой дороге.

Он пронзительно засигналил. Кэразерс задохнулся от волнения. По неширокой дороге через оливковую рощу подъехали к низкому, расплзшемуся вширь белому дому.

В дверях стояла Бетти. Кэразерс выскочил из машины и расцеловал ее в обе щеки. С минуту он не в силах был заговорить. Но бессознательно отметил, что у входа вытянулись немолодой дворецкий в белых парусиновых брюках и два лакея в юбках — национальном греческом одеянии. Они выглядели щеголевато и живописно. Какую бы волю ни давала Бетти шоферу, в доме явно установлен был порядок, подобающий ее положению. Через прихожую — просторную, с выбеленными известкой стенами и, как он смутно заметил на ходу, красиво обставленную — Бетти провела Кэразерса в гостиную. Здесь тоже было просторно, низкий потолок, так же выбелены стены, и Кэразерс тотчас ощутил сочетание роскоши и уюта.

— Прежде всего подойдите и полюбуйтесь, какой отсюда вид, — сказала Бетти.

— Прежде всего я должен полюбоваться вами.

Она была вся в белом. Руки, лицо и шея очень загорелые; глаза, кажется, еще синее прежнего, и ослепительно белые зубы. Она замечательно выглядела. Элегантная, подтянутая. Волосы подвиты, ногти наманикюрены; а он было забеспокоился, вдруг при беззаботной жизни на этом романтическом острове она позволит себе распуститься.

— Честное слово, Бетти, вам не дашь больше восемнадцати. В чем тут секрет?

— В счастье, — улыбнулась Бетти.

Это больно кольнуло его. Он вовсе не жаждал увидеть ее очень уж счастливой. Он жаждал сам дать ей счастье. Но сейчас она непременно хотела вывести его на веранду. Туда вели из гостиной пять стеклянных дверей, и от веранды спускался к морю поросший оливами косогор. А у подножия холма виднелась крохотная бухточка, и там стоял на якоре, отражаясь в безмятежно спокойной воде, белый кораблик. За углом веранды, на холме подальше, белели домики греческого селения, а еще дальше вставал громадный серый утес, увенчанный зубчатыми стенами средневекового замка.

— Это одна из крепостей крестоносцев, — сказала Бетти. — Сегодня вечером я вас туда свезу.

Да, вид был прелести несказанной. Просто дух захватывало. Все так мирно и, однако, полно странной живости. Пробуждает не желание созерцать, но стремление действовать.

— Надеюсь, вы благополучно провезли табак.

Кэразерс вздрогнул от неожиданности.

— К сожалению, нет. Я не получил телеграмму.

— Но ведь я телеграфировала и в посольство, и в «Эксельсиор».

— А я останавливался в «Плазе».

— Какая досада! Альберт будет взбешен.

— Кто это Альберт?

— Он вас привез. Все другие сорта ему не нравятся, а «Плейер» здесь не достать.

— А, шофер. — Кэразерс показал на поблескивающий внизу белый кораблик. — Это и есть яхта, про которую я слышан?

— Да.

Бетти купила когда-то большой каик, велела поставить на нем добавочный мотор и принарядить. И странствовала на нем по греческим островам. К северу добиралась до самых Афин, к югу — до Александрии.

— Если у вас найдется время, мы вас покатаем, — сказала Бетти. — Раз уж вы здесь, вам надо повидать Кос.

— А кто управляет яхтой?

— У меня, конечно, есть гребцы, но яхту водит чаще всего Альберт. Он большой мастер по части моторов и всякой механики.

Кэразерс сам не знал, отчего ему стало как-то не по себе, когда она опять заговорила о шофере. Может быть, она чересчур полагается на этого Альберта. Большая ошибка — давать слуге слишком много воли.

— Знаете, мне почему-то кажется, что я уже где-то видел вашего шофера. Только не понимаю, где и когда.

Бетти весело улыбнулась, глаза блеснули так ей свойственным радостным оживлением, которое придавало выражению лица очаровательную непосредственность.

— Вы должны бы его помнить. Он был вторым лакеем в доме тети Луизы. Наверно, он тысячу раз отворял вам парадную дверь.

Тетя Луиза была та самая тетушка, у которой Бетти жила до замужества.

— Так вот он кто! Наверно, я его видел, но не замечал. А как он здесь очутился?

— Приехал из нашего английского имения. Когда я вышла замуж, он захотел служить у меня, и я его взяла. Одно

время он был у Джимми камердинером, а потом я отправила его обучаться механике, он без ума от автомобилей, и, в конце концов, сделала его своим шофером. Не знаю, как бы я теперь без него обходилась.

— А вам не кажется, что это ошибка — слишком зависеть от слуги?

— Не знаю. Никогда об этом не задумывалась.

Бетти показала Кэразерсу приготовленные для него комнаты, он переоделся, и они пошли на берег. Там их ждала лодка, они переправились к яхте и с борта искупались. Вода была теплая, потом они лежали на палубе, позагорали. Яхта была просторная, удобная, роскошная. Бетти всю ее показала гостю, в машинном отделении они увидели Альберта. В замасленном комбинезоне он хлопотал у моторов, руки черные, лицо перепачкано смазкой.

— Что случилось, Альберт? — спросила Бетти.

Он встал, почтительно вытянулся перед ней.

— Ничего худого, миледи. Просто гляжу, что да как.

— У Альберта только две страсти в жизни. Одна — автомобиль, другая — эта яхта. Правда, Альберт?

Она весело улыбнулась шоферу, и его довольно невыразительное лицо просияло. Блеснули прекрасные белые зубы.

— Чистая правда, миледи.

— Знаете, он даже ночует на яхте. Мы устроили для него на корме очень миленькую каюту.

Кэразерс легко свыкся со здешней жизнью. Бетти купила это имение у некоего турецкого паши, сосланного на Родос султаном Абдул-Хамидом, и пристроила к живописному дому еще одно крыло. А окружающую дом оливковую рощу превратила в причудливый сад. Вырастила розмарин, лаванду и златоцветник, выписала из Англии ракитник, насадила розы, которыми славится Родос. Весной, сказала она Кэразерсу, здесь сплошным ковром цветут анемоны. Она показывала свои владения, делилась планами и задуманными нововведениями, а ему все время было не по себе.

— Вы говорите так, будто собираетесь остаться здесь на всю жизнь, — сказал он.

— Очень возможно, — с улыбкой ответила Бетти.

— Что за вздор! В ваши-то годы!

— Мне уже под сорок, милый друг, — беспечно ответила она.

К удовольствию Кэразерса, оказалось, что повар у Бетти отменный, и приятно было по всем правилам приличия обедать с нею в великолепной столовой, мебель итальянской работы радовала глаз, за столом прислуживали греки — величественный дворецкий и два красивых, живописно одетых лакея. Дом обставлен был с большим вкусом; в комнатах ничего лишнего, но каждая вещь превосходна. Бетти жила на широкую ногу. На завтра после приезда Кэразерса к обеду явился губернатор острова с несколькими подчиненными, и тут она показала свое хозяйство во всем блеске. Губернатор вступил в дом между двумя рядами ливрейных лакеев, блистательных в своих накрахмаленных юбках, расшитых куртках и бархатных фесках. Чуть ли не почетный караул. Кэразерсу эта пышность была по вкусу. Обед проходил очень весело. Бетти свободно болтала по-итальянски, Кэразерс говорил безупречно. Молодые офицеры из свиты губернатора выглядели в своей форме заправскими франтами. Они были необычайно внимательны к Бетти, она отвечала им дружеской непринужденностью. И слегка поддразнивала. После обеда завели граммофон, и она по очереди с ними танцевала.

Когда гости отбыли, Кэразерс спросил:

— Видно, все они в вас безумно влюблены?

— Не знаю. Иногда мне намекают, что неплохо бы заключить союз, постоянный или не очень, но ничуть не обижаются, когда я с благодарностью отвергаю предложение.

Все это несерьезно. Молодые поклонники слишком зеленые, а те, что постарше, толстые и лысые. Какие там чувства они ни питали к Бетти, Кэразерс ни минуты не верил, что она поставит себя в дурацкое положение ради какого-нибудь неродовитого итальянца. Но дня через два случилось нечто странное. Он был у себя, переодевался к обеду; за дверью в коридоре послышался мужской голос, Кэразерс не разобрал, что было сказано и на каком языке, но вдруг раздался смех Бетти. Она чудесно смеялась, звонко, весело, как девочка, так радостно, беззаботно, так заразительно. Но с кем же это она? Разговаривая со слугами, так не смеются. Как-то очень интимно звучал этот смех. Может показаться странным, что Кэразерс разобрал все это во взрыве смеха,

но не следует забывать, что он человек весьма проницательный. Его рассказы отличаются как раз такими штришками.

Через несколько минут они встретились на веранде, и, смешивая коктейль, он попробовал удовлетворить свое любопытство.

— Над чем это вы сейчас так хохотали? У вас кто-то был?

Бетти посмотрела на него с неподдельным удивлением.

— Нет.

— Я думал, вас навестил кто-то из ваших молодых итальянских офицеров.

— Нет.

Конечно, годы не прошли для Бетти бесследно. Она была красива, но красотой зрелой женщины. Она всегда держалась уверенно, теперь в ней появилось спокойствие; безмятежность стала такой же неотъемлемой частью ее красоты, как синие глаза и чистый лоб. Казалось, она живет в мире с целым светом; рядом с нею можно было отдохнуть душой, как отдыхаешь, лежа среди олив и глядя на море цвета темного вина. Хотя она по-прежнему была весела и остроумна, теперь очевидна стала и присущая ей серьезность, о которой когда-то никто, кроме Кэразерса, не подозревал. Никто уже не мог бы упрекнуть ее в ветрености; невозможно было не заметить, что это натура утонченная. Вернее даже сказать, благородная. Черта редкая в современной женщине, и Кэразерс подумал, что это какой-то атавизм; Бетти ему напоминала знатных дам восемнадцатого века. Она всегда обладала чувством слова, в юности писала изящные, музыкальные стихи, и когда она сказала, что взялась за солидный исторический роман, Кэразерс принял это не столько с удивлением, сколько с любопытством. Она собирала материалы о пребывании на Родосе воинов Св. Иоанна. Тут столько романтических приключений. Бетти повезла Кэразерса в город, показала ему величавые крепостные стены, вдвоем они бродили среди гордых, суровых зданий. Прошли по безмолвной улице Крестоносцев, где прелестные каменные фасады и надменные гербы внятно говорили об ушедшем в прошлое рыцарстве. Тут Бетти его удивила. Оказалось, она купила один из старых домов и заботливо восстановила его былой величественный облик. Войдя в тесный внутренний дворик с высеченной в камне лестницей, посетитель попадал в далекое средневековье. В крохотном

садики, обнесенном каменной оградой, росли розы и среди них смоковница. Дом был невелик, таинствен и тих. Рыцари в старину достаточно долго соприкасались с Востоком, чтобы перенять восточные понятия об уединенности.

— Когда мне надоедает на вилле, я на два-три дня приезжаю сюда и устраиваю себе праздник. Иногда приятно отдохнуть от многолюдья.

— Но не одна же вы здесь остаетесь?

— В сущности, одна.

Они вошли в маленькую, строго обставленную гостиную.

— А это что такое? — с улыбкой спросил Кэразерс, увидев на столе спортивное приложение к «Таймс».

— А, это газета Альберта. Наверно, он оставил ее здесь, когда поехал вас встречать. Он каждую неделю получает ее и еще «Всемирный вестник». Тем самым он в курсе всего, что делается на белом свете.

Она снисходительно улыбнулась. Рядом с гостиной находилась спальня, почти пустая, только с широчайшей кроватью.

— Дом раньше принадлежал англичанину, отчасти поэтому я его и купила. Это некий сэр Джайлз Керн, а один из моих предков был женат на Мэри Керн, сэр Джайлз с нею в родстве. Их род из Корнуолла.

Обнаружив, что работать дальше над историческим сочинением не удастся, не овладев латынью настолько, чтобы легко читать средневековые материалы, Бетти принялась изучать этот классический язык. Она дала себе труд лишь познакомиться с основами грамматики, а затем, положив рядом перевод, стала читать интересующих ее авторов. Это прекрасный способ изучать язык, и я часто удивлялся, почему его не применяют в школе. Он избавляет от необходимости то и дело рыться в словарях и кропотливо подыскивать нужное значение. Спустя девять месяцев Бетти читала по-латыни так же свободно, как большинство из нас читает по-французски. Кэразерса немножко позабавило, что прелестная, блестящая женщина так серьезно относится к своей работе, и, однако, он был тронут; в ту минуту ему хотелось схватить ее в объятия и расцеловать не как женщину, но как смышленного не по годам ребенка, чьим умом вдруг поневоле восхитишься. Но потом он призадумался над услышанным. Он и сам, конечно, очень умен, иначе не достиг бы высокого положения в министерстве иностран-

ных дел, и глупо было бы утверждать, будто две его книги наделали столько шуму, не обладая никакими достоинствами; если я выставил его отчасти дураком, так просто потому, что не люблю его, а если высмеял его рассказы, так потому только, что рассказы в этом духе, на мой взгляд, глуповаты. У него хватало такта и проницательности. Он убежден был, что покорить Бетти можно лишь одним способом. Она вошла в какую-то колею и счастлива, ее планы на будущее ясны и определены; но как раз потому, что ее жизнь на Родосе такая налаженная, такая упорядоченная и приятная, привычку к ней можно побороть. Вся надежда на то, чтобы пробудить в Бетти беспокойство, таящееся в душе каждого англичанина. И Кэразерс стал говорить с нею об Англии, Лондоне, общих знакомых, о художниках, писателях и музыкантах, с которыми познакомился благодаря своим литературным успехам. Говорил о сборищах светской богемы в Челси и об опере, о том, как *en bande*¹ ездили в Париж на костюмированный бал, а в Берлин на театральные премьеры. Он воскрешал в ее воображении мир яркий, беззаботный, изменчивый, богатый пищей для ума, всеми дарами культуры и цивилизации. Пусть она почувствует, что здесь, в глуши, ее засасывает, как в болоте. Жизнь мчится вперед, от новизны к новизне, а она застряла на месте. Наш век необыкновенный, волнующий, а она все на свете упускает. Разумеется, он не сказал этого напрямик; пусть сама делает выводы. Он говорил увлекательно и вдохновенно, у него была отличная память на хорошие анекдоты, он был забавен и весел. Я знаю, в моем описании Хэмфри Кэразерс вовсе не выглядит умным человеком, а леди Бетти блистательной женщиной. Придется читателю поверить мне на слово. Все признавали, что Кэразерс интересный собеседник, а это уже наполовину обеспечивает победу; от него неизменно ждали остроумия и клятвенно уверяли, что каждое его слово чудо как забавно. Разумеется, это — истинно светское остроумие. Тут требуются слушатели, которые понимают любой намек и обладают тем же совсем особым чувством юмора. На Флит-стрит найдется десятка два газетчиков, за которыми не угнаться самому прославленному светскому остряку: быть блестящими и остроумными изо дня в день их обязывает профессия. Мало

¹ Всей компанией (*фр.*).

кого из светских красавиц, чьими фотографиями пестрят газеты, взяли бы в мюзик-холл петь и плясать за три фунта в неделю. К любителям надо иметь снисхождение. Кэразерс знал, что Бетти приятно в его обществе. Они много смеялись. Дни летели незаметно.

— Мне будет ужасно не хватать вас, когда вы уедете, — с обычным прямодушием сказала она. — Просто праздник, что вы у меня погостили. Вы прелесть, Хэмфри.

— А вы только сейчас это заметили?

Он мысленно похвалил себя. Тактика выбрана правильно. Даже интересно, как удался его нехитрый план. Точно колдовство. Пусть профаны насмеются над дипломатами, но, без сомнения, дипломатическая служба учит обращаться с неподатливыми людьми. Теперь только надо выбрать удобную минуту. Он чувствовал, что никогда Бетти не относилась к нему нежнее. Надо выждать до самого отъезда. Бетти так живо все чувствует. Ей будет жаль с ним расставаться. Без него Родос покажется очень унылым. С кем ей поговорить, когда он уедет? После обеда они обычно сидят на веранде и любуются морем, в котором отражаются звезды; воздух теплый, благоуханный, в нем смутно улавливаешь и аромат ее духов; вот в такой час, накануне отъезда, он и попросит ее стать его женой. Всем существом он чувствовал, что она согласится.

Однажды утром, когда он пробыл на Родосе немногим больше недели, Кэразерс поднялся на второй этаж и в коридоре встретил Бетти.

— Вы мне еще не показывали свою комнату, Бетти, — сказал он.

— Разве? Что ж, зайдите посмотрите. Она довольно славная.

Бетти повернулась, и он вошел за нею следом. Ее комната, расположенная над гостиной, была почти так же просторна. Обставлена она была в итальянском стиле и, как это принято по новой моде, походила скорее не на спальню, а на небольшую гостиную. По стенам прекрасные полотна Панини¹, два красивых шкафчика. Кровать венецианская, чудесно раскрашенная.

¹ Панини Джованни-Паоло — итальянский живописец середины XVIII в.

— Внушительных размеров ложе для вдовствующей дамы, — пошутил Кэразерс.

— Громадина, да? Но прелесть. Я не могла ее не купить. Она стояла безумных денег.

Взгляд Кэразерса упал на столик подле кровати. На столике лежали две-три книги, пачка сигарет и на пепельнице вересковая трубка. Странно! Для чего Бетти возле постели курительная трубка?

— Посмотрите-ка на этот cassone¹. Правда, чудесная роспись? Я чуть не закричала от радости, когда на него наткнулась.

— Наверно, он тоже стоил безумных денег.

— Даже не решаюсь вам сказать, сколько я за него заплатила.

Когда они выходили из комнаты, Кэразерс опять бросил беглый взгляд на столик. Трубка исчезла.

Странно, зачем Бетти в спальне трубка, уж наверно сама она трубку не курит, а если бы курила, не стала бы это скрывать, но, конечно, тут может найтись десяток разумных объяснений. Возможно, это приготовленный кому-то подарок — одному из знакомых итальянцев или даже Альберту. Кэразерс не разглядел, обкуренная трубка или новая, а может быть, это образчик, который она попросит его взять с собой в Англию, чтобы он прислал еще такие же. С минуту Кэразерс недоумевал и, пожалуй, немножко забавлялся этим пустяковым случаем, а потом выбросил его из головы. В тот день они думали поехать на дальнюю прогулку, взяв с собой поесть, вести машину Бетти собиралась сама. Перед отъездом Кэразерса предполагалось двухдневное плавание, чтобы он повидал Патмос и Кос, и Альберт готовил яхту, возился с моторами. День выдался на славу. Бетти с Кэразерсом побывали на развалинах старинного замка, взобрались на гору, поросшую златоцветником, гиацинтами и нарциссами, и вернулись смертельно усталые. Почти сразу после ужина они разошлись, и Кэразерс лег в постель. Почитав немного, он погасил свет. Но сон не шел. Под москитной сеткой было жарко. Он ворочался с боку на бок. Потом подумал, что хорошо бы пойти к бухточке у подножия холма и искупаться. До нее каких-нибудь три минуты ходу. Он надел сандалии, захватил полотенце. Светила

¹ Ларь (ит.).

полная луна, и за ветвями олив блестела на море лунная дорожка. Но, оказалось, он не один догадался, что в такую лучезарную ночь приятно искупаться: он уже хотел выйти из-под олив на берег, как вдруг слышал чье-то присутствие. И вполголоса выбранился — досадно, кто-то из слуг Бетти купается, не очень-то удобно им помешать. Деревья подступали чуть не к самой воде, он нерешительно помедлил в их тени. И вздрогнул, неожиданно услышав слова:

— Где мое полотенце?

Говорили по-английски. Из воды вышла женщина, оставилась у песчаной кромки. Навстречу из темноты вышел обнаженный мужчина, только полотенце обернуто вокруг бедер. Эта женщина — Бетти. Совершенно нагая. Мужчина накинул на нее купальный халат и принялся растирать ее. Она оперлась на него, вытянула сначала одну ногу, потом другую, и он, поддерживая, обнял ее за плечи. Это был Альберт.

Кэразерс повернулся и кинулся бежать в гору. Бежал вслепую, спотыкался. Один раз чуть не упал. Задышался, точно раненый зверь. У себя в комнате бросился на кровать, сжал кулаки, и сухие мучительные всхлипывания, раздиравшие ему грудь, наконец вылились слезами. Как видно, разразилась самая настоящая истерика. Все стало ясно ему, все предстало с той ужасающей яркостью, с какой в бурную ночь молния обнажает изуродованную безжизненную пустошь, отвратительно, безжалостно ясно. По тому, как Альберт вытирал ее и как она оперлась на его плечо, нельзя не понять — это не страсть, а давняя, привычная близость, и та трубка на ночном столике — знак мерзостного супружества. Так человек курит трубку, читая перед сном в постели. Спортивное приложение к «Таймс»! Вот для чего ей тот домик на улице Крестоносцев — чтобы они могли проводить там два-три дня по-семейному, наедине. Глядя на них, подумаешь, что они давным-давно женаты. Хэмфри спросил себя, сколько могла продолжаться эта гнусность, и внезапно понял: многие годы. Десять, двенадцать, четырнадцать лет: это началось, когда молодой лакей только-только приехал в Лондон, он был тогда совсем мальчишкой, и, несомненно, не он сделал первый шаг; все те годы, когда она была кумиром британской публики, когда все обожали ее и она могла выйти замуж за кого пожелает, она была любовницей второго лакея в доме своей тетки.

Она взяла его с собой, когда вышла замуж. Почему она решилась на тот странный брак? И раньше времени родился мертвый ребенок. Конечно, поэтому она и вышла за Уэлдон-Бернса, потому что должна была родить ребенка от Альберта. Бесстыжая, бесстыжая! А потом, когда Джимми заболел, она заставила его взять Альберта в камердинеры. Что знал Джимми, что он подозревал? Он пил, с этого у него и начался туберкулез; но отчего он начал пить? Быть может, чтобы заглушить подозрение, столь гнусное, что он даже думать о нем был не в силах. И ради того, чтоб жить с Альбертом, она оставила Джимми, ради того, чтоб жить с Альбертом, поселилась на Родосе. С Альбертом, у которого обломанные ногти и руки не отмываются от машинного масла, корявым, коренастым, который красным лицом и неуклюжей силой напоминает мясника, с Альбертом, который даже и не молод уже, и толстеет, необразован, вульгарен, говорит, как настоящий простолюдин. С Альбертом, с Альбертом — как она могла?

Кэразерс поднялся, выпил воды. Бросился в кресло. О постели даже думать было невыносимо. Он курил сигарету за сигаретой. Утро он встретил совсем разбитый. За всю ночь он ни на минуту не уснул. Ему принесли завтрак; он только выпил кофе, кусок не шел в горло. Вскоре раздался быстрый стук в дверь.

— Пойдемте к морю, Хэмфри, искупаемся?

От этого веселого голоса его бросило в жар. Он собрался с духом и открыл дверь.

— Пожалуй, сегодня не пойду. Мне нездоровится.

Бетти посмотрела на него.

— Дорогой мой, у вас совсем больной вид! Что это с вами?

— Не знаю. Наверно, вчера солнцем напекло.

Голос его звучал безжизненно, глаза были трагические. Она всмотрелась внимательней. Помолчала минуту. И, кажется, побледнела. Он знает! Потом во взгляде ее мелькнула смешливая искорка, все это показалось ей забавным.

— Бедненький, подите лягте, я пришлю вам аспирин. Может быть, ко второму завтраку вам станет лучше.

Он лежал у себя в полутемной комнате с завешенными окнами. Чего бы он ни отдал, лишь бы убраться отсюда и никогда больше не видеть Бетти, но невозможно, пароход, которым он должен вернуться в Бриндизи, прибывает на

Родос почти через неделю. Он тут пленник. А завтра предстоит плавание к островам. На яхте от Бетти совсем уж никуда не денешься, им придется с утра до ночи мозолить глаза друг другу. Немыслимо. Он сгорает со стыда. А ей ничуть не стыдно. В ту минуту, когда она поняла, что секрет раскрыт, она улыбнулась. С нее станется все ему рассказать. Невыносимо. Это уж слишком. В конце концов, не может она быть уверена, что он знает, в лучшем случае она только могла это заподозрить; если вести себя как ни в чем не бывало, если во время завтрака и в оставшиеся дни держаться по-прежнему весело и оживленно, она подумает, что ошиблась. Довольно и того, что он все знает, выслушать вдобавок всю мерзкую историю от нее самой свыше его сил, не желает он такого унижения. Но за завтраком первые слова Бетти были:

— Ужасная досада, Альберт говорит, что-то не в порядке с мотором, нам не удастся выйти на яхте. На паруса я в это время года не надеюсь. Штиль может тянуться неделю.

Она говорила самым легким тоном, и Кэразерс ответил так же небрежно:

— Что ж, признаться, в сущности, я не слишком огорчен. Здесь очень мило, и меня, в сущности, не так уж привлекало это плавание.

Он сказал, что аспирин помог и он чувствует себя лучше; греку-дворецкому и двум лакеям в юбочках должно было казаться, будто гость и хозяйка беседуют так же оживленно, как всегда. В тот вечер к обеду явился британский консул, назавтра — какие-то итальянские офицеры. Кэразерс считал дни, считал часы. Ох, скорей бы ступить на палубу корабля, избавиться от этого ужаса, терзающего ежеминутно, с утра до ночи! Он безмерно устал. Но Бетти держалась так уверенно, что порой он спрашивал себя, подлинно ли она догадалась, что ему известна ее тайна. Правду она ему сказала, будто яхта не в порядке, или, как однажды пришло ему в голову, это был только предлог? И просто ли совпадение, что все время являются какие-то посетители и он с Бетти теперь совсем не бывает только вдвоем. Беда, когда ты слишком тактичен, невозможно понять, естественно ведут себя окружающие или просто у них тоже развито чувство такта. Бетти такая спокойная, держится так непринужденно, так явно счастлива, глядя на нее, невозможно поверить в мерзкую истину. Но ведь он все видел собствен-

ными глазами. А что дальше? Что ее ждет впереди? Подумать страшно. Рано или поздно правда выйдет наружу. Подумать только, Бетти — всеобщее посмеище, отверженная, во власти грубого мужлана, стареющая, утратившая свою красоту; и ведь этот шофер на пять лет ее моложе. В один прекрасный день он заведет любовницу, пожалуй, одну из ее же горничных, с которой ему будет легко и просто, как никогда не было со знатной дамой, и что ей тогда делать? К чему она должна приготовиться, с каким унижением мириться! Возможно, он станет обращаться с ней жестоко. Возможно, станет бить ее. Ох, Бетти, Бетти.

Кэразерс ломал руки. И вдруг его осенила мысль, пронзившая мучительным восторгом; он отогнал ее, но она вернулась; он не мог от нее отделаться. Надо спасти Бетти, слишком сильно и слишком долго он ее любил, чтобы дать ей погибнуть, погибнуть вот так, как гибнет она; его захлестнула страстная жажда самопожертвования. Наперекор всему, хотя любовь его умерла и он испытывает к Бетти чуть ли не физическое отвращение, он на ней женится. Он невесело засмеялся. Во что превратится его жизнь? Но ничего не поделаешь. О себе думать нечего. Это единственный выход. Его охватил необычайный восторг и в то же время смирение, он ощутил благоговейный трепет при мысли о высотах, которых способен достичь божественный дух, заключенный в человеке.

Пароход отчаливал в субботу, и в четверг, когда уехали после обеда гости, Кэразерс сказал:

— Надеюсь, завтра вечером мы будем одни.

— Вообще-то на завтра я пригласила одну египетскую семью, они проводят здесь лето. Она — сестра бывшего хедива¹, очень умная женщина. Я уверена, вам она понравится.

— Но ведь завтра мой последний вечер. Разве мы не можем побыть одни?

Бетти кинула на него быстрый взгляд. Ее глаза смеялись, но он смотрел серьезно.

— Как хотите. Могу условиться с ними на другой день.

— Да, пожалуйста.

Назавтра Кэразерсу предстояло выехать спозаранку, вещи его были уже уложены. Бетти сказала, что ему незачем

¹ Хедив — титул вице-короля Египта, наместника турецкого султана в период зависимости Египта от Турции (1867—1914).

переодеваться к столу, но он возразил, что предпочитает одеться, как подобает. В последний раз они сидели за обедом друг против друга. Столовая с приглушенным абажурами освещением была пустынна и чопорна, но в огромные распахнутые окна вливался летний вечер и придавал всему какую-то ненавязчивую роскошь. Словно это особая трапезная в монастыре, куда удалилась вдовствующая королева, дабы провести остаток дней своих во благочестии, но без чрезмерной строгости. Кофе пили на веранде. Кэразерс выпил рюмочку-другую ликера. Он изрядно нервничал.

— Бетти, дорогая, я должен вам кое-что сказать, — начал он.

— Вот как? На вашем месте я ничего не стала бы говорить.

Она сказала это мягко. Она сохраняла полное спокойствие, зорко следила за ним, но в синих глазах ее поблескивала усмешка.

— Я не могу иначе.

Она пожала плечами и промолчала. Кэразерс почувствовал, что голос его немного дрожит, и обозлился на себя.

— Вы знаете, что многие годы я был безумно в вас влюблен. Даже не знаю, сколько раз я просил вас стать моей женой. Но, в конце концов, все на свете меняется, и люди тоже меняются, не так ли? Мы с вами уже немолоды. Теперь вы согласитесь выйти за меня, Бетти?

Она улыбнулась ему своей бесконечно обаятельной улыбкой — такой доброй, такой открытой и все еще, все еще такой поразительно невинной.

— Вы прелесть, Хэмфри. Ужасно мило с вашей стороны опять сделать мне предложение. Я очень, очень тронута. Но, знаете, я верна своим привычкам, я привыкла вам отказывать и не могу изменить этой привычке.

— Почему?

Это прозвучало у него воинственно, почти зловеще, так что Бетти вскинула на него глаза. Она вдруг побледнела от гнева, но тотчас овладела собой.

— Потому что не хочу, — с улыбкой сказала она.

— Вы намерены выйти за кого-то еще?

— Я? Нет. Конечно, нет.

Она надменно выпрямилась, словно на миг в ней разыгралась гордость, унаследованная от предков, и вдруг рассме-

ялась. Но только она одна могла бы сказать, позабавило ее чем-то предложение Хэмфри или насмешила какая-то мимолетная мысль.

— Бетти, умоляю вас, будьте моей женой.

— Ни за что.

— Вам нельзя дальше так жить.

Он произнес это со всей силой душевной муки, лицо его страдальчески исказилось. Бетти ласково улыбнулась.

— Почему нет? Не будьте ослом, Хэмфри. Я вас обожаю, но все-таки вы старая баба.

— Бетти. Бетти.

Неужели она не понимает, что он хочет этого ради нее? Не любовь заставила его заговорить, но истинно человеческая жалость и стыд. Она встала.

— Не будьте таким надоедой, Хэмфри. Идите-ка спать, вам ведь надо подняться ни свет ни заря. Утром мы не увидимся. Прощайте, всех вам благ. Просто чудесно, что вы меня навестили.

Она расцеловала его в обе щеки.

Назавтра, когда Кэразерс спозаранку вышел из дому — в восемь ему надо было быть уже на пароходе, — его ждал Альберт с машиной. На нем были парусиновые брюки, трикотажная нижняя рубашка и берет, какие носят баски. Чемоданы лежали на заднем сиденье. Кэразерс повернулся к дворецкому.

— Положите мои вещи рядом с шофером, — сказал он. — Я сяду сзади.

Альберт промолчал. Кэразерс сел, и машина тронулась. Когда приехали в порт, к ним подбежали носильщики. Альберт вышел из машины. Кэразерс посмотрел на него с высоты своего роста.

— Вам незачем провожать меня на борт. Я прекрасно справлюсь сам. Вот ваши чаевые.

И он протянул бумажку в пять фунтов. Альберт густо, покраснел. Застигнутый врасплох, он бы рад был отказаться, да не знал, как это сделать, и сказала многолетняя привычка к подобию страсти. Может быть, он и сам не знал, как у него вырвалось:

— Благодарю вас, сэр.

Кэразерс сухо кивнул ему и пошел прочь. Он заставил любовника Бетти сказать ему «сэр». Как будто ударил ее с

размаху по смеющимся губам и швырнул в лицо позорное слово. И это наполнило его горьким удовлетворением.

Он пожал плечами, и я видел — даже эта маленькая победа теперь его не утешает. Некоторое время мы молчали. Мне сказать было нечего. Потом Кэразерс снова заговорил:

— Понимаю, вам очень странно, что я вам все это рассказал. Пусть так. Знаете, мне уже все безразлично. Чувство такое, как будто в мире не осталось никакой порядочности. Бог свидетель, я не ревную. Нельзя ревновать не любя, а любовь моя умерла. Она была убита мгновенно. После стольких лет. Я не могу без ужаса думать об этой женщине. Я погибаю, я безмерно несчастен от одной мысли о том, как низко она пала.

Что ж, говорилось же, будто не ревность заставила Отелло убить Дездемону, а страдание от того, что та, кого он считал ангельски непорочной, оказалась нечистой и недостойной. Благородное сердце его разбилось оттого, что добродетель способна пасть.

— Я думал, ей нет равных. Я так ею восхищался. Я восхищался ее мужеством и прямоотой, ее умом и любовью к красоте. А она просто притворщица и всегда была притворщицей.

— Ну, не знаю, верно ли это. По-вашему, все мы такие цельные натуры? Знаете, что мне пришло в голову? Пожалуй, этот Альберт для нее — только орудие, так сказать, дань прозе жизни, почва под ногами, позволяющая душе воспарить в эмпирии. Возможно, как раз потому, что он настолько ниже ее, с ним она чувствует себя свободной, как никогда не была бы свободна с человеком своего класса. Дух человеческий причудлив, всего выше он возносится после того, как плоть вываливается в грязь.

— Не говорите чепуху, — в сердцах возразил Кэразерс.

— По-моему, это не чепуха. Может быть, я не очень удачно выразился, но мысль вполне здравая.

— Много мне от этого пользы. Я сломлен, разбит. Я конченный человек.

— Что за вздор. Возьмите и напишите об этом рассказ.

— Я?

— Вы же знаете, какое огромное преимущество у писателя над прочими людьми. Когда он отчего-нибудь глубоко

несчастен и терзается и мучается, он может все выложить на бумагу, удивительно, какое это дает облегчение и утешение.

— Это было бы чудовишно. Бетти была для меня всем на свете. Не могу я поступить так по-хамски.

Он немного помолчал, я видел — он раздумывает. Я видел, наперекор ужасу, в который привел его мой совет, он с минуту рассматривал все происшедшее с точки зрения писателя. Потом покачал головой.

— Не ради нее, ради себя. В конце концов, есть же у меня чувство собственного достоинства. И потом, тут нет материала для рассказа.

КРАЙ СВЕТА

Джордж Мун сидел в своей конторе. Работу он закончил, но все медлил, не хватало мужества отправиться в клуб. Близился час завтрака, и у бара будет толочься народ. Двое-трое непременно предложат выпить с ними. А его страшит их сердечность. Иных он знает уже тридцать лет. Они наскучили ему, и, в общем, не любит он их, но теперь, когда он видит их в последний раз, у него сжимается сердце. Нынче вечером они устраивают в его честь прощальный обед. Придут все и поднесут ему серебряный чайный сервиз, который совсем ни к чему. Будут произносить речи, превозносить его деятельность в колонии, уверять, будто им жаль, что он их покидает, и желать ему еще долгие годы наслаждаться вполне заслуженным отдыхом. Он ответит как подобает. Он приготовил речь, в которой сделал обзор перемен, что произошли с тех пор, как зеленым юнцом он впервые сошел на землю Сингапура. Поблагодарит их за верную службу во все эти годы, когда он имел честь быть резидентом в Тимбанг-Белуде, и нарисует картину блестящего будущего, которое ожидает всю страну и в особенности Тимбанг-Белуд. Напомнит, что застал Тимбанг-Белуд захудалым поселком с несколькими китайскими лавчонками, а покидает процветающий город с мощеными улицами, по которым бегут трамваи, с каменными домами, с богатым китайским кварталом и великолепным зданием клуба, которое уступает только сингапурскому. Они споют «Наш славный малый» и «За дружбу старую...». Потом примутся танцевать, а из тех, кто помоложе, многие напьются. Малайцы уже устраивали в его честь прощальный вечер, а китайцы задали всем пирам пир. Завтра на станцию придет

множество народу, и все окончательно с ним распрошаются. Интересно, что станут о нем говорить. Малайцы и китайцы станут говорить, что он был строг, но признают, что и справедлив. Управляющие плантациями всегда его не любили. Считали, что с ним трудно иметь дело — он не позволял жестоко обращаться с рабочими. Подчиненные его боялись. Он не давал им спуска. Он не выносил, когда работали неумело и спустя рукава. Себя он не щадил и не видел оснований щадить других. Они считали его бесчеловечным. Он и правда был не из обаятельных. Даже в клубе не забывал о своем чине, не смеялся, услышав неприличный анекдот, ни над кем не подшучивал и не допускал, чтобы подшучивали над ним. Он сознавал, что его появление омрачает непринужденную атмосферу клуба, а сесть с ним за бридж (он любил играть каждый вечер от шести до восьми) считалось не столько удовольствием, сколько честью. Когда за каким-нибудь столом молодые люди слишком шумно выражали свое хорошее настроение, он ловил брошенные на него взгляды, а иной раз кто-нибудь из мужчин постарше подходил к расшумевшимся членам клуба и вполголоса советовал им вести себя потише. У Джорджа Муна вырвался легкий вздох. По службе он преуспел, таких молодых резидентов еще не бывало, и за особые заслуги его наградили орденами Св. Михаила и Св. Георгия 3-й степени, но что он преуспел как личность, пожалуй, не скажешь. Его уважали, уважали за ум, работоспособность и надежность, но слишком он был проницателен, чтобы хоть на миг вообразить, будто пользуется любовью. Никто о нем не пожалеет. Через несколько месяцев о нем и думать забудут.

Он мрачно улыбнулся. Он не был сентиментален. Власть его радовала, и он испытывал суровое удовлетворение от того, что держал всех в надлежащей форме. Сознание, что его скорее не любили, а боялись, несколько его не огорчало. Свою жизнь он представлял как некую задачу из области высшей математики, для разработки которой требовалось напрячь все силы, но от результата практически ничего не зависело — интересна была сама сложность и красота решения. Как и подобает отвлеченной красоте, она никуда не вела. Будущее ничего ему не сулило. Ему исполнилось пятьдесят пять, он был полон энергии, и ему казалось, ум его сохраняет прежнюю остроту, а знание людей и дел огромны; однако теперь только и оставалось, что поселиться

в провинциальном городишке в Англии или в недорогой части Ривьеры и играть в бридж с пожилыми дамами и в гольф с отставными полковниками. Во время отпуска он встречал прежнее свое начальство и заметил, с каким трудом оно приспособлялось к изменившимся обстоятельствам. Все предвкушали, как, выйдя в отставку, обретут свободу, и представляли, как восхитительно станут проводить досуг. Пустые мечты. Не очень-то приятно оказаться в тени после того, как занимал высокое положение, поселиться в тесном домишке после того, как жил в просторном особняке, обходиться двумя служанками, когда привык пользоваться услугами полудюжины китайцев; а главное, неприятно понимать, что ни для кого гроша ломаного не стоишь, тогда как прежде льстило сознание, что похвала, услышанная из твоих уст, приведет в восторг человека любого звания, а недовольная мина — унизит.

Джордж Мун протянул руку и взял из сигаретницы, что стояла на столе, сигарету. При этом заметил, как много морщин на тыльной стороне ладони и как усохли тонкие пальцы. Он с отвращением нахмурился. Рука была старческая. В кабинете висело расписное китайское зеркало, купленное давным-давно, увозить его с собой Мун не собирался. Он встал, посмотрелся в зеркало. Увидел тонкое желтое лицо, морщинистое, с поджатыми губами, седые волосы, усталые, невеселые глаза. Был он довольно высокий, очень худой, узкоплечий, держался прямо. Он всегда играл в поло и даже теперь мог обыграть в теннис большинство молодых игроков. Когда с ним разговаривали, он пристально смотрел на собеседника, слушал внимательно, но выражение его лица не менялось, и невозможно было сказать, как он воспринимает услышанное. Вероятно, он не понимал, в какое замешательство это всех приводит. Улыбался он редко.

Вошел дежурный, подал визитную карточку. Джордж Мун бросил на нее взгляд и распорядился впустить посетителя. Потом снова сел в кресло и холодно смотрел на дверь, из которой должен был появиться посетитель. Это был Том Саффари, интересно, что ему надо. Скорее всего что-то связанное с вечерним торжеством. Занятно, что именно Том Саффари возглавляет комиссию, устраивающую обед, ведь в последний год отношения у них были не самые сердечные. Саффари — управляющий плантацией, и один из надсмотрщиков-тамилов подал на него жалобу

за оскорбление действием. Надсмотрщик вел себя весьма вызывающе, и Саффари его вздул. Джордж Мун понимал, искушение было слишком велико, но он всегда решительно выступал против управляющих, которые самочинно вершили суд и расправу, и когда разбиралось дело Саффари, приговорил его к штрафу. Но после окончания суда, желая показать Саффари, что не питает к нему недобрых чувств, пригласил его отобедать, однако Саффари, возмущенный, как он полагал, незаслуженным публичным оскорблением, резко отказался и с тех пор не желал поддерживать с резидентом никаких отношений, кроме официальных. Он отвечал Джорджу Муну, когда тот мимоходом, но с твердым намерением не выказывать обиду, заговаривал с ним, а вот ни в бридж, ни в теннис с резидентом не играл. Он был управляющим самой крупной в округе каучуковой плантации, и Джорджу Муну пришло на ум: уж не потому ли он устраивает обед и собирает для этого по подписке деньги, что полагает, будто этого требует его положение, а может быть, теперь, когда резидент уезжает, сей благородный жест приятен его сентиментальной натуре. Со свойственным Джорджу Муну холодным юмором он не без удовольствия думал, что Тому Саффари придется произносить вечером главную застольную речь, распространяться о превосходных свойствах отбывающего резидента и от имени всей колонии выражать сожаление по поводу столь невосполнимой потери.

Тома Саффари впустили. Резидент поднялся с кресла, пожал вошедшему руку и скупой улыбнулся.

— Здравствуйте. Присаживайтесь. Угодно сигарету?

— Здравствуйте.

Саффари сел в предложенное ему кресло, и резидент ждал, когда он заговорит о том, что его сюда привело. Ему казалось, посетитель смущен. Был он высокий, крупный, плотный человек, лицо румяное, с двойным подбородком, волосы кудрявые, черные, глаза голубые. Мужчина что надо, силен как бык, но сразу видно, слишком себе потакает. Много пьет, ест с отменным аппетитом. Однако человек деловой и работающий. Плантацией управляет умело. В колонии пользуется популярностью. По общему признанию славный малый. Щедр и попавшему в беду готов протянуть руку помощи. Резиденту пришло на ум, что Саффари явился перед обедом, чтобы уладить их ссору. К чувству,

вызвавшему у Саффари это желание, резидент отнесся не без добродушного презрения. У него у самого врагов не было — слишком мало значили для него отдельные личности, чтобы он стал их ненавидеть, но уж если бы они были, он бы ненавидел их до своего последнего часа, подумалось ему.

— Мой приход, наверно, удивил вас, и вы, должно быть, очень заняты, ведь сегодня вы здесь последний день, и все такое.

Джордж Мун не ответил, и Саффари продолжал:

— У меня к вам довольно щекотливый разговор. Дело в том, что мы с женой не сможем быть вечером на обеде, и я подумал, после нашей с вами прошлогодней размолвки будет правильно зайти и сказать, что она тут ни при чем. По-моему, вы обошлись со мной тогда чересчур сурово, штраф — бог с ним, а вот такого унижения я не заслужил, ну да что было, то прошло. Вы уезжаете, и я не хочу, чтобы вы думали, будто я все еще на вас в обиде.

— Я так и понял, когда услышал, что вы главный устроитель проводов, — любезно отозвался резидент. — Жаль, что не сможете быть вечером.

— Мне тоже жаль. Это из-за смерти Нобби Кларка. — Саффари запнулся было, потом продолжал: — Мы с женой очень расстроились.

— Очень печально. Он ведь, кажется, был ваш большой друг?

— Мой самый большой друг в колонии.

В глазах Тома Саффари заблестели слезы. До чего же толстяки эмоциональны, подумал Джордж Мун.

— Вполне понимаю, что в этом случае вам не может быть по душе нынешнее вечернее сборище, оно ведь, похоже, обещает быть довольно шумным, — мягко сказал он. — Что-нибудь об обстоятельствах вам известно?

— Нет, ничего, только то, что было в газете.

— Казалось, он был вполне здоров, когда уезжал.

— Насколько мне известно, он ни разу в жизни ни дня не хворал.

— Должно быть, сердце. Сколько ему было?

— Мы однолетки. Тридцать восемь.

— В таком возрасте умирать рано.

Нобби Кларк был управляющим плантацией, расположенной по соседству с землями Тома Саффари. Муну он

нравился. Был он довольно уродлив: рыжий, скуластый, с запавшими висками, бесцветными ввалившимися глазами и большим ртом. Но он славно улыбался и нрав имел легкий. Занятный был, притом мастер рассказать какую-нибудь интересную историю. Беспечный, всегда в хорошем расположении духа, он нравился людям. Хорошо играл в разные игры. Был не дурак. Джордж Мун сказал бы, что он личность довольно бесцветная. За время службы он много таких знал. Они появлялись и исчезали. Две недели назад Нобби Кларк отправился в Англию в отпуск, и резидент знал, что в день его отъезда Саффари дал в его честь обед, пригласил множество гостей. Нобби Кларк был женат, и жена, разумеется, поехала с ним.

— Мне жаль ее, — сказал Джордж Мун. — Для нее это, должно быть, ужасный удар. Его, кажется, похоронили в море?

— Да. Так написано в газете.

Новость дошла до Тимбанга накануне вечером. Сингапурские газеты доставили в шесть вечера, как раз когда люди отправились в клуб, и многие не принимались за бридж или бильярд, пока не просмотрят их. Вдруг один из присутствующих воскликнул:

— Подумать только. Вы видели? Нобби умер.

— Это какой же Нобби? Неужто Нобби Кларк?

В колонке общих новостей был абзац из трех строчек:

«Господа Стар, Моусли и К° получили каблогранму, сообщившую, что по дороге на родину внезапно скончался и похоронен в море Хэролд Кларк из Тимбанга-Бату».

Один из мужчин подошел к говорящему, взял у него из рук газету и недоверчиво прочел сообщение своими глазами. Другой уставился в газету через его плечо. Те, что просматривали в эти минуты газету, нашли нужную страницу и прочли эти три бесстрастные строчки.

— Господи! — воскликнул один.

— Это ж надо, такой несчастный жребий, — сказал другой.

— Он когда уезжал, был совершенно здоров.

Дрожь смятения пронзила этих крепких, веселых, беспечных людей, и на миг каждый вспомнил, что и он смертен. Собирались и еще члены клуба, и когда входили, взбодренные мыслью о предстоящей им в шесть выпивке и предвкушением встречи с приятелями, их встречали печальной вестью.

— Подумать только, вы слышали? Бедняга Нобби Кларк умер.

— Не может быть? Какой ужас!

— Вот ведь горькая участь.

— Да уж.

— А до чего человек хороший.

— Из самых лучших.

— Я как увидел это в газете, — случайно наткнулся, меня прямо страх взял.

— Еще бы.

Кто-то с газетой в руках прошел в бильярдную, чтобы сообщить печальное известие. Там играли решающую партию на кубок принца Уэльского. Августейшая персона преподнесла его клубу по случаю своего посещения Тимбанга-Белуда. Том Саффари играл против человека по имени Дуглас, а резидент, который проиграл предыдущую партию, сидел с десятком других членов клуба и наблюдал за игрой. Маркер монотонно объявлял счет. Вошедший обождая, пока Том Саффари разбил фигуру, и тогда сказал ему:

— Послушайте, Том, умер Нобби.

— Нобби? Неправда.

Тот протянул ему газету. Его окружили трое или четверо, хотели прочесть сообщение вместе с ним.

— Боже милостивый!

На миг воцарилось испуганное молчание. Газету передавали из рук в руки. Странное дело, никто не хотел верить известию, пока сам не убеждался, что это написано черным по белому.

— Вот ведь жалость.

— Как это ужасно для его жены, — сказал Том Саффари. — Она ведь ждет ребенка. А моя-то бедняжка как расстроится.

— Он уехал всего две недели назад.

— И был тогда совершенно здоров.

— В расцвете сил.

Толстое румяное лицо Саффари сразу как-то обмякло, он подошел к столу, рывком схватил стакан, отхлебнул.

— Послушайте, Том, — сказал его противник. — Хотите отменить партию?

— Да нет, пожалуй, — взгляд Саффари скользил по доске, он увидел, что идет вперед. — Нет, давайте доведем до конца. А потом пойду домой, скажу Вайолет.

Дуглас ударил и получил четырнадцать очков. У Тома Саффари был легкий шар, но он его не забил. Дуглас опять сделал удар, но безрезультатно, а Саффари опять не положил в лузу, хотя обычно при таком расположении непременно получал очко. Он чуть нахмурился. Он знал, что друзья поставили на него, и изрядно, и ему совсем не хотелось их подвести. Дуглас получил двадцать два очка. Саффари осушил стакан и усилием воли, что было совершенно очевидно сочувствующим наблюдателям, взял себя в руки и сосредоточился на игре. Он сделал неловкий удар по восемнадцатому, ему чуть не удалась длинная Дженни, и друзья наградили его аплодисментами. Сейчас он был в себе уверен и начал быстро набирать очки. Дуглас тоже был в форме, и теперь все взволнованно следили за поединком. Те несколько минут, пока мысли Саффари были далеко, дали возможность его противнику сравнять счет, и теперь была равная игра.

— Даю фору двести тридцать пять, — выкрикнул малец на своем странном, ломаном английском. — Против двухсот двадцати восьми. Играем.

Дуглас получил восемь очков, а следующим ударом Саффари довел свой счет до двухсот сорока. Он перекрыл противнику удар двумя шарами. Дуглас промахнулся и дал Саффари следующий ход.

— Даю фору двести сорок три, — крикнул маркер. — Против двухсот сорока одного.

Саффари сделал три красивых удара от красного шара и закончил игру.

— Победа что надо! — закричали наблюдатели.

— Поздравляю, старик, — сказал Дуглас.

— Поди-ка, — позвал Саффари слугу, — спроси джентльменов, что они будут пить. Бедняга Нобби.

Он тяжело вздохнул. Принесли напитки, и Саффари подписал счет. Потом сказал, что будет двигаться. За бильярдный стол уже встали двое других.

— Молодцом себя повел, — сказал кто-то, когда дверь за Саффари закрылась.

— Да, выдержки ему не занимать.

— Я сперва подумал, его игра пошла прахом.

— Сумел взять себя в руки. Он знал, на него многие поставили. И не хотел их подвести.

— Такое узнать — это ведь не шутка.

— Они были близкие друзья. Интересно, отчего он умер.

— Что да, то да.

Вспоминая эту сцену, когда, услышав о смерти друга, Том Саффари держался с таким самообладанием, Джордж Мун недоумевал, что сейчас это явно дается ему так тяжело. Быть может, как случается на войне, раненый сознает, что ранен, лишь спустя некоторое время, вот и Саффари ощутил, какой тяжкий удар для него смерть Нобби Кларка, лишь когда имел время подумать. Однако резиденту казалось, что предоставленный самому себе Саффари, скорее всего, вел бы себя как обычно, искал утешения в компании приятелей, но его жена из традиционного чувства приличия настояла, что не годится им идти на праздничный обед, постигшее их горе требует на время избегать праздничных сборищ. Вайолет Саффари была славная женщина, небольшого росточка, года на четыре моложе мужа; не сказать, чтоб хорошенькая, но смотреть на нее было приятно, и одевалась она всегда к лицу; приветливая, похожая на настоящую леди и скромная. В ту пору, когда резидент был в дружеских отношениях с четой Саффари, он время от времени у них обедал. Он находил ее милой, но не очень интересной. Разговаривали они лишь о предметах самых заурядных. В последнее время он редко ее видел. Если им случалось встретиться, она дружески ему улыбалась, а он иногда говорил ей несколько любезных слов. Но всякий раз ему стоило труда узнать ее, не спутать с полудюжиной других дам из их колонии, с которыми положение обязывало его поддерживать отношения.

Похоже, Саффари сказал все, ради чего пришел, и резидент недоумевал, почему он все сидит и не уходит. Саффари странно обмяк на стуле, и ощущение было такое, будто позвоночник перестал его поддерживать и грузные тела обвисли и придавили его к стулу. Он тупо уставился на письменный стол, что отделял его от резидента. Глубокий вздох вырвался у него.

— Постарайтесь не принимать это так близко к сердцу, Саффари, — сказал Джордж Мун. — Вы ведь знаете, как ненадежна жизнь на Востоке. Приходится мириться с потерей тех, кого любишь.

Взгляд Саффари медленно оторвался от стола и устремился прямо в глаза Джорджа Муна. Не мигая, они уставились друг на друга. Джорджу Муну нравилось, когда люди

смотрели ему в глаза. Возможно, ему казалось, что, когда он вот так приковывает их взгляд, они в его власти. И тут из глаз Саффари выкатились две слезы и медленно поползли по щекам. Вид у Саффари был непривычно недоуменный. Что-то его перевернуло. Смерть? Нет. Что-то, что казалось ему хуже смерти. Он был испуган. Выражение лица у него было такое, что на ум сразу приходил несправедливо побитый пес.

— Не в том дело, — запинаясь, пробормотал он. — С этим я бы справился.

Джордж Мун промолчал. Холодно, спокойно не отпуская взгляд этого крупного, сильного человека и ждал. И с удовольствием сознавал, что происходящее несколько его не волнует. Саффари с тревогой посмотрел на бумаги на столе.

— Боюсь, я злоупотребляю вашим временем.

— Нет, я сейчас ничем не занят.

Саффари взглянул в окно. Его чуть передернуло. Казалось, он в нерешительности.

— Не знаю, можно ли спросить у вас совета, — произнес он наконец.

— Разумеется, — ответил резидент, и тень улыбки промелькнула на его лице. — На то я сюда и посажен, это одна из моих обязанностей.

— У меня дело сугубо личное.

— Можете быть совершенно спокойны. Что бы вы ни сказали, все останется между нами.

— Нет, в этом я не сомневаюсь, но дело деликатное, говорить о нем не больно ловко, и видеть вас после этого разговора мне было бы трудно. Но вы завтра уезжаете, и это все упрощает, если вы понимаете, что я имею в виду.

— Вполне понимаю.

Саффари заговорил негромко, угрюмо, словно стыдясь, и говорил с трудом, как человек, не привыкший к длинным речам. Он возвращался к уже сказанному, повторялся. Путался. Начиная длинную, искусно составленную фразу и вдруг обрывал ее — не знал, как закончить. Джордж Мун слушал молча, лицо — ничего не выражающая маска, курил и отрывал взгляд от Саффари, только чтобы взять из стоящей перед ним сигаретницы сигарету и зажечь от той, которую уже докуривал. Он слушал, а перед его мысленным взором всплывал однообразный круг жизни этого

управляющего плантацией. То был словно беззвучный аккомпанемент, когда в четкий ритм мелодии неожиданно вплетаются намеренные диссонансы.

При том, по какой низкой цене шел сейчас каучук, нельзя было пренебречь малейшей экономией, и хотя плантация у Тома Саффари была большая, ему приходилось заниматься делами, для которых в лучшие времена у него имелся помощник. Он вставал затемно и шел к месту сбора всех кули. Едва рассветет и можно разобрать в списке имена рабочих, он выкликал их одного за другим и иных бранил за то, как они отзывались, и по группам рассылал на работы. Одних — устанавливать трубы для подсочки, других — полоть, а остальных — прочищать канавы. Потом он возвращался домой, плотно завтракал, закуривал трубку и опять уходил — поглядеть, что делается в поселке, где живут кули. Повсюду ползала малышня, резвились ребятишки. На обочинах дорожек тамильские женщины готовили все тот же неизменный рис. Их черная кожа лоснится, тела у всех задрапированы в тускло-красный хлопок, в волосах — золотые украшения. Иные хороши собой, отличная осанка, тонкие черты лица и маленькие изящные руки; но все равно они ему отвратительны. Из поселка он отправлялся в свой обычный обход. Высокие деревья, рядами высаженные на его плантации, вызвали дивное ощущение ухоженного леса из немецкой сказки. Земля была густо усыпана засохшими листьями. Тома Саффари сопровождал надсмотрщик-тамилец — длинные черные волосы его на затылке собраны в пучок, он босой, в саронге и баджу, с броским кольцом на пальце. Саффари шагал тяжело, перепрыгивал через канавы, что встречались на пути, весь покрывался потом. Он осматривал деревья, хотел убедиться, что подсочка сделана правильно, а когда подходил к работающему кули, смотрел, как сделан срез, и если находил его чересчур глубоким, разругав работника, лишал его половины дневного заработка. Если какое-либо дерево уже не надо было подсачивать, он велел надсмотрщику убрать чашу и проволоку, которой она была привязана к стволу. Полольщики работали группами.

В полдень Саффари возвращался к себе в бунгало и пил пиво — льда в доме не водилось, и потому пиво было тепловатое. Он сбрасывал шорты цвета хаки, фланелевую рубашку, тяжелые башмаки и носки — все, в чем обходил план-

тацию, — брился и мылся. За второй завтрак садился в саронге и баджу. Полчасика отдыхал, а потом шел в свою контору и работал там до пяти; выпивал чаю и шел в клуб. Часов в восемь возвращался к себе в бунгало, обедал, а полчаса спустя ложился спать.

Но вчера вечером он вернулся домой, как только кончил партию на бильярде. В тот день Вайолет не пошла с ним в клуб. Пока Кларки не отправились в Англию, они все вместе встречались в клубе каждый вечер, а теперь она стала ходить реже. Говорила, что нет там никого, с кем было бы особенно интересно, а все тамошние разговоры она уже слышала и сыта ими по горло. В бридж она не играет, а слоняться по клубу, пока играет он, скучно. Она сказала Тому, чтоб не беспокоился, что оставляет ее одну. Дома полно дел.

Увидав, как рано он возвратился, она решила, что он пришел рассказать о своей победе. От такого вот небольшого триумфа он, точно мальчишка, бывал исполнен самодовольства. Она знала, добрый и простодушный, он радуется своей победе не только за себя, но и потому, что думает, будто и ей доставил удовольствие. Очень мило с его стороны, что он поспешил домой, чтобы, не откладывая, сообщить о своем выигрыше.

— Ну, как прошел матч? — спросила она, как только он ввалился в гостиную.

— Я победил.

— Легко?

— Ну, не так легко, как хотел бы. Я его чуть опередил, а потом застрял, у меня руки опустились, а ты ведь знаешь, какой он, Дуглас, ничем особым не поразит, зато упорный, и он меня нагнал. Тогда я себе сказал — если не взбодрюсь, мне крышка. И вот мне один раз повезло, другой, а там... короче говоря, я обогнал его на семь очков.

— Замечательно! Теперь, должно быть, выиграешь кубок, да?

— Ну, мне осталось еще три партии. Если выйду в полуфинал, чем черт не шутит.

Вайолет улыбнулась. Ведь Том надеялся, что ей очень интересно, и она очень старалась показать ему, что так оно и есть.

— А ты почему тогда расстроился?

Лицо у него потемнело.

— Я потому сразу и пришел. Я бы отменил игру, только подумал, не годится подводить всех, кто на меня поставил. Не знаю, как и сказать тебе, Вайолет.

Она бросила на него вопрошающий взгляд.

— Почему, в чем дело? Неужто дурные вести?

— Хуже некуда. Нобби умер.

Долгую минуту она не отрывала от него взгляда, и ее лицо, ее милое, дружелюбное личико осунулось от ужаса. Поначалу казалось, будто она никак не может понять услышанное.

— Ты что хочешь сказать? — воскликнула она.

— Это напечатано в газете. Он умер на корабле. Его похоронили в море.

Она вдруг пронзительно вскрикнула и рухнула на пол. Она была в глубоком обмороке.

— Вайолет, — закричал он, опустился на колени, приподнял ее голову. — Эй, кто там, ко мне!

Слуга, испуганный потрясенным голосом хозяина, вбежал в комнату, и Саффари велел принести бренди. С трудом он влил немного меж сомкнутых губ жены. Вайолет открыла глаза, но едва вспомнила, что произошло, они потемнели от муки. Лицо скривилось, будто у ребенка, готового разразиться слезами. Саффари взял ее на руки и положил на софу. Она отвернулась.

— Ох, Том, это неправда. Этого не может быть.

— Боюсь, что правда.

— Нет, нет, нет.

Она разразилась слезами. Судорожно рыдала. Слушать эти рыдания было нестерпимо. Саффари не знал, что делать. Он опустился на колени подле жены, пытался ее успокоить. Он хотел ее обнять, но она неожиданно его оттолкнула.

— Не тронь меня! — крикнула она, да так резко, что он испугался.

Он поднялся с колен.

— Постарайся не слишком расстраиваться, дорогая, — сказал он. — Я знаю, это страшный удар. Нобби был один из самых лучших.

Она зарылась лицом в подушки и горько плакала. Тому Саффари было мучительно видеть, как ее сотрясают неужимые рыдания. Она была вне себя. Он ласково положил руку ей на плечо.

— Милая, не надо так убиваться. Тебе это вредно.

Она стряхнула его руку.

— Оставь меня, Бога ради, в покое! — воскликнула она. — О, Хэл, Хэл. — Саффари никогда не слышал, чтобы она так называла его умершего друга. Конечно, его имя Хэролд, но все звали его Нобби. — Как мне быть? — причитала Вайолет. — Я этого не вынесу. Не вынесу я.

Теперь Тома Саффари взяла досада. Такое горе — это уж чересчур. Обычно Вайолет куда сдержанней. Видно, все этот проклятый климат. Женщины тут делаются нервные, легко теряют равновесие, Вайолет уже четыре года не была дома. Теперь она больше не прятала лицо. Лежала на самом краю софы, того гляди упадет, от нестерпимого горя рот раскрыт, из глаз, что уставились в одну точку, катятся слезы. Совсем стала как безумная.

— Выпей еще немного бренди, — сказал он. — Постарайся взять себя в руки, дорогая. Сколько ни убивайся, Нобби все равно уже ничем не помочь.

Вайолет вдруг вскочила и оттолкнула его. И с ненавистью на него посмотрела.

— Уйди, Том. Не нужно мне твое сочувствие. Я хочу побыть одна.

Она метнулась к креслу, опустилась в него. Откинула голову, несчастное побелевшее лицо исказила мучительная гримаса.

— Ох, как несправедливо, — простонала она. — Что теперь будет со мной? О Господи, лучше б мне умереть.

— Вайолет.

В его голосе прорвалась боль. Он тоже был на грани слез. Она нетерпеливо топнула ногой.

— Уходи. Я же сказала, уходи.

Он вздрогнул. Уставился на нее, и вдруг у него перехватило дыхание. По его массивному телу прошла дрожь. Он шагнул к ней, остановился, но все не спускал глаз с ее белого, исполненного мукой лица; он так на нее смотрел, будто что-то в ее лице его ошеломило. Потом опустил голову и, ни слова не сказав, вышел из комнаты. Прошел в маленькую гостиную в глубине дома и тяжело опустился на стул. Сидел и думал. Скоро прозвучал гонг, призывающий к ужину. А он ведь не искупался. Кинул взгляд на руки. Нет, не до мытья ему. И медленно направился в столовую. Велел слуге пойти сказать Вайолет, что ужин готов. Слуга вернулся и объявил, что она ничего не желает.

— Ну ладно. Тогда подавай мне, — сказал Саффари.

Он налил Вайолет тарелку супу, положил тост, а когда подали рыбу, положил кусок на тарелку для нее и велел слуге ей отнести. Но тот мигом все принес обратно.

— Мэм говорит, она ничего не хочет, — сказал он.

Саффари ужинал один. Ел по привычке, вяло, одно знакомое блюдо за другим. Выпил бутылку пива. Когда кончил, слуга принес ему чашку кофе, и он закурил черуту. Он сидел не шевелясь, пока не кончил. Он думал. Наконец встал и вернулся на большую веранду, где они всегда сидели. Вайолет, по-прежнему съездившись, полулежала в кресле. Глаза ее были закрыты, но, услышав его шаги, она их открыла. Он взял легкий стул и сел напротив нее.

— Кем был тебе Нобби, Вайолет? — спросил он.

Она чуть вздрогнула. Отвела глаза, но ничего не сказала.

— Я никак не возьму в толк, почему ты пришла в такое отчаяние, услышав о его смерти.

— Это ужасный удар.

— Конечно. Но как-то странно, чтобы из-за смерти просто друга вот так совсем потерять себя.

— Не понимаю, что ты говоришь, — сказала Вайолет.

Она с трудом произносила слова, он видел, губы ее дрожат.

— Я никогда не слышал, чтобы ты называла его Хэл. Даже его жена звала его Нобби.

Вайолет ничего не ответила. Глаза ее, полные горя, уставились в пустоту.

— Посмотри на меня, Вайолет.

Она слегка повернула голову и равнодушно взглянула на него.

— Он был твоим любовником?

Она закрыла глаза, и из них покатились слезы. Рот был странно искривлен.

— Тебе совсем нечего сказать?

Она помотала головой.

— Ты должна мне ответить, Вайолет.

— Я не в силах сейчас с тобой разговаривать, — просто-на-ла она. — Как можно быть таким бессердечным?

— Боюсь, я не очень способен сейчас тебе сочувствовать. Нам надо поговорить начистоту теперь же. Дать тебе воды?

— Ничего я не хочу.
— Тогда ответь на мой вопрос.
— Ты не имеешь права спрашивать об этом. Это оскорбительно.

— Ты что ж, хочешь, чтоб я поверил, будто такая женщина, как ты, услышав о смерти знакомого, способна упасть в обморок, а придя в себя, станет так вот заливаться слезами? В такое отчаяние не впадают даже из-за смерти своего единственного ребенка. Когда мы узнали о смерти твоей матери, ты, конечно, плакала, и я знаю, тебе было очень горько, но ты искала утешения у меня и говорила, ты не знаешь, что бы стала делать без меня.

— Но сегодня это такая ужасная неожиданность.

— Смерть твоей матери тоже была неожиданной.

— Ну конечно же, я очень любила Нобби.

— Как именно любила? Так любила, что, услышав о его смерти, сама не ведала, что говоришь? Почему ты сказала, что это несправедливо? Почему сказала: «Что теперь будет со мной?»

Вайолет глубоко вздохнула. Повернула голову в одну сторону, в другую, точно овца, которая старается не угодить в руки мясника.

— Не думай, будто я совсем уж дурак, Вайолет. Говорю тебе, не может быть, чтобы ты была так потрясена, если б между вами ничего не было.

— Ну хорошо, если ты так думаешь, зачем же тогда мучишь меня вопросами?

— Дорогая моя, что толку недоговаривать. Так дело не пойдет. Как по-твоему, что чувствую я?

При этих словах она посмотрела на него. До этой минуты она совсем о нем не думала. Слишком была поглощена своим несчастьем, не до него ей было.

— Я так устала, — со вздохом сказала она.

Он наклонился к ней, схватил за руку.

— Говори! — потребовал он.

— Ты делаешь мне больно.

— А как насчет меня? Думаешь, мне не больно? Как ты можешь заставлять меня так страдать?

Он отпустил ее руку, вскочил. Прошел в другой конец веранды, потом обратно. Казалось, при этом в нем вдруг вспыхнула ярость. Он схватил Вайолет за плечи, рывком поставил на ноги. Стал ее трясти.

— Если не скажешь мне правду, я тебя убью, — кричал он.

— Хорошо бы, — сказала она.

— Он был твоим любовником?

— Да.

— Шлюха ты.

Одной рукой все удерживая ее, чтобы она не могла ускользнуть, Саффари другой рукой размахнулся и несколько раз подряд с силой ударил ее по щеке. Ее бросило в дрожь, но она не уклонилась, не вскрикнула. А он все бил и бил. И вдруг почувствовал, что она вся как-то отяжелела, отпустил ее, и она без чувств рухнула на пол. Страх объял его. Он наклонился, тронул ее, позвал по имени. Она не шевельнулась. Он поднял ее, снова усадил в кресло, из которого так недавно вырвал. Бренди, что слуга принес, когда она в первый раз потеряла сознание, был еще в комнате, и Саффари взял его, попытался силой влить ей в рот. Она поперхнулась, бренди разлился по подбородку, по шее. На бледном лице одна щека наливалась лиловато-синим от ударов его тяжелой руки. Короткий вздох вырвался у нее, и она открыла глаза. Поддерживая ее голову, он опять поднес стакан к ее губам, и она чуть пригубила спиртного. Саффари смотрел на нее тревожно и покаянно.

— Прости меня, Вайолет. Я этого не хотел. Мне отчаянно стыдно. Никогда не думал, что могу пасть так низко, ударить женщину.

Она была сейчас невероятно слаба, и лицо болело, однако губы тронула улыбка. Бедняга Том. Это так на него похоже. Он так чувствовал. А как возмущен он был бы, если б его спросили, почему мужчине нельзя ударить женщину. Но Саффари, увидев этот проблеск улыбки, счел его доказательством ее неукротимого мужества. Господи, какая же она отважная, эта маленькая женщина. Да, жертвой ее не назовешь.

— Дай мне сигарету, — сказала Вайолет.

Саффари достал из портсигара сигарету и сунул ей в рот. Раза три безуспешно щелкнул зажигалкой. Ничего не получалось.

— Не лучше ли взять спичку? — сказала Вайолет.

На миг она забыла о надрывающем душу горе, и ей стало даже забавно. Саффари взял со стола коробок и под-

нес к ее сигарете зажженную спичку. Вайолет затянулась, и ей сразу же стало легче.

— Просто не могу тебе сказать, как мне стыдно, Вайолет, — вымолвил Саффари. — Я сам себе противен, не знаю, что на меня нашло.

— Да ничего страшного. Все вполне естественно. Почему бы тебе не выпить? Тебе полегчает.

Ни слова не говоря, сгорбленный, словно его придавила тяжкая ноша, он выпил бренди с содовой. Потом, все так же молча, сел. Вайолет смотрела, как поднимаются голубые колечки дыма.

— Как ты поступишь? — спросила она наконец.

Он устало, безнадежно пожал плечами.

— Поговорим об этом завтра. Сегодня тебе это не под силу. Как докуришь сигарету, тебе лучше лечь в постель.

— Ты уже достаточно знаешь, лучше узнать все.

— Не сейчас, Вайолет.

— Нет, сейчас.

Она заговорила. Саффари слышал слова, но едва ли их понимал. Ощущение у него было такое, как у человека, который любовно построил себе дом и думал прожить в нем всю жизнь, а потом вдруг видит, как, непонятно почему, являются мастера по сносу домов и кирками и тяжелыми молотами начинают крушить комнату за комнатой, пока не превращают прекрасное жилище в груды обломков. Самое ужасное, что все это дело рук Нобби Кларка. Они с Нобби приехали в эти места на одном корабле и поначалу работали на одной плантации. Молодого управляющего, у которого служили, они прозвали холуем, и на улицах Сингапура он выделялся фетровой шляпой и пальто цвета хаки с подвернутыми на запястьях рукавами. Зеленые юнцы, они слонялись по улицам, во все глаза смотрели по сторонам, китайцы навязывали им всякий хлам, привезенный из Бирмингема, они его покупали, думая, что это восточные диковинки, и посылали домой; сидели в гостининых дешевых отелях, без конца пили виски с содовой и, проведя вечер в кино, нанимали рикш и катили на ночь в китайский квартал. Том и Нобби были неразлучны. Том — крупный, могучий, простодушный, честный, трудолюбивый; Нобби постоянно отпускал шуточки, а Том хохотал. Первым женился Том. Он познакомился с Вайолет, когда поехал в отпуск. Дочь врача, убитого на войне, она была гувернанткой

в семье, живущей там же, где отец Тома. Том влюбился в нее оттого, что она совсем одна на свете, и его нежное сердце сжималось при мысли о том, какая ее ожидает бесцветная жизнь. А Нобби женился оттого, что женился Том и без друга он чувствовал себя совсем потерянным, женился на девушке, которая приехала на Восток провести зиму у родственников. В ту пору Инид Кларк была очень хорошенькая блондиночка с круглым личиком, она еще и сейчас хорошенькая, хотя ее кожа, прежде чистая и свежая, поблекла; но уж очень у нее маленький, незначительный, безвольный подбородок и в профиле что-то овечье. У нее красивые соломенные волосы, совсем прямые — в тамошней влажной жаре волнистость не удерживалась — и зеленовато-голубые глаза. Хотя было ей всего двадцать шесть, она уже выглядела усталой. Через год после свадьбы она родила, но ребенок прожил всего два года. Как раз тогда Том Саффари сумел устроить Нобби управляющим на соседней плантации. Мужчинам приятно было возобновить былую дружбу, а их жены, которые до тех пор едва знали друг друга, скоро подружились. Они обменивались выкройками, одалживали друг другу слуг и посуду, когда собирали гостей. Все четверо виделись каждый день. Всюду ходили вместе. Том Саффари считал, что это замечательно.

Странное дело, но три года Вайолет и Нобби Кларк состояли в таких вот дружеских отношениях и только потом влюбились друг в друга. Ни он, ни она не подозревали о приближающейся любви. Ни он, ни она не подозревали, что удовольствие, которое они испытывают в обществе друг друга, свидетельствует не просто о случайной дружбе двух людей, оказавшихся вместе волею обстоятельств. Бывая вместе, они испытывали не какую-то особую радость, но безмятежное чувство покоя. Если в какой-нибудь день они не виделись, обоим делалось как-то скучно. Казалось, это вполне естественно. Ведь они вместе играли в разные игры. Вместе танцевали. Подшучивали друг над другом. Можно было подумать, будто чувство открылось им случайно. В тот вечер они все вместе потанцевали в клубе и возвращались в автомобиле Саффари. Им было по пути, и Том хотел довезти Кларков до дому. Вайолет и Нобби сидели на заднем сиденье. Нобби изрядно выпил, но пьян не был. Руки их нечаянно соприкоснулись, и Нобби задержал ее руку в своей. Оба молчали. Оба очень устали. Но опьянение от выпитого

шампанского тотчас прошло, Нобби совершенно отрезвел. Оба мигом поняли, что отчаянно влюблены друг в друга, и притом осознали, что никогда еще не были влюблены. У бунгало Кларков Том сказал:

— Пересядь лучше ко мне, Вайолет.

— Я ужасно устала, не могу шевельнуть пальцем, — сказала она.

В ногах была такая слабость, что она подумала, ей никогда не встать.

Когда назавтра они встретились, ни один не помянул о случившемся, но оба знали: произошло неизбежное. Они вели себя друг с другом как обычно, — и так продолжалось многие недели, — но чувствовали, что все теперь по-иному. Наконец естество взбунтовалось, и они стали любовниками. Но им казалось, что в их отношениях плотские узы играют самую последнюю роль, и в самом деле, их образ жизни не давал возможности, разве что очень изредка, наслаждаться близостью. Довольно того, что они виделись каждый день, правда не наедине; взгляд, прикосновение руки убеждали их в любви, а только это и было им важно. Плотская близость всего лишь подтверждала союз их душ.

О Томе и Инид они разговаривали редко. Если им случалось посмеяться над слабостями тех двоих, они смеялись беззлобно. Если б они дали себе труд задуматься, им, наверно, показалось бы странно, что два человека, которых они постоянно видят, вовсе перестали для них существовать. Отношения с ними превратились в ту жизненную рутину, которую никто не замечает, вроде бритья, одеванья и еды трижды в день. Они испытывали к ним нежность. Даже старались их порадовать, как постарались бы порадовать прикованного к постели инвалида, — ведь счастье их так велико, и любовь велит делать все возможное для тех, кому не так повезло в жизни. Угрызений совести они не испытывали. Слишком они были поглощены друг другом, не до раскаяния им было. Приятно однообразную жизнь, какой они жили так долго, теперь захватывающе озарила красота.

А потом произошло событие, которое их ужаснуло. Компания, в которой служил Том, вступила в переговоры, намереваясь купить огромные каучуковые плантации на Британском Северном Борнео, и предложила Тому стать там управляющим. Работа несравненно лучше нынешней, с окладом выше, а поскольку там у него будут помощники,

ему не придется работать так напряженно, как сейчас. Саффари принял предложение. И Кларку и Саффари предстоял отпуск, и обе пары загодя условились ехать домой вместе. Уже были забронированы места на пароходе. Теперь все изменилось. Том не сможет уехать, по крайней мере, ближайший год. К тому времени, когда Кларки вернутся, чета Саффари уже поселится на Борнео. Вайолет и Нобби, не долго думая, решили, что выход только один. Пока они были уверены, что можно видаться постоянно, пока чувствовали, что впереди бездна времени, а будущее освещено счастьем, которому нет пределов, они готовы были оставить все как есть, несмотря на препятствия, что мешали наслаждаться любовью, но они и помыслить не могли о расставанье. Было решено бежать, и тогда вдруг показалось, что каждый день, отделяющий их от времени, когда они смогут быть вместе всегда и постоянно, — потерянный день. Любовь приобрела иной облик. Всепоглощающая страсть охватила их и уже не оставляла никаких чувств для других. Боль, которую они неизбежно причинят Тому и Инид, уже мало их заботила. Это неприятно, но неизбежно. Они все тщательно продумали. Нобби отправится в Сингапур якобы по делу, а Вайолет скажет Тому, что хочет провести недельку у друзей, живущих в той же стороне, и присоединится к нему. Они отправятся на Яву, а оттуда пароходом в Сидней. В Сиднее Нобби постарается подыскать работу. Когда Вайолет сказала Тому, что Маккензи пригласили ее провести у них несколько дней, он обрадовался.

— Это замечательно. Тебе, по-моему, необходимо переменить обстановку, дорогая, — сказал он. — Мне кажется, у тебя последнее время немного усталый вид.

Он нежно погладил ее по щеке. Его нежность больно отозвалась у нее в сердце.

— Ты всегда так добр ко мне, Том, — сказала она, и ее глаза вдруг наполнились слезами.

— Ну а как иначе я могу к тебе относиться. Такую, как ты, не сыщешь в целом свете.

— Ты был счастлив со мной эти восемь лет?

— Безгранично.

— Ну, это что-нибудь да значит, верно? Этого у тебя уже никто не отнимет.

Он легко утешится, уверяла она себя, такой уж он человек. Он любит женщин и, вновь оказавшись свободным,

довольно скоро найдет женщину, на которой захочет жениться. И с новой женой будет так же счастлив, как был с ней. Возможно, он женится на Инид. Инид существо несамостоятельное, такие ее раздражали, и ей казалось, та не способна на глубокое чувство. Самолюбие Инид будет уязвлено, а сердце не разобьется. Но сейчас, когда жребий брошен, все оговорено и назначен день, ее охватила тревога. Нахлынуло раскаяние. Вот если б можно было не причинять такое ужасное горе этим двум людям, Вайолет дрогнула.

— Мы очень хорошо тут жили, Том, — сказала она. — Не знаю даже, разумно ли все это покидать. Мы меняем уверенность неизвестно на что.

— Детка моя дорогая, такой случай выпадает один раз на миллион, и денег гораздо больше.

— Деньги еще не все. Счастье важнее.

— Знаю, но с какой стати нам думать, будто на Борнео мы не будем так же счастливы, как здесь. К тому же у меня нет выбора. Я себе не хозяин. Правление хочет, чтобы я поехал, вот и все.

Вайолет вздохнула. У нее тоже не было выбора. Она пожала плечами. Это отвратительно — причинять людям боль, но иногда ничего не поделаешь. Для нее Том значил не больше, чем случайный попутчик в поездке, который с ней вежлив; и было бы нелепо требовать, чтобы она пожертвовала жизнью ради него.

Кларки должны были отплыть в Англию через две недели, и это определило день побега. Время шло. Вайолет была беспокойна и взволнованна. С радостью почти болезненной она предвкушала покой, который обретет, когда они окажутся на борту парохода и заживут жизнью, которая наконец-то принесет ей истинное счастье.

Она принялась паковать вещи. У друзей, к которым она якобы ехала, постоянно бывают гости, и под этим предлогом она могла взять с собой особенно много нарядов. Отправлялась она на следующий день. Было одиннадцать часов утра, и Том обходил свои владения. Вошел слуга, сказал, что ее хочет видеть миссис Кларк, и ее окликнула Инид. Вайолет поспешно закрыла чемодан и вышла на веранду. К ее удивлению, Инид кинулась к ней, обняла за шею, стала горячо целовать. Вайолет взглянула на Инид — ее обычно бледные щеки пылали, глаза сияли. Она разразилась слезами.

— Инид, милая, что случилось? — воскликнула Вайолет.

В первую минуту она испугалась, что Инид все знает. Но Инид взволновалась от радости, ни ревность, ни гнев тут были ни при чем.

— Я прямо от доктора Хэрроу, — сказала она. — Я ничего не хотела говорить. У меня уже были две-три ложные тревоги, но на этот раз он говорит, все в порядке.

У Вайолет похолодело на сердце.

— Ты что хочешь сказать? Уж не собираешься ли ты...

Она посмотрела на Инид, и та кивнула.

— Да, он говорит, на этот раз никаких сомнений. Он говорит, уже, по крайней мере, три месяца. Ох, Вайолет, я безумно счастлива.

Инид опять кинулась в объятия Вайолет и со слезами прильнула к ней.

— Ну, милая, не плачь.

Вайолет чувствовала, что сама побледнела как смерть, понимала, что, если тотчас не возьмет себя в руки, она упадет в обморок.

— Нобби знает?

— Нет, я ни слова ему не сказала. Он прежде так был разочарован. Когда малыш умер, он весь исстрадался. И так хотел, чтобы я еще родила.

Вайолет заставила себя произносить все положенные слова, но Инид не слушала. Ей хотелось подробно рассказать про свои надежды и страхи, про все симптомы, а потом про разговор с доктором. Она говорила и говорила без умолку.

— Когда ты думаешь сказать Нобби? — спросила наконец Вайолет. — Сейчас, когда придет домой?

— Ох, нет, с обхода он возвращается усталый и голодный. Подожду до вечера, скажу после обеда.

Вайолет не дала прорваться раздражению; Инид хочет торжественно преподнести новость и выбирает подходящую минуту, но ведь это так естественно. Удачно, можно будет первой увидеть Нобби. Едва отделившись от Инид, она ему позвонила. Она знала, что по дороге домой он всегда заглядывает в свою контору, и передала, чтобы он ей позвонил. Вот только боязно, успеет ли позвонить до возвращения Тома, но попробовать стоило. Раздался звонок, а Том еще не вернулся.

— Хэл?

— Да.

— Ты можешь быть в хижине в три?

— Да. Что-нибудь случилось?

— Скажу, когда увидимся. Не волнуйся.

Она повесила трубку. Хижиной называли хибарку на плантации Нобби, куда она могла без труда пойти и где они изредка встречались. В рабочее время мимо проходили кули, там не уединишься, но все же можно было увидеться и перекинуться несколькими словами, не вызывая лишних толков. В три Инид будет отдыхать, а Том — работать у себя в конторе.

Когда Вайолет вошла, Нобби уже был в хижине. Он взглянул на нее испуганно и удивленно.

— Вайолет, у тебя в лице ни кровинки.

Она протянула ему руку. Они никогда не знали, кто видит их в эту минуту, и потому вели себя так, будто находятся на людях.

— Утром ко мне зашла Инид. Тебе она скажет вечером. Я подумала, надо тебя предупредить. Она ждет ребенка.

— Вайолет!

Он смотрел на нее с ужасом. Она заплакала. Они никогда не разговаривали об его отношениях с женой и ее с мужем. Этой темы они избегали — слишком она была болезненна для обоих. Вайолет понимала, что за жизнь она ведет; она удовлетворяла желания мужа; но оттого, что никакой радости ей это не доставляло, она с чисто женским странным равнодушием не придавала этому значения; но почему-то убедила себя, что у Хэла в семье по-другому. Сейчас он интуитивно почувствовал, как глубоко ранило ее то, что она узнала. Он попытался оправдаться.

— Милая, я ничего не мог поделать.

Вайолет тихонько плакала, а он смотрел на нее несчастными глазами.

— Я понимаю, это выглядит ужасно, — сказал он. — Но что мне было делать? Ведь не было у меня никаких причин...

Вайолет не дала ему договорить.

— Я тебя не виню. Это было неизбежно. Просто я дура, оттого мне так и больно.

— Милая!

— Надо было нам уехать два года назад. Какое это было безумие — думать, будто так может продолжаться без конца.

— Ты уверена, что Инид не ошиблась? Однажды, три или четыре года назад ей уже показалось, будто она в положении.

— О нет, не ошиблась. Она страшно счастлива. Она говорит, ты безумно хотел ребенка.

— Это прямо как гром среди ясного неба. Я все никак не могу опомниться.

Вайолет посмотрела на него. Он не отрывал встревоженных усталых глаз от усыпанной листьями земли. Она чуть улыбнулась.

— Бедный Хэл, — с глубоким вздохом произнесла Вайолет. — Ничего тут не поделаешь. Теперь нам конец.

— Что это значит? — воскликнул он.

— Ох, мой дорогой, теперь ты ведь не можешь ее оставить, верно? Раньше все бы еще ничего. Она бы погоревала, а потом утешилась. Но теперь все иначе. Для женщины это и так не самое легкое время. Месяц за месяцем ей неможется. Ей нужна любовь. Забота. Бросить ее, чтобы она со всем этим справлялась одна, было бы ужасно. Нельзя поступить так не по-людски.

— Ты что же, хочешь, чтобы я вернулся с ней в Англию? Вайолет скорбно кивнула.

— Нам повезло, что ты уезжаешь. Когда ты уедешь и мы не будем каждый день видеться, станет легче.

— Но я уже не могу без тебя.

— О нет, можешь. Должен. Я могу. А мне будет трудней, чем тебе, ведь я остаюсь и лишаюсь всего.

— Ох, Вайолет, это невыносимо.

— Дорогой мой, что толку спорить. Как только она мне сказала, я поняла, что это означает для нас. Потому и хотела увидеть тебя раньше, чем она. Боялась, как бы от неожиданности ты не проговорился. Ты ведь знаешь, я люблю тебя больше всего на свете. Она никогда не делала мне ничего дурного. Не могу я сейчас отнять тебя. Нам с тобой не повезло, но так уж оно случилось, не посмею я совершить такую подлость.

— Лучше б мне умереть, — простонал он.

— От этого ни ей, ни мне не будет легче, — улыбнулась Вайолет.

— Ну, а в будущем? Мы что ж, так навсегда и загубим свою жизнь?

— Боюсь, что да. Дорогой мой, это звучит жестоко, но, я думаю, рано или поздно мы с этим свыкнемся. Человек со всем свыкается.

Она глянула на свои часики.

— Мне пора. Скоро вернется Том. В пять все встречаемся в клубе.

— Мы с Томом собирались играть в теннис. — Нобби жалобно на нее посмотрел. — Ох, Вайолет, мне так тяжело.

— Знаю. Мне тоже. Но от разговоров легче не станет.

Она протянула ему руку, но он обнял ее и поцеловал, и когда она высвободилась, ее щеки были мокры от его слез. Но сама она уже не могла плакать, в таком она была отчаянии.

Десять дней спустя Кларки отплыли в Англию.

Джордж Мун слушал все, что смог ему рассказать Саффари, и со свойственной ему невозмутимостью и беспристрастием размышлял о том, как странно, что этих заурядных людей, живущих столь однообразной жизнью, может сотрясать такая трагедия. Кто бы мог подумать, что, когда Вайолет Саффари, такая скромная и сдержанная, сидит в клубе и листает иллюстрированные газеты или болтает с приятельницами за стаканом лимонного сока, у нее болит душа из-за любви к этому ничем не примечательному человеку? Джорджу Муну вспомнилось, что он видел Нобби в клубе вечером накануне отплытия. Казалось, он в весьма приподнятом настроении. Приятели завидовали ему — ведь он отправляется домой. Те, которые недавно вернулись из Англии, советовали ни в коем случае не пропустить представление в Павильоне. Вино лилось рекой. Хотя резидента и не пригласили на прощальный вечер, который чета Саффари устраивала в честь Кларков, но он хорошо знал, как там все было — отличное угощение, сердечность, подшучивание, а после обеда завели патефон и все пошли танцевать. Каково было Вайолет и Кларку танцевать друг с другом, думал резидент. При мысли об отчаянии, что, должно быть, наполняло их сердца, когда они делали вид, будто им безумно весело, он испытывал странное смятение.

И в душе всплывали воспоминания о собственном прошлом. Лишь очень немногие знали эту историю. Ведь случилось все двадцать пять лет назад.

— Как вы собираетесь поступить, Саффари? — спросил он.

— Да вот хотел услышать ваш совет. Теперь, когда Нобби умер, я не знаю, что будет с Вайолет, если я с ней разведусь. Я подумал, может, надо, чтобы не я развелся с Вайолет, а она со мной.

— Значит, вы хотите развестись?

— Да, иначе я не могу.

Джордж Мун закурил следующую сигарету, проследил взглядом за колечками дыма, что уплывали вверх...

— Вам известно, что я был женат?

— Да, по-моему, я об этом слышал. Вы, кажется, вдовец?

— Нет, я развелся с женой. У меня двадцатисемилетний сын. Он фермер в Новой Зеландии. В последний раз я видел свою жену, когда был в Англии в отпуске. Мы встретились в театре. Не сразу узнали друг друга. Она со мной заговорила. Я пригласил ее позавтракать в «Баркли».

Джордж Мун усмехнулся про себя. Он пришел в театр один. Давали музыкальную комедию. Он оказался рядом с крупной, полной, темноволосой женщиной, которую, кажется, когда-то видел, но как раз начался спектакль, и он больше не посмотрел в ее сторону. Когда после окончания первого действия занавес опустился, она посмотрела на него блестящими глазами и заговорила:

— Как поживаешь, Джордж?

Он вздрогнул. То была его жена. Она держалась очень уверенно, дружелюбно и чувствовала себя вполне непри-
нужденно.

— Давненько мы не виделись, — сказала она.

— Да.

— Как тебе живется?

— О, прекрасно.

— Ты теперь, наверно, резидент. Ты все еще служишь, да?

— Да. К сожалению, скоро уйду на пенсию.

— Почему? Ты неплохо выглядишь.

— Возраст подходит. Считают, что превращусь в старого хрыча и не будет от меня никакого толку.

— Тебе повезло, ты не растолстел. А я ужасна, да?

— Не сказать, что ты чахнешь.

— Знаю. Я полная, и все время полнею. Ничего не могу с собой поделать, и поесть люблю. Не могу устоять против сливок и хлеба и картошки.

Джордж Мун засмеялся, но не тому, что она сказала, а своим мыслям. За прошедшие годы ему не раз казалось, что они могут случайно встретиться, но он вовсе не думал, что произойдет это вот так. Когда спектакль окончился и она с улыбкой пожелала ему доброй ночи, он сказал:

— Ты не против как-нибудь со мной позавтракать?

— Охотно.

Они договорились о дне и в условленное время встретились. Джордж Мун знал, что она вышла замуж за человека, из-за которого он с ней развелся, и по тому, как она одета, рассудил, что она отнюдь не в стесненных обстоятельствах. Они пили коктейль. Она с удовольствием ела *hors-d'oeuvres*. Ей было пятьдесят, ни больше, ни меньше, но возраст явно ее не тяготил. От нее веяло весельем, беспечностью, она была находчива, разговорчива и смеялась искренним, заразительным смехом толстой женщины, которая дала себе волю. Не зная он, что ее семья уже сотню лет находится на государственной службе в Индии, он бы подумал, что она в прошлом хористочка. Не сказать, что она была развязна, но чувствовалась некая экзальтация, наводящая на мысль о театральных подмостках. Она нисколько не смущалась.

— Ты так больше и не женился, да? — спросила она.

— Да.

— Жаль. Ведь если первый брак оказался неудачным, это не значит, что и второй будет такой же.

— Мне нет нужды спрашивать тебя, счастлива ли ты.

— Мне не на что жаловаться. По-моему, у меня счастливый характер. Джим всегда добр ко мне. Знаешь, он уже на пенсии, и мы живем за городом, и я обожаю Бетти.

— Кто это Бетти?

— Да моя дочка. Два года назад она вышла замуж. В любой день могу стать бабушкой.

— Это здорово старит.

Она рассмеялась.

— Бетти двадцать два. Очень мило, Джордж, что ты пригласил меня позавтракать. В конце концов, было бы глупо таить обиду из-за того, что случилось так давно.

— Просто идиотизм.

— Мы не подходили друг другу, и нам повезло, что мы поняли это не слишком поздно. Я, конечно, была глупая, но ведь совсем молоденькая. А ты тоже был счастлив?

— Я добился успеха.

— Что ж, наверно, по твоим понятиям, это и есть счастье.

Он улыбнулся, по достоинству оценив ее проницательность. А она не стала больше возвращаться к этим давним делам и с легкостью заговорила о другом. Хотя по решению суда сын остался на попечении Джорджа Муна, он не мог его воспитывать и позволил матери его забрать. В восемнадцать лет мальчик эмигрировал и теперь уже женат. Сын был чужой Джорджу Муну, и, встретиться они на улице, отец бы его не узнал. Слишком он был искренним человеком и потому не стал притворяться, будто особенно им интересуется. Все-таки немного они о нем поговорили, а потом заговорили об актерах и спектаклях.

— Что ж, — наконец сказала она, — мне пора бежать. Мы чудно с тобой позавтракали. Было интересно повидаться, Джордж. Большущее тебе спасибо.

Он посадил ее в такси и, так и не надев шляпы, зашагал в одиночестве по Пикадилли. Бывшая жена показалась ему очень приятной и забавной, и он засмеялся, подумав, что в свое время был безумно в нее влюблен. И когда он вновь заговорил с Томом Саффари, губы его все еще улыбались.

— Когда я на ней женился, она была чертовски хорошенькая. В этом вся беда. Хотя не будь она такая красотка, я бы, конечно, на ней не женился. Мужчины вились вокруг нее, как мухи над банкой меда. У нас бывали чудовищные ссоры. И наконец я ее застал на месте преступления. И конечно развелся с ней.

— Конечно.

— Да, но теперь я понимаю, это была ужасная глупость. — Резидент подался вперед. — Дорогой мой Саффари, теперь я понимаю, что имей я хоть каплю разума, я должен был бы закрыть на это глаза. Она бы уgomонилась и была мне отличной женой.

Как хотелось бы ему толковать своему посетителю, что, когда он сидел и болтал с этой веселой, уютной, добродушной женщиной, он думал о том, до чего нелепо было поднимать такой шум из-за того, что сейчас казалось сущим пустяком.

— Но нельзя же забывать о собственной чести, — сказал Саффари.

— Бог с ней, с честью. Нельзя забывать о собственном счастье. При чем тут честь, если ваша жена легла с другим? Мы с вами не рыцари и не испанские гранды. Моя жена

мне нравилась. Я не говорю, будто я не имел других женщин. Имел. Но было у нее что-то такое, чего мне не могла дать никакая другая женщина. Ну и дурак я был, отбросил то, чего желал больше всего на свете, только потому, что не мог владеть этим единолично!

— От кого-кого, а от вас я таких слов не ждал.

Джордж Мун слегка улыбнулся смущению, которое так ясно читалось на толстом встревоженном лице Саффари.

— Вероятно, вам никто еще не говорил голый правды, — парировал он.

— Вы что ж, хотите сказать, что, если бы можно было к этому вернуться, вы поступили бы по-другому?

— Будь мне опять двадцать семь, наверно, я свалил бы такого же дурака, как тогда. Но обладай я своим сегодняшним разумом, я бы вот что сделал, если бы узнал, что жена мне неверна. То же, что вы вчера вечером: как следует бы ее отделал — и этим удовлетворился.

— Вы хотите, чтобы я простил Вайолет?

Резидент медленно покачал головой и улыбнулся.

— Нет. Вы ее уже простили. Я просто советую вам не поступать во вред самому себе.

Саффари бросил на него беспокойный взгляд. Его смущало, что этот холодный, педантичный человек сумел разглядеть в его сердце чувства, которые ему самому казались такими неестественными, что он и думать о них не хотел.

— Вы не знаете, как у нас обстояло дело, — сказал он. — Мы с Нобби были точно братья. Я устроил его на это место. Он всем мне обязан. И если бы не я, Вайолет могла бы на всю жизнь остаться в гувернантках. Мне казалось, это такое жалкое существование, ну как было ее не пожалеть. Понимаете, сперва мною руководила именно жалость. Вам не кажется, что это уж чересчур — ведешь себя с людьми самым порядочным образом, а они из кожи лезут вон, чтоб тебе напакостить? Ужасная неблагодарность.

— Ох, дорогой мой, не ждите благодарности. Ни у кого нет на нее никакого права. В конце концов, вы совершаете добро, потому что вам это доставляет удовольствие. Это самый бескорыстный из всех видов счастья. Ожидать в таком случае признательности, право, уже слишком. Если вы ее получаете, что ж, считайте, вы получили добавочный дивиденд на акции, по которым дивиденд уже получен; замечательно, но только не думайте, будто вам это положено по праву.

Саффари нахмурился. Он был озадачен. Не укладывалось у него в голове, что Джордж Мун так чудно думает о вещах, о которых, кажется, не может быть двух мнений. В конце концов, всему есть предел. Иными словами, если у вас есть хоть какое-то представление о приличиях, следует вести себя как положено порядочному человеку. Нельзя забывать о собственном достоинстве. Занятно, что не кто иной, а Джордж Мун привел основания, которые кажутся невероятной соблазнительными, побуждают поступить так, как ты и сам рад бы, если б только знал, как это сделать, — да, черт возьми, именно так. Джордж Мун, он, конечно, странная личность. Никто никогда до конца его не понимал.

— Нобби Кларк умер, Саффари. Теперь что ж к нему ревновать. Никто, кроме вас, вашей жены и меня, ничего не знает, а я завтра навсегда покину эти места. Почему бы вам не забыть прошлые обиды?

— Вайолет только станет меня презирать.

Джордж Мун улыбнулся, и в необычной для этого строгого, чопорного лица улыбке была своеобразная мягкость.

— Я совсем мало ее знаю. Но всегда находил, что она очень славная. Неужели она такая дрянь?

Саффари вздрогнул и покраснел до ушей.

— Она само великодушие. Это я дрянь, что так о ней сказал. — Голос его прервался, он всхлипнул. — Видит Бог, я хочу поступить правильно.

— Правильно — значит по-доброму.

Саффари закрыл лицо ладонями. Он не мог совладать с охватившим его волнением.

— Мне кажется, я отдаю, отдаю без конца, а мне хоть бы кто-нибудь сделал что-то хорошее. Что из того, что мое сердце разбито, все равно надо жить. — Он провел рукой по глазам и глубоко вздохнул. — Прощу ее.

Джордж Мун задумчиво на него посмотрел.

— На вашем месте я не поднимал бы из-за этого большого шума, — сказал он. — Вам следует вести себя очень осмотрительно. Ей тоже многое придется вам простить.

— Это оттого, что я ее побил? Я знаю, это было ужасно.

— Вовсе нет. Это ей на благо. Я имел в виду другое. Вы ведете себя очень великодушно, старина, а вы знаете, от человека требуется бездна такта, чтобы люди сумели простить ему великодушие. Женщины, к счастью, легкомысленны и очень скоро забывают о дарованных им милостях. Не то жизнь с ними была бы, разумеется, невозможна.

Саффари взирал на него, раскрыв рот.

— Право слово, я еще таких, как вы, не видывал, — сказал он. — Иногда вы твердый как сталь, а потом так заговорите, ну прямо по-человечески, и только подумаешь, мол, неверно я о нем судил, все-таки есть у него сердце, вы такое отколете, только диву даешься. Наверно, это и называется циник.

— Я не слишком об этом задумывался, — улыбнулся Джордж Мун. — Но если глядеть правде в лицо и не возмущаться, как бы неприятна она ни была, и принимать человеческую натуру такой, какая она есть, улыбаться, когда она нелепа, и печалиться, не впадая в крайности, когда жалка, значит быть циником, тогда, вероятно, я циник. По большей части человеческая натура и нелепа, и одновременно жалка, но если жизнь научила тебя терпимости, ты находишь в ней больше такого, что вызывает у тебя улыбку, а не слезы.

Когда Том Саффари ушел, резидент не спеша закурил сигарету, как он полагал, последнюю перед завтраком. То была новая для него роль — мирить разгневанного супруга с согрешившей женой, и роль эту он воспринял не без удовольствия. Он продолжал размышлять о человеческой натуре. Холодная улыбка пробежала по его бледным губам. Ему вспомнилось, как он, бывало, стоял на берегу высохших ручьев и с интересом наблюдал за илистыми прыгунами. Иной раз их там бывали сотни, от крохотных, в два-три дюйма длиной, до жирных и крупных, с его ступню. Были они цвета ила, в котором живут. Сидят и смотрят на тебя большими круглыми глазами и вдруг рывком зарываются в свою норку. Поразительное это зрелище, когда они стремительно и плавно несутся на своих плавниках по илу. Им нет числа. Со страхом ощущаешь, будто сам ил каким-то таинственным образом оживает, и древний ужас леденит кровь, когда вспоминалось, что лишь подобные существа, но только гигантские и чудовищные, и населяли землю в незапамятные времена. Что-то было в этих прыгунах жуткое, но и забавное. Уж очень они напоминали людей. Так занятно бывало постоять там полчаса, глядя на их прыжки.

Джордж Мун снял с крючка тропический шлем и вполне довольный жизнью вышел на солнце.

СУМКА С КНИГАМИ

Одни читают для пользы, что похвально; другие для удовольствия, что безобидно; немало людей, однако, читают по привычке, и это занятие я бы не назвал ни безобидным, ни похвальным. К этим последним отношусь, увы, и я. Разговор, в конце концов, нагоняет на меня скуку, от игры я устаю, а собственные мысли рано или поздно истощаются, хотя, как утверждают, размышления — лучший отдых благоразумного человека. Тут-то я и хватаюсь за книгу, как курильщик опиума за свою трубку. Чем обходиться без чтения, я уж лучше буду читать каталог универмага «Арми энд нейви» или справочник Брэдшо¹, кстати, каждое из этих изданий доставило мне немало приятных часов. Было время — я не выходил из дому без букинистического списка в кармане. По мне, так нет чтения лучше. Разумеется, такое пристрастие к чтению столь же предосудительно, как тяга к наркотику, и я не перестаю дивиться глупости великих книгоцеев, которые только потому, что они книгочеи, презирают людей необразованных. Разве, с точки зрения вечности, достойнее прочитать тысячу книг, чем поднять плугом миллион пластов? Давайте признаемся, что мы так же не можем без книги, как иные без опия, — кому из нашей братии неведомы беспокойство, чувство тревоги и раздражительность, когда приходится подолгу обходиться без чтения, и вздох облегчения, что исторгает из груди вид странички печатного текста? — и будем по этой причине столь же смиренны, как несчастные рабы иглы или пивной кружки.

¹ Издававшийся в 1839—1961 гг. справочник расписания движения на железных дорогах Великобритании.

Подобно наркоману, который не выходит из дому без запаса губительного зелья, я ни за что не отправлюсь в поездку без достаточного количества печатной продукции. Книги мне так необходимы, что когда в поезде я не вижу и одной в руках моих дорожных попутчиков, то прихожу в самое настоящее смятение. Когда же мне предстоит долгое путешествие, проблема эта вырастает до грозных размеров. Жизнь меня научила. Как-то раз из-за болезни я на три месяца застрял в горном городишке на Яве. Я прочитал все привезенные с собой книги и, не зная голландского языка, был вынужден закупить школьных хрестоматий, по которым смышленные яванцы, очевидно, изучают французский и немецкий. Так по прошествии двадцати пяти лет я перечитал холодные пьесы Гете, басни Лафонтена, трагедии нежного и строгого Расина. Я преклоняюсь перед Расином, но должен признать, что читать его пьесы одну за другой требует от человека, которого донимают кишечные колики, известных усилий. С той поры я положил за правило брать в поездки самый большой мешок, предназначенный для грязного белья, доверху набитый книгами на любой случай и настроение. Он весит добрую тонну, под его тяжестью спотыкаются и крепкие носильщики. Таможенники косятся на него с подозрением, однако в испуге отшатываются, стоит мне их заверить, что в нем одни только книги. Неудобство сумки заключается в том, что именно то издание, которое мне вдруг приспичило почитать, обязательно оказывается на самом дне, и чтобы до него добраться, приходится вываливать на пол все содержимое. Но если б не это, я бы, скорее всего, так никогда и не узнал необычную историю Оливии Харди.

Я путешествовал по Малайе, останавливаясь там и тут — на неделю-другую, если имелась гостиница или пансион, и на пару дней, если нужно было пожить в доме местного плантатора или начальника округа, чьим гостеприимством мне не хотелось злоупотреблять; в тот раз я оказался в Пенанге. Это милый городок, и тамошняя гостиница, на мой взгляд, вполне приемлема, но приезжему там решительно нечем заняться, так что я тяготился избытком свободного времени. В один прекрасный день я получил письмо от человека, которого знал только по имени. То был Марк Фезерстоун, исполнявший обязанности Резидента — сам Резидент отбыл в отпуск — в местечке под названием

Тенгара. Там правил султан, и, как сообщалось в письме, должно было состояться какое-то празднество на воде, которое, считал Фезерстоун, могло бы меня заинтересовать. Он писал, что будет рад принять меня на несколько дней. Я телеграфировал, что с удовольствием принимаю приглашение, и на другой день выехал поездом в Тенгару. Фезерстоун встретил меня на перроне. На вид я бы дал ему около тридцати пяти. Он был высокий красивый мужчина с выразительными глазами и сильным, суровым лицом. У него были жесткие черные усы и кустистые брови. Он больше походил на военного, чем на государственного чиновника. В своих белых парусиновых брюках и белом тропическом шлеме он выглядел просто великолепно, одежда сидела на нем точно влитая. Держался он несколько скованно, что было странно для такого рослого парня с решительной повадкой, но я отнес это исключительно за счет того, что общество загадочного создания, именуемого писателем, ему в новинку, и понадеялся в скором будущем вернуть ему непринужденность.

— Мои слуги присмотрят за вашим барангом¹, — сказал он, — а мы отправимся в клуб. Дайте им ключи — они выложат вещи к нашему возвращению.

Я объяснил, что багажа у меня много и проще взять самое необходимое, а все прочее оставить на вокзале, но он не хотел об этом и слышать:

— Ни малейшего неудобства. В моем доме будет надежнее. Баранг всегда лучше держать при себе.

— Хорошо.

Я вручил ключи и квитанцию на чемодан и сумку с книгами слуге-китайцу — тот стоял чуть позади моего любезного хозяина. За вокзалом нас ждал автомобиль, в него мы и сели.

— Вы играете в бридж? — спросил Фезерстоун.

— Играю.

— Мне казалось, большинство писателей не играют.

— Не играют, — согласился я. — В литературной среде бытует мнение, что игра в карты — признак слабоумия.

Клуб представлял собой бунгало, милое, хотя и незамысловатое; имелись большая читальня, бильярдная на один стол и комнатка для игры в карты. В самом клубе мы застали

¹ Вещи, багаж (*малайск.*).

двух-трех человек, читавших английские еженедельники; на теннисных кортах играли несколько пар. На веранде было больше народа — сидели, курили, наблюдали за игрой, потягивали напитки. Фезерстоун представил меня двум или трем. Однако смеркалось, и скоро игроки едва различали мяч. Фезерстоун предложил одному из тех, с кем только что меня познакомил, сыграть роббер. Тот согласился. Фезерстоун поискал глазами четвертого партнера. Его взгляд остановился на мужчине, сидевшем несколько на отшибе. Фезерстоун подумал — и пошел к нему. Они обменялись парой слов, подошли к нам, и мы проследовали в игорную. Поиграли мы хорошо. Я не очень присматривался к своим случайным партнерам. Они заказали мне выпивку за свой счет, и я, как временный член клуба, в свою очередь заказал им за собственный. Порции, впрочем, были весьма умеренные, виски на три четверти с содовой, и за два часа, что мы провели за картами, каждый получил возможность продемонстрировать свою щедрость, не злоупотребляя спиртным. Когда до закрытия клуба времени осталось как раз на последний роббер, мы перешли на джин с горькой настоек. Роббер закончился, Фезерстоун затребовал клубный реестр и внес в него выигрыши и проигрыши.

— Что ж, мне пора, — произнес, поднимаясь, один из игравших.

— Назад в Имение? — спросил его Фезерстоун.

— Ага, — кивнул тот и обратился ко мне: — Вы завтра придете?

— Надеюсь.

— Заеду за моей благоверной и — домой обедать, — сказал другой.

— Нам тоже пора собираться, — заметил Фезерстоун.

— Я готов, дело за вами, — ответил я.

Мы сели в машину и отправились к Фезерстоуну. Ехали довольно долго. Было темно, я мало что видел, но понял, когда дорога довольно круто пошла в гору. Так мы добрались до Резиденции.

Вечер как вечер, приятный, но отнюдь ничем не отмеченный, таких вечеров у меня бывало предостаточно, всех не упомянуть. И от этого вечера я тоже не ждал ничего особенного.

Фезерстоун провел меня в гостиную — уютную, но несколько заурядную. В ней стояли большие плетеные

кресла, обитые кретоном, стены были сплошь увешаны фотографиями в рамках, на столах и столиках валялись какие-то бумаги, журналы, служебные отчеты вперемешку с трубками, желтыми коробками сигарет из беспримесного табака и розовыми жестянками с табаком. На вытянутых в ряд книжных полках беспорядочно теснились книги с корешками, попорченными плесенью и полчищами белых муравьев. Фезерстоун провел меня в отведенную мне комнату и удалился со словами:

— Перед обедом выпьем джину с настойкой. За десять минут управитесь?

— Без труда, — ответил я.

Я принял ванну, переоделся и спустился на первый этаж. Фезерстоун, управившийся еще быстрее, принялся готовить джин, заслышав мои шаги на деревянной лестнице. Мы пообедали. Поговорили. Празднество, посмотреть которое меня пригласили, должно было состояться через день, но Фезерстоун сообщил, что еще до этого меня примет султан, о чем он договорился.

— Милейший старик, — сказал он. — Да и во дворце есть на что поглядеть.

После обеда мы еще немного побеседовали; Фезерстоун завел граммофон, мы пролистали последние прибывшие из Англии еженедельники. Потом отправились спать. Фезерстоун заглянул узнать, не нужно ли мне чего.

— Боюсь, книг вы с собою не прихватили, — заметил он, — а то мне решительно нечего читать.

— Книг? — воскликнул я и указал на сумку. Она стояла стоймя, раздувшись с одного бока, так что напоминала наклюкавшегося горбатого карлика.

— Так у вас там книги? А я думал — грязное белье, складная койка или еще что. Найдется что-нибудь для меня?

— Выбирайте сами.

Слуги Фезерстоуна развязали сумку, но, убоявшись зрелища, которое им открылось, этим и ограничились. За долгие годы я наловчился ее вытряхивать. Завалив ее на бок, я вцепился в кожаное дно и попятился, потянув за собой мешок, который отдал свое содержимое. Книги потоком хлынули на пол. Фезерстоун взирал на это с обалделым видом.

— Неужто вы и вправду возите с собой всю эту библиотеку? Надо же так обмануться!

Он наклонился и стал быстро переворачивать книги, проглядывая названия. Книги были самые разные. Томики стихов, романы, философские монографии, критические исследования (говорят, книги о книгах бесполезны, но читать их, ей-богу, весьма приятно), жизнеописания, исторические сочинения; книги для чтения во время болезни и книги для чтения, когда живой и бодрый ум жаждет вступить в единоборство с какой-нибудь проблемой; книги, которые всю жизнь хотелось прочесть, да дома за суетой все было недосуг; книги для чтения в плавании, когда без определенной цели бороздишь на «диком» пароходике проливы, и книги для непогоды, когда каюта скрипит сверху донизу и приходится привязывать себя к койке, чтобы не вывалиться; книги, отобранные исключительно из-за толщины, — их берут с собой, когда надо путешествовать налегке, и книги, которые можно читать, когда нет сил читать все другое. В конце концов, Фезерстоун отобрал недавно вышедшее жизнеописание Байрона.

— Ага, что я вижу? — сказал он. — Помнится, я читал на нее рецензию.

— Думаю, очень хорошая книга, — ответил я. — Сам я еще не успел прочесть.

— Можно взять? На эту ночь мне ее, во всяком случае, хватит.

— Конечно. Берите любые.

— Спасибо, мне этой достаточно. Что ж, спокойной вам ночи. Завтрак в половине девятого.

Когда я утром спустился в гостиную, старший слуга сообщил, что Фезерстоун уже с шести часов за работой, но скоро будет. Дожидаясь его прихода, я разглядывал книги на полках.

— Я вижу, у вас тут отменное собрание изданий по бриджу, — заметил я, когда мы сели за завтрак.

— Да, покупаю все, что выходит. Я очень увлекаюсь бриджем.

— Парень, с которым мы вчера играли, — хороший игрок.

— Это который? Харди?

— Имен не помню. Не тот, который собирался заехать за женой, а другой.

— Да, Харди. Поэтому я его и пригласил. Он в клубе нечастый гость.

— Надеюсь, сегодня он явится.

— Я бы не стал на это рассчитывать. У него плантация миль за тридцать от города. Не так уж и близко, чтобы приезжать только ради партии в бридж.

— Он женат?

— Нет. То есть да. Но жена его — в Англии.

— Мужчинам на этих плантациях без жен, верно, страшно одиноко, — заметил я.

— Ну, ему еще не так худо, как некоторым. Не думаю, чтобы он очень рвался бывать в обществе. В Лондоне, по моему, ему было бы так же одиноко.

В том, как произнес это Фезерстоун, я уловил нечто не совсем обычное. Самим своим тоном он словно захлопнул какую-то дверцу — иначе я просто не могу описать. Казалось, он разом от меня отдалился. Такое впечатление, будто ты шел поздним вечером по улице, на минутку остановился полюбоваться в освещенное окно на уютную комнату, и тут невидимая рука внезапно опустила штору. Его глаза, обычно откровенно смотревшие в лицо собеседнику, на этот раз уклонились от моего взгляда, и у меня сложилось впечатление, что гримаса боли, мелькнувшая у него на лице, мне отнюдь не привиделась. Оно на миг передернулось, как бывает при невралгии. Мне ничего не приходило на ум, да и Фезерстоун тоже молчал. Я понял, что его мысли отвлеклись от меня и от темы нашего разговора и обратились к вещам, мне неизвестным. Вскоре, однако, он с едва заметным, но явным вздохом встрепенулся и усилием воли взял себя в руки.

— После завтрака я сразу отправлюсь на службу, — сказал он. А вы чем намерены заняться?

— Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь. Буду себе бездельничать. Прогуляюсь до центра, погляжу на город.

— Достопримечательностей у нас раз-два и обчелся.

— Тем лучше, а то они мне до смерти надоели.

Как выяснилось, вида с Фезерстоуновой веранды мне хватило на все утро. А вид был из самых волшебных, что мне доводилось встречать в ФМШ¹. Дом стоял на вершине холма, к нему прилегал большой ухоженный сад. Огромные деревья придавали саду удивительное сходство с английским парком. В нем имелись обширные газоны, на которых

¹ Федеративные Малайские Штаты.

темнокожие худые тамилы косили траву; их движения были неспешны и прекрасны. Дальше, у подножия холма, плотные джунгли шли до берега широкой извилистой быстротекущей реки, а за ней, насколько хватало взгляда, простирались поросшие лесом холмы Тенгары. Контраст между аккуратными газонами с их неожиданно английским обликом и дикими зарослями джунглей, начинающихся сразу за садом, приятно будоражил воображение. Я сидел, читал и покуривал. Моя профессия — узнавать все о людях, и я задался вопросом: как этот мирный вид, исполненный тем не менее трепетного и темного смысла, действует на Фезерстоуна, у которого он постоянно перед глазами? Фезерстоун видит его во всякое время суток — на рассвете, когда поднимающийся от реки туман окутывает его в призрачные покровы; в полуденном блеске; наконец, в тот сумеречный час, когда тени крадучись выползают из джунглей, как войнство, осторожно пробирающееся по неразведанной местности, и вот уже укрывают безмолвием ночи зеленые газоны, и громады цветущих деревьев, и гордые плюмажи кассии. И я задумался: а что, если нежный и, однако же, странно зловещий характер ландшафта, незаметно для самого Фезерстоуна накладываясь на его психику и одиночество, наделил его некими тайными свойствами, так что жизнь, которую он ведет, — жизнь способного администратора, спортсмена и доброго малого, — время от времени кажется ему не совсем настоящей? Я улыбнулся своим фантазиям, ибо наша беседа вечером накануне решительно не обнаружила в нем какого-либо томления духа. На меня он произвел впечатление славного малого. Он учился в Оксфорде и состоял в хорошем лондонском клубе. Похоже, он придавал большое значение своему положению в обществе. Он был джентльменом и не забывал о том, что принадлежит к лучшему сословию, чем большинство англичан, с которыми его сводила жизнь. Столовую его дома украшали разнообразные серебряные кубки, из чего я заключил, что он преуспевает в спортивных играх. Он играл в теннис и на бильярде. На отдыхе он занимался охотой и, заботясь о фигуре, соблюдал тщательную диету. Он охотно распространялся о том, чем займется, уйдя на пенсию. Его мечтой было зажить сельским джентльменом: домик в Лестершире, пара охотничьих собак и соседи, с которыми можно сыграть в бридж. Будет идти пенсия, есть и собственный небольшой капитал.

Пока же он упорно трудился, выполняя свою работу если не с блеском, то, безусловно, со знанием дела. Не сомневаюсь, что в глазах начальства он был надежным исполнительным работником. Шаблон, по которому его скроили, был мне слишком знаком, чтобы вызывать особенный интерес. Он напоминал собою роман — тщательно написанный, правдивый и дельный, однако несколько заурядный, а потому похожий на что-то уже читанное, так что вяло перелистываешь страницы, зная, что книга не удивит, не затронет души.

Но люди непредсказуемы, и глуп тот, кто внушает себе, будто ему ведомо, на что человек способен.

Днем Фезерстоун повел меня к султану. Нас встретил один из его сыновей, застенчивый улыбающийся юноша, выполняющий при отце роль адъютанта. На нем был изящный синий костюм, однако поверх брюк он носил саронг¹ из желтой материи в белый цветочек, на голове — красную феску, а на ногах — американские ботинки из грубой кожи. Построенный в мавританском стиле, дворец напоминал большой кукольный дом и был выкрашен в ярко-желтый цвет — цвет правящей династии. Нас провели в просторную комнату, обставленную мебелью, какую можно найти в английском пансионе на море, только кресла были обиты желтым шелком. На полу лежал брюссельский ковер, а на стенах висели фотографии в роскошных позолоченных рамах, запечатлевшие султана при отправлении различных государственных обязанностей. В стеклянной горке было выставлено большое собрание вышивок тамбуром, все с изображением разнообразных фруктов. Вошел султан, с ним несколько человек свиты. На вид ему было около пятидесяти; низенький и полный, он был облачен в брюки и китель из материи в крупную белую и желтую клетку; вокруг талии у него был обмотан очень красивый желтый саронг, на голове — белая феска. В больших красивых глазах светилось дружелюбие. Нам было предложено: из напитков — кофе, из еды — сладкие пирожки, а из курева — манильские сигары. Беседа текла непринужденно, поскольку султан был очень приветлив. Он сказал мне, что ни разу не был в театре и не брал в руки карт, ибо крепок в вере, что у него четыре

¹ Национальная одежда, представляющая собой кусок ткани, обернутый вокруг бедер в виде юбки ниже колен.

жены и двадцать четыре ребенка. Единственное, что, видимо, омрачало ему счастье, так это требования элементарной порядочности, из-за которых ему приходилось делить свое время поровну между женами. Он сказал, что с одной час тянется месяц, тогда как с другой пробегаешь за пять минут. Я заметил, что профессор Эйнштейн — или Бергсон? — высказал аналогичное наблюдение о природе времени, более того, именно в связи с таким вопросом дал человечеству хороший повод для размышлений. Вскоре мы откланялись. На прощанье султан подарил мне несколько изящнейших белых тросточек из ротанга¹.

Вечером мы отправились в клуб. Когда мы вошли, один из наших вчерашних партнеров поднялся из кресла.

— Не сгонять ли робберок? — предложил он.

— А где наш четвертый? — спросил я.

— Ну, тут у нас найдутся ребята, которые будут только рады сыграть.

— А тот, с кем мы играли вчера? Я забыл его имя.

— Харди? Его нет.

— Ждать его не имеет смысла, — сказал Фезерстоун.

— Он редко бывает в клубе. Я удивился, когда вчера его увидел.

Не знаю, почему у меня возникло впечатление, что за самыми обычными словами этих двоих крылось какое-то непонятное замешательство. На меня Харди не произвел впечатления, я даже не помнил, как он выглядит. Четвертый партнер за карточным столом, только и всего. У меня возникло чувство, что они настроены против него. Впрочем, меня это не касалось, и я охотно уселся играть с партнером, которого мы заполучили на этот вечер. На сей раз игра пошла куда веселее. Все напропалую поддразнивали друг друга. Играли не так сосредоточенно, как накануне, много смеялись. Я не мог понять, то ли мои партнеры стали меньше стесняться неожиданно свалившегося на них гостя, то ли общество Харди их как-то сковывало. В половине девятого встали из-за стола, и мы с Фезерстоуном возвратились домой обедать.

После обеда мы развалились в креслах и закурили по манильской сигаре. Беседа почему-то не клеилась. Я затронул одну за другой несколько тем, но так и не сумел расшевелить

¹ Род пальм.

Фезерстоуна. Мне было подумалось, что за последние сутки он высказал все, что имел сказать. Несколько обескураженный, я замолк. Молчание затягивалось, и снова, не знаю почему, мне почудился в нем скрытый смысл, которого я не мог уловить. Мне стало слегка не по себе. У меня возникло странное чувство, порой возникающее у человека в пустой комнате, — будто кроме него тут есть кто-то еще. До меня дошло, что Фезерстоун сверлит меня настойчивым взглядом. Я сидел у лампы, а он в тени, поэтому я не видел выражения его лица. У него, однако, были большие блестящие глаза, и в полумраке они, казалось, тускло светились. Мне они напомнили новые пуговицы на ботинках, мерцающие в отраженном свете. Я не понимал, почему он на меня так уставился. Посмотрев на него и перехватив его упорно прикованный ко мне взгляд, я слабо улыбнулся.

— Любопытная книжка — та, что вы мне вчера одолжили, — неожиданно произнес он; я не мог не заметить, что его голос звучал не вполне естественно. Слова срывались у него с губ, словно кто-то выталкивал их изнутри.

— А, жизнь Байрона? — заметил я беззаботно. — Вы уже прочитали?

— Большую часть. Читал до трех утра.

— Мне говорили, что написано крепко. Правда, до такой степени Байрон меня едва ли интересует — слишком много в нем было страшно посредственного. Даже как-то неудобно за него становится.

— Много, по-вашему, правды в том, что рассказывали о нем и его сестре?

— Августе Ли? Я мало что знаю об этом. «Астарту»¹ я не читал.

— Как вы думаете, они и в самом деле любили друг друга?

— Вероятно. Недаром молва утверждает, что она была единственной женщиной, которую он любил по-настоящему.

— Вы способны это понять?

— Честно говоря, нет. Не то чтобы меня это сильно шокировало, просто кажется очень противоестественным. Впрочем, «противоестественный», пожалуй, не то слово. Такое

¹ История взаимоотношений Байрона и его сводной сестры Августы Ли изложена в книге «Астарта» (1905) Р. Милбэнка.

недоступно моему разумению. Я не способен настроиться таким образом, чтобы подобное представилось возможным. Вы понимаете, о чем я, — именно так писатель постигает своих героев, ставя себя на их место, заражаясь их чувствами.

Я видел, что выражаю свои мысли неясно, но я пытался описать ему ощущения, работу подсознания, которые прекрасно знал по личному опыту, однако не мог точно определить ни одним из известных мне слов. Я продолжал:

— Она, понятно, была ему лишь сводной сестрой, но привычка — как она убивает любовь, так, казалось бы, не допускает и ее зарождения. Если двое с младенчества знают друг друга и всю жизнь тесно общаются, мне трудно вообразить, с чего бы это между ними пробежать внезапной искре, от которой зажжется любовь. Скорее всего, их соединит взаимная привязанность; я же не знаю большей противоположности любви, чем привязанность.

Я едва различил в полумраке тень улыбки, скользнувшей по массивному и, как мне тогда показалось, мрачному лицу моего хозяина.

— Так вы верите только в любовь с первого взгляда?

— Пожалуй, да, но с одной оговоркой — можно встречаться раз двадцать, прежде чем по-настоящему взглянуть друг на друга. У глагола «глядеть» два смысла — активный и пассивный. Большинство тех, с кем нас сводит жизнь, так мало для нас значат, что мы не даем себе труда на них поглядеть. Они проходят перед глазами — и дело с концом.

— Да, но часто приходится слышать о супружеских парах, когда будущие муж и жена были знакомы долгие годы, никому и в голову не приходило, будто они питают друг к другу малейший интерес, а в один прекрасный день они взяли да поженились. Чем вы это объясняете?

— Ну, раз уж вы требуете от меня логики и последовательности, я бы сказал, что их любовь — это любовь другого рода. В конце концов, страстная любовь не единственное основание для вступления в брак; возможно, даже не лучшее. Браки, бывает, заключаются и от одиночества, и между добрыми друзьями, и просто ради удобства. Хотя я говорил, что привязанность — первейший враг любви, я не подумаю спорить с тем, что она же и прекрасный ее заменитель. Не берусь утверждать, что браки, основанные на привязанности, не получают и счастливейшими.

— Что вы думаете о Тиме Харди?

Я как-то не ждал этого внезапного вопроса, который вроде бы не имел касательства к теме нашего разговора.

— Я о нем особо не задумывался. Мне он показался вполне симпатичным. Почему вы об этом спрашиваете?

— На ваш взгляд, он такой, как все?

— Да. Разве в нем есть что-то особенное? Если б предупредили, я бы к нему пригляделся.

— Он очень сдержанный, правда? Кто про него ничего не знает, тот, пожалуй, на него лишний раз и не посмотрит.

Я попытался вспомнить, как он выглядит. За карточным столом мое внимание привлекло в нем только одно — красивые руки. Я тогда еще лениво подумал, что для плантатора очень уж они необычны. Но почему у плантатора руки должны быть не такие, как у всех прочих? — таким вопросом я не удосужился задаться. У Харди руки были крупноваты, но очень изящные, с необыкновенно длинными пальцами и превосходной формы ногтями. Очень мужественные руки, однако же на удивление нежные. Я это отметил и перестал о них думать. Но если вы писатель, то инстинкт и многолетняя привычка закрепляют в вашей памяти впечатления, о которых сами вы и не подозреваете. Порою они, конечно, не соответствуют действительности. Скажем, какая-то женщина остается у вас в подсознании как нечто темное, крупное и волоокое, тогда как на самом деле она довольно миниатюрна и волосы у нее неопределенного цвета. Но это не важно. Иной раз впечатление бывает куда правдивей, чем голая истина. Вот и теперь, стараясь вызвать из глубин сознания облик этого человека, я ощутил в нем какую-то двойственность. Он был чисто выбрит, и его лицо, продолговатое, однако не худое, показалось мне до странности бледным под слоем многолетнего тропического загара. Черты лица я видел неясно. Не знаю, запомнил ли я это с того раза или вообразил только сейчас, но округлый его подбородок оставлял впечатление известной слабости. У него были густые каштановые волосы, едва тронутые сединой, и длинная их прядь постоянно падала на лоб. Он отбрасывал ее назад привычным движением. В его довольно больших карих глазах чуть проглядывала печаль; легко представить, что их мягкая чувственность могла быть весьма обаятельной.

Фезерстоун, помолчав, продолжал:

— Довольно странно, что после стольких лет я здесь снова встретился с Тимом Харди. Впрочем, в ФМШ такое не редкость. Люди переезжают с места на место, и неожиданно сталкиваешься с человеком, с которым водил знакомство много лет тому назад в другой части страны. Я познакомился с Тимом, когда он владел плантацией неподалеку от Сибуку. Вы там бывали?

— Нет. А где это?

— Много северней. Ближе к Сиаму. Специально туда ехать не стоит — место как место, в ФМШ таких полно. Довольно милое. Там был замечательный маленький клуб и жили вполне приличные люди. Директор школы и начальник полиции, доктор, католический священник и управляющий общественным строительством. Сами знаете, обычный набор. Несколько плантаторов. Три-четыре женщины. Я работал тогда помощником начальника округа, это было мое первое назначение. У Тима Харди была плантация миль за двадцать пять. Он жил там с сестрой. У них водились деньги, вот он и купил себе участок. Цены на каучук тогда были высокие, так что он недурно зарабатывал. Мы с ним вроде как подружились. С плантаторами, ясное дело, всегда приходится идти на риск. Среди них встречаются очень порядочные ребята, но они не совсем... — Он искал словечко или фразу, от которых бы не отдавало снобизмом. — В общем, они не из тех, с кем, как правило, станешь водиться дома. Но Тим и Оливия — эти были мне равня, вы понимаете, что я имею в виду.

— Оливия — так звали сестру?

— Да. Прошлое у них было далеко не веселое. Родители разошлись, когда дети были еще маленькие, лет семи-восьми, мать забрала Оливию, а Тим остался с отцом. Тима отдали в Клифтон¹ — семья была родом из Западных графств, — и домой он приезжал только на каникулы. Его отец, флотский на пенсии, жил в Фоуи. А вот Оливия отправилась с матерью в Италию. Она училась во Флоренции, в совершенстве знала итальянский язык, да и французский тоже. Все эти годы брат с сестрой ни разу не виделись, но регулярно писали друг другу письма. В детстве они были очень дружны. Насколько я мог понять, их существование, когда родители еще жили вместе, было довольно бурным,

¹ Закрытая школа-интернат для мальчиков.

сплошные сцены и ссоры, как оно всегда бывает, если супруги в разладе, так что детям волей-неволей приходилось рассчитывать на самих себя. Их подолгу оставляли друг с другом. Потом миссис Харди умерла, Оливия возвратилась в Англию и приехала к отцу. В это время ей исполнилось восемнадцать, а Тиму — семнадцать. Через год разразилась война, Тим пошел на фронт добровольцем, а отец, которому перевалило за пятьдесят, нашел работу в Портсмуте. Как я понимаю, он любил погулять и приложиться к бутылке. В конце войны он свалился и умер после долгой болезни. Родственников у них, видимо, не было. Они оказались последними в довольно древнем роду и наследовали роскошный старый дом в Дорсетшире, который принадлежал семье уже много поколений, однако жить там им было не по средствам, так что дом сдавался. Я, помнится, видел его на фотографиях — настоящий особняк сельского джентльмена, довольно величественный, из серого камня, с изваянием герба над парадным входом и оконными рамами со средниками. Их честолюбивой мечтой было заработать достаточно денег, чтобы переехать в него жить. Они много говорили на эту тему. По их разговорам выходило, что ни он, ни она не собираются вступать в брак, а навсегда останутся друг с другом, словно все уже решено и подписано. Это было несколько странно, учитывая их юные годы.

— А сколько им тогда было? — поинтересовался я.

— Если не ошибаюсь, ему двадцать пять или двадцать шесть, ей на год больше. Когда я впервые приехал в Сибук, они приняли меня с распростертыми объятиями. Я сразу пришелся им по душе. Видите ли, у них оказалось больше общего со мной, чем с большинством тамошних. По-моему, они обрадовались моему появлению. Особой любовью они там не пользовались.

— Почему? — спросил я.

— Они вели довольно замкнутый образ жизни, и было невозможно не видеть, что общество друг друга они предпочитают всем остальным. Не знаю, замечали ли вы, но такое отношение, похоже, всегда вызывает у людей раздражение. Если они чувствуют, что вы прекрасно можете обходиться без них, им это почему-то бывает не по нутру.

— Неприятное чувство, не правда ли? — заметил я.

— Других плантаторов глодала обида, что Тим сам себе хозяин и имеет собственные деньги. Им приходилось до-

вольствоваться стареньким фордом, а Тим разъезжал в классном автомобиле. Посещая клуб, Тим и Оливия бывали со всеми милы, они участвовали в первенствах по теннису и всем прочем, но возникало впечатление, что они с радостью возвращались к себе домой. Они не отказывались от приглашений отобедать и были очень любезны с хозяевами, но было ясно, что они охотней остались бы дома. Здравомыслящий человек не мог поставить им это в вину. Не знаю, часто ли вам доводилось гостить у плантаторов, но в их домах мрачновато. Сплошь грубая мебель, поделки из серебра и тигровые шкуры. И отвратительная еда. А вот Харди оставил свое бунгало довольно красиво. Ничего особо роскошного — все удобно, по-домашнему и уютно. Гостиная — как в английском сельском особнячке. Чувствовалось, что хозяева любят свои вещи и давно с ними сроднились. Бывать в таком доме было одно удовольствие. Бунгало стояло посредине плантации, но на кромке холма, так что за кронами каучуковых деревьев виднелось далекое море. Оливия тщательно следила за садом, он был у нее просто великолепный. В жизни не видел такого разнообразия канн. Обычно я приезжал к ним на субботу и воскресенье. До моря было с полчаса езды, мы брали с собой еду, купались и ходили под парусом. У Тима была маленькая шлюпка. Славные были дни. Я и не представлял, что можно так наслаждаться жизнью. Там прекрасное побережье, мы и вправду проводили время в высшей степени романтично. А затем, вечерами, раскладывали пасьянсы, играли в шахматы или заводили граммофон. Еда тоже была чертовски отменная — приятное разнообразие по сравнению с обычным тамошним рационом. Оливия научила повара готовить итальянские блюда, и мы с огромным наслаждением уплетали макароны, ризотто¹, клецки и другие подобные кушанья. Я против воли завидовал их жизни, безмятежной и радостной, а когда они заводили разговор про то, чем займутся, насовсем возвратившись в Англию, я обычно вставлял, что они всегда будут вздыхать о здешней жизни.

«Здесь мы очень счастливы», — говорила Оливия.

У нее была обаятельная манера поглядывать на Тима, искоса бросая из-под длинных ресниц долгий взгляд.

¹ Блюдо из риса на мясном бульоне с тертым сыром и специями.

В собственном доме они держались совсем по-другому, чем за его стенами, — раскованно и сердечно. Это все признавали; должен сказать, что люди любили у них бывать. Они частенько приглашали гостей. У них был особый дар, благодаря которому гости чувствовали себя легко и свободно. Очень счастливый был дом, если вы знаете, что я хочу сказать. Все, понятно, видели, что они друг к другу очень привязанны, — это бросалось в глаза. И что бы там ни болтали про их высокомерие и эгоизм, людей не могла не трогать их взаимная нежность. Говорили, что будь они мужем и женой — и то бы не жили дружнее, а поглядеть на иные супружеские пары, так сравнение напрашивалось само собой: рядом с ними большинство браков смотрелись не лучшим образом. Одни и те же мысли, казалось, приходили к ним одновременно. У них были свои, непонятные для других шутки, над которыми они смеялись, как дети. Они так мило опекали друг друга, были такие веселые и счастливые, что в их обществе человек — как бы это лучше сказать — и вправду отдыхал душой. Других слов не найти. Погостив у них пару дней, ты, уезжая, чувствовал, что отчасти проникся их безмятежностью и мягкой радостью. Словно промыл душу родниковой водой. Как будто от чего-то очистился.

Столь восторженные речи были необычны для Фезерстоуна. В своем нарядном белом коротком пиджаке того фасона, что прозывается «зад застудишь», он выглядел таким собранным, усы у него были так ровно подстрижены, а густые курчавые волосы так тщательно расчесанны, что высокопарные его излияния слегка меня ошарашили. Я, однако, сообразил, что на свой неумелый лад он пытается выразить нечто глубоко прочувствованное.

— Как она выглядела, Оливия Харди? — спросил я.

— Сейчас покажу, у меня много любительских снимков.

Он встал, подошел к полке и вернулся с толстым альбомом. Обычный набор — посредственные фотографии различных компаний, неприкрашенное сходство отдельных снимков людей с оригиналами. Снимались в купальных костюмах, в шортах или теннисной форме, лица у всех, как правило, перекошены из-за яркого солнца или в морщинках и складках от смеха. Я узнал Харди: за десять лет он не очень изменился, непокорная прядь и тогда свисала ему

на лоб. Поглядев на снимки, я яснее его припомнил. Они запечатлели его молодым, милым и полным сил. Лицо его привлекало живостью черт, чего я как раз не отметил тогда в клубе. В глазах искрилась и плясала жажда жизни, что было видно даже на выцветшем снимке. Я взглянул на фотографию его сестры. Купальник хорошо обрисовывал ее ладную, крепко сложенную, но при этом тонкую фигуру. Ноги у нее были длинные и стройные.

— Они были довольно похожи, — заметил я.

— Да, хотя она была годом старше, они вполне могли сойти за близнецов — до того были похожи. У обоих один и тот же овал лица, одинаковая бледная кожа, никакого румянца, одни и те же ласковые карие глаза, удивительно чистые и подкупающие, так что становилось понятно: как бы они себя не вели, сердиться на них просто невозможно. И оба отличались врожденным изяществом, благодаря чему могли носить что угодно, позволять себе неряшливость в одежде — и все равно очаровательно выглядеть. Теперь-то, думаю, он утратил это качество, а ведь оно у него было, было когда мы познакомились. Они всегда напоминали мне брата с сестрой из «Двенадцатой ночи»¹. Вы понимаете, о ком я.

— Виолу и Себастиана.

— Они, казалось, не полностью принадлежали нашему времени. Было в них что-то елизаветинское². У меня возникло ощущение — думаю, не только по молодости лет, — что они какие-то удивительно романтические. Их было легко представить живущими в Иллирии³.

Я еще раз глянул на один из снимков.

— У девушки, судя по ее виду, характер был много тверже, чем у брата, — заметил я.

— Много тверже. Не знаю, назвали бы вы Оливию прекрасной, но она была страшно привлекательной. В ней чув-

¹ Комедия У. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно».

² То есть относящееся к эпохе правления (1558—1603) английской королевы Елизаветы I.

³ Историческая область на северо-западе Балканского полуострова от среднего течения Дуная до Адриатического моря, населенная иллирийцами — обширной группой индоевропейских племен; незадолго до начала новой эры была завоевана римлянами.

ствовала поэзия, своего рода лирическое начало, оно окрашивало ее движения, поступки, все-все. Оно как бы приподнимало ее над будничными заботами. В лице у нее было столько искренности, в манере держаться столько смелости и независимости, что... ну, не знаю, а только обычная красота выглядела по сравнению с этим пресной и плоской.

— Вы говорите так, словно были в нее влюблены, — вставил я.

— Конечно, был. Я думал, вы сразу догадаетесь. Я был в нее по уши влюблен.

— Любовь с первого взгляда? — улыбнулся я.

— Да, пожалуй, но с месяц или около того я этого не понимал. А когда меня вдруг осенило, что мое чувство к ней — не знаю, как лучше описать, это было какое-то оглушительное смятение, завладевшее всем моим существом, — что это любовь, тут я понял, что оно возникло с самого начала. И не в одной миловидности было дело, хотя она была невероятно пленительна, не в белой бархатной коже, не в том, как на лоб падали волосы, и не в сдержанном очаровании ее карих глаз — нет, тут было нечто большее. Когда она была рядом, возникало ощущение благодати, вы чувствовали, что можно дать себе отдых, быть самим собой и не притворяться кем-то другим. Чувствовали, что она не способна на подлость. Было невозможно представить, чтобы она могла завидовать или злобствовать. Она, казалось, обладала природной щедростью души. В ее обществе вы могли промолчать добрый час и, однако, почувствовать, что прекрасно провели время.

— Редкий дар, — заметил я.

— Она была чудесным товарищем. Стоило что-нибудь предложить, как она с радостью соглашалась. Я в жизни не встречал девушки покладистой. Вы могли подвести ее в самую последнюю минуту, и, как бы она ни огорчалась, это не имело последствий. При следующей встрече она была все та же сердечность и безмятежность.

— Почему вы на ней не женились?

У Фезерстоуна потухла сигара. Он выбросил окурочек и не спеша зажег новую. Он не торопился с ответом. Человеку, живущему в высокоцивилизованной стране, может показаться странным, что Фезерстоун решил поделиться сокровенным с лицом посторонним; мне это странным не показав-

лось. Со мной такое случалось не впервой. Люди отчаянно одинокие, живущие в удаленных уголках земли, находят облегчение в том, чтобы поведать кому-нибудь, с кем скорее всего больше не встретятся, тайну, которая, возможно, долгие годы днем давила на мысли, а ночами — на сны. Подозреваю, что уже одно то, что вы писатель, вызывает таких людей на откровенность. Они чувствуют, что их рассказ пробудит у вас бескорыстный интерес, и поэтому легче будет раскрыть перед вами душу. К тому же, как все мы знаем по личному опыту, рассказывать о своей особе всегда приятно.

— Почему вы на ней не женились? — спросил я.

— Я об этом мечтал, — ответил Фезерстоун после долгого молчания, — но не решался сделать предложение. Она была со мной неизменно мила, мы легко находили общий язык, были добрыми друзьями, и все же меня никогда не оставляло чувство, что ее окружает какая-то тайна. Хотя она была такой простой, такой искренней и естественной, в ней все время ощущалось глубоко запрятанное ядрышко отчужденности, как будто в своей святой святых она хранила — нет, не загадку, но некую неприкосновенность души, до которой никто из смертных не был допущен. Не знаю, может, я говорю непонятно.

— Мне кажется, я понимаю.

— Я объяснял это ее воспитанием. О матери они не говорили, но у меня почему-то возникло впечатление, что она была из тех невротических, легковозбудимых женщин, что разрушают собственное счастье и портят кровь своим близким. Я подозревал, что во Флоренции она жила довольно беспорядочной жизнью, и это натолкнуло меня на мысль, что в основе восхитительной безмятежности Оливии кроется огромное усилие воли и что ее отчужденность не более чем своего рода стена, которой она отгородилась от познания всего постыдного в жизни. И уж конечно, эта ее отчужденность брала в плен. Если бы она вас полюбила и вы на ней женились, вам, в конце концов, удалось бы добраться до скрытых корней ее тайны, — от такой мысли сладко заходило сердце, и вы понимали, что когда б вы поделили с ней эту тайну, это стало бы исполнением всех ваших самых заветных желаний. Бог с ним, с райским блаженством. Но знаете, это так же не давало мне жить, как запретная комната в замке — жене Синей Бороды. Пере-

до мной открывались все комнаты, но я бы ни за что не успокоился, не проникнув в ту, последнюю, что была на запоре.

Я заметил на стене под потолком чик-чака, головоастую домашнюю ящерку коричневого цвета. Это мирная маленькая тварь, увидеть ее в доме — добрая примета. Она, замев, следила за мухой. Внезапно она рванулась, но муха улетела, и ящерка, как-то судорожно дернувшись, опять застыла в странной неподвижности.

— Я не решался и еще по одной причине. Меня пугало, что, если я сделаю ей предложение, а она откажет, мне больше не позволят так запросто наведываться к ним в гости. Этого я решительно не хотел, я страшно любил там бывать. Ее общество дарило мне счастье. Но вы знаете, как оно бывает — иной раз невозможно удержаться. Я таки сделал ей предложение, правда, это получилось почти случайно. Как-то вечером после обеда мы сидели вдвоем на веранде, и я взял ее за руку. Она тут же спрятала руку.

«Зачем вы так?» — спросил я.

«Не люблю, когда ко мне прикасаются, — ответила она, с улыбкой повернувшись ко мне вполоборота. — Вы обиделись? Не обращайтесь внимания, такая уж у меня прихоть, и с этим ничего не поделать».

«Неужели вам ни разу не пришло в голову, что я в вас ужасно влюблен?» — произнес я. Боюсь, вышло жутко нескладно, но до этого мне не доводилось предлагать руку и сердце, — заметил Фезерстоун не то со смешком, не то со вздохом. — А по-честному, я и после не делал никому предложений. С минуту она помолчала, потом сказала:

«Я очень рада, но хотела бы, чтобы этим вы и ограничились».

«Почему?»

«Я не могу бросить Тима».

«А если он женится?»

«Он никогда не женится».

Я уже зашел достаточно далеко, поэтому решил не останавливаться. Но в горле у меня так пересохло, что говорил я с трудом. Меня била нервная дрожь.

«Оливия, я вас безумно люблю. Больше всего на свете мне хочется, чтобы вы за меня вышли».

Она легко коснулась моей руки — так падает на землю цветок.

«Нет, милый, я не могу», — сказала она.

Я молчал. Мне было трудно произнести то, что хотелось. Я по натуре довольно застенчив. Она была девушкой. Не мог же я объяснять ей, что жить с мужем и жить с братом — не совсем одно и то же. Она была нормальным здоровым человеком; ей, должно быть, хотелось иметь детей; было неразумно подавлять свои естественные инстинкты. Нельзя было так расточать молодые годы. Но она первой нарушила молчание.

«Давайте больше не будем об этом, — сказала она. — Договорились? Раз или два мне показалось, что вы, возможно, равнодушны ко мне. Тим тоже заметил. Я огорчилась, испугавшись, что это положит конец нашей дружбе. Я этого не хочу, Марк. Мы же прекрасно ладим друг с другом, все трое, нам так весело вместе. Не представляю, как мы будем обходиться без вас».

«Я тоже думал об этом», — согласился я.

«По-вашему, все должно кончиться?» — спросила она.

«Дорогая моя, я этого не хочу, — ответил я. — Вы, верно, знаете, до чего мне приятно к вам приходить. Я еще нигде не чувствовал себя таким счастливым».

«Вы на меня не сердитесь?»

«С какой стати? Это не ваша вина. Просто вы меня не любите. Любили бы — и думать забыли про Тима».

«Вы просто прелесть», — сказала она, обвила мою шею рукой и коснулась губами щеки. Мне показалось, что для нее это внесло в наши отношения окончательную ясность. Меня приняли в дом на правах второго брата.

Через несколько недель Тим отплыл в Англию. Съемщик их дома в Дорсете собирался выезжать, и хотя на его место уже имелся желающий, Тим решил, что ему лучше самому приехать и лично обо всем договориться. Заодно он собирался приобрести кое-какое оборудование для плантации. По его расчетам, он должен был задержаться в Англии месяца на три, не больше, и Оливия решила не ехать. В Англии у нее знакомых почитай что и не было, для нее это, можно сказать, была чужая страна, она не возражала пожить одной и приглядеть за плантацией. Конечно, они могли оставить вместо себя управляющего, но это было бы уже не то. Цена на каучук падала, и кому-то из них не мешало быть на месте на всякий случай. Я обещал Тиму за ней присмотреть — если я ей понадоблюсь, мне всегда можно позвонить. Брачное мое предложение не имело ровным счетом никаких

последствий. Мы продолжали вести себя так, как будто его и не было. Я даже не знаю, сказала ли она о нем Тиму. Он не подал и вида, что знает. Я, понятно, любил ее по-прежнему, но свои чувства держал при себе. Самообладания мне, как известно, не занимать. Я понимал, рассчитывать не на что — и только надеялся, что со временем моя любовь претворится во что-то другое и мы станем самыми добрыми друзьями. Как ни странно, но, представьте, любовь так и осталась любовью. Видимо, она пустила слишком глубокие корни, чтобы ее можно было полностью вытравить.

Она отбыла в Пенанг с Тимом проводить его на пароход; когда она вернулась, я встретил ее на вокзале и отвез домой. В отсутствие Тима я не мог позволить себе заявляться туда с ночевкой, но по воскресеньям приезжал к позднему завтраку, после которого мы отправлялись на море купаться. Знакомые, проявляя участие, приглашали ее пожить у них, но она отклоняла приглашения. Она редко покидала плантацию. Дел у нее хватало. Она много читала. Ей никогда не бывало скучно, одиночество ее вполне устраивало, а если она и принимала гостей, то лишь потому, что так было принято. Ей не хотелось прослыть неблагодарной. Но удовольствия ей это не доставляло, и она говорила мне, что облегченно вздыхает, когда уходят последние гости и она вновь остается сама с собой в блаженном одиночестве бунгало. Очень странная она была женщина. Непонятно, как можно было в ее годы пренебрегать вечеринками и прочими скромными развлечениями, какие мог предложить наш городишко. В духовном плане, — вы понимаете, что я имею в виду, — она полагалась исключительно на саму себя. Не знаю, откуда пошло, что я в нее влюблен; по-моему, я не выдал себя ни словом, ни взглядом, однако же мне то там, то тут намекали, что это не тайна. Я заключил, что все считают, будто Оливия не уехала в Англию только из-за меня. Одна из дам, некая миссис Серджисон, жена шефа полиции, даже спросила, когда они будут иметь удовольствие меня поздравить. Я, естественно, сделал вид, будто не понимаю ее намеков, но она мне не больно поверила. Все это невольно меня забавляло. Мысль обо мне как о возможном муже была настолько чужда Оливии, что, уверен, она и думать забыла о моем предложении. Не могу утверждать, чтобы она была со мной жестока, по-моему, она вообще была неспособна на жестокость; но она обходилась со мной с

той легкой небрежностью, с какой сестры подчас относятся к младшим братьям. Она была старше меня года на два или на три. Она всегда бурно радовалась моим приездам, но ни разу не подумала чем-нибудь ради меня поступиться; со мной она держалась поразительно задушевно, но это получалось у нее само собой, понимаете, так обычно ведешь себя с человеком, которого знаешь всю жизнь и с которым в голову не придет манерничать. Для нее я был отнюдь не мужчиной, а чем-то вроде старого жакета, который носишь не снимая, потому что в нем легко и удобно и можно делать любую работу. Я был бы последним кретином, когда б не видел, что любовью тут и не пахнет.

В один прекрасный день, недели за три-четыре до возвращения Тима, я приехал к ней и заметил, что она плакала. Меня это ошеломило — она всегда держала себя в руках, я ни разу не видел ее расстроенной.

«Вот те на, что случилось?» — спросил я.

«Ничего».

«Не запирайтесь, милая, — сказал я. — Почему вы плакали?»

Она попыталась улыбнуться и ответила:

«И зачем только вы такой наблюдательный! По-моему, я веду себя глупо, но только что пришла телеграмма от Тима. Он сообщает, что задерживается».

«Господи, какая жалость, — сказал я. — Вы, верно, жутко огорчились».

«Я каждый денечек считала. Мне так его не хватает».

«Он объяснил, почему задерживается?»

«Нет, сообщил, что напишет в письме. Я покажу телеграмму».

Я видел, что она очень переживает. Ее обычно спокойный медлительный взгляд был исполнен страха, между бровями обозначилась тревожная складка. Она вышла в спальню и вернулась с телеграммой. Читая, я чувствовал на себе ее беспокойный взгляд. Насколько я помню, текст был такой: «Дорогая отплыть седьмого не получается тчк Пожалуйста прости тчк Подробности письмом тчк Нежно люблю Тим».

«Что ж, возможно, оборудование, за которым он отправился, еще не готово, а без него он не решился отплыть», — предположил я.

«Разве его нельзя было отправить другим рейсом, попозже? Оно все равно еще проваляется в Пенанге».

«Может, задержка связана с домом».

«Тогда почему было так и не сказать? Ведь знает же, что я себе места не нахожу».

«Да он просто не подумал, — заметил я. — В конце концов, до уехавшего не всегда доходит, что оставшиеся могут не знать того, что для него само собой разумеется».

Она снова улыбнулась, уже веселее.

«Пожалуй, вы правы. Вообще-то это похоже на Тима, он всегда отличался легкомыслием и небрежностью. Пожалуй, я и вправду делаю из мухи слона. Наберусь терпения и стану ждать письма».

Самообладания Оливии было не занимать; у меня на глазах она усилием воли взяла себя в руки. Складочка между бровями разгладилась, она вновь стала сама собой — безмятежной, улыбающейся, сердечной. Ей вообще была свойственна мягкость, но в тот день ее небесная кротость просто ошеломляла. Однако же после я не мог не заметить, что она обуздывает беспокойство только тем, что постоянно вызывает к своему здравому смыслу. Ее, видимо, одолевали дурные предчувствия. Они не покинули ее и накануне того дня, как должна была прийти почта из Англии. Тревога ее тем более вызвала сострадание, что она изо всех сил пыталась ее скрыть. Я бывал занят по «почтовым» дням, но обещал заехать на плантацию ближе к вечеру узнать новости. Я уже собрался отправиться, когда саис¹ Харди прибыл в автомобиле с настоятельной просьбой от амы² немедленно ехать к хозяйке. Ама была достойная пожилая женщина; я еще раньше вручил ей пару долларов, сказав, чтобы она сразу же мне сообщила, если на плантации что случится. Я бросился к своей машине. Ама поджидала меня на ступеньках.

«Утром пришло письмо», — сказала она.

Я не стал дальше слушать и взбежал по ступенькам. В гостиной никого не было.

«Оливия», — позвал я.

Выйдя в коридор, я услышал звуки, от которых сердце у меня екнуло. Ама — она шла за мной по пятам — открыла дверь в спальню Оливии. То, что я слышал, были ее рыдания. Я вошел. Она лежала на постели лицом вниз, все ее тело сотрясало от рыданий. Я положил руку ей на плечо.

¹ Саис (*инд.*) — конюх, грум; здесь — шофер.

² Ама (*инд.*) — кормилица, няня; горничная, камеристка.

«Что случилось, Оливия?»

«Кто тут?» — вскрикнула она, вскочив на ноги, словно до смерти перепугалась. И затем: «А, это вы». Она стояла передо мной, закинув голову и закрыв глаза, и слезы бежали у нее по щекам. Жуткое зрелище. «Тим женился», — всхлипнула она, и лицо у нее исказилось от боли.

Должен признаться, меня на мгновение охватило ликование, словно в сердце ударило током; меня осенило, что теперь появился шанс и она вдруг да захочет за меня выйти. Знаю, с моей стороны это был чудовищный эгоизм, но вы должны понять, что новость застала меня врасплох. Впрочем, это длилось всего мгновение; меня растрогало ее страшное горе, и осталась только глубокая жалость к несчастной женщине. Я обнял ее за талию.

«Господи, вот напасть-то, — сказал я. — Пойдемте-ка отсюда в гостиную, вы сядете, и мы обо всем поговорим. А я вам чего-нибудь налью».

Она позволила отвести себя в соседнюю комнату, и мы уселись на диван. Я велел аме принести виски и сифон, смешал порцию покрепче и заставил Оливию пригубить. Я обнял ее и положил ее голову себе на плечо. Все это она покорно сносила. По ее сведенному горем лицу струились крупные слезы.

«Как он мог? — стонала она. — Как он мог?»

«Дорогая моя, — произнес я, — рано или поздно это должно было случиться. Он человек молодой. Не могли же вы рассчитывать, что он так и будет ходить холостым. Что он женился — это только естественно».

«Нет, нет, нет», — всхлипывала она.

В кулаке у нее я заметил скомканное письмо и понял, что оно от Тима.

«Что он пишет?» — спросил я.

Она испуганно дернулась и прижала письмо к груди, словно решила, что я хочу его отнять.

«Пишет, что ничего не мог поделать. Пишет, что выхода у него не было. Что это значит?».

«Ну, понимаете, — он по-своему такой же привлекательный, как вы сами. В нем много очарования. Вероятно, он безумно влюбился в какую-то девушку, а она в него».

«Он такой слабовольный», — простонала она.

«Они приезжают?» — спросил я.

«Вчера отплыли. Он пишет, что это ничего не изменит. Он с ума сошел. Разве я смогу здесь остаться?»

Она истерически расплакалась. Было мучительно видеть, как ее, обычно такую сдержанную, раздражают чувства. Я всегда подозревал, что за ее восхитительной безмятежностью скрывается способность к сильным переживаниям. Однако меня просто убило самозабвение, с каким она предавалась своему горю. Держа ее в объятиях, я покрывал поцелуями ее глаза, ее мокрые щеки, ее волосы. По-моему, она не понимала, что я делаю. Да и сам я вряд ли понимал, до того глубоко я был тронут.

«Что мне делать?» — запричитала она.

«Выйти за меня замуж».

Она попыталась высвободиться из моих объятий, но я не позволил.

«В конце концов, это решит все проблемы», — сказал я.

«Как я могу выйти за вас? — простонала она. — Я на несколько лет вас старше».

«Ну, это сущие пустяки — какие-нибудь два-три года. Что мне за дело до такой чепухи?»

«Нет, нет».

«Но почему?» — настаивал я.

«Я вас не люблю», — ответила она.

«Ну и что? Зато я вас люблю».

Не помню, что я ей пел. Я заявил, что постараюсь сделать ее счастливой. Я сказал, что никогда не попрошу у нее того, чего она не в состоянии дать. Я говорил и говорил. Я попытался воззвать к ее здравому смыслу. Я видел, что ей не хочется там оставаться, жить рядом с Тимом, и заверил ее, что скоро получу перевод в другой округ. Я подумал, может, хоть это ее соблазнит. Она не может не согласиться, что мы с ней всегда отлично ладили. Она, похоже, немного утихла. Я почувствовал, что она прислушивается к моим словам. Больше того, мне показалось — она понимает, что я ее обнимаю, и это ее утешает. Я заставил ее отхлебнуть еще капельку виски. Дал ей сигарету. Наконец я решил, что можно позволить себе чуть-чуть пошутить.

«Честное слово, не так уж я плох, — заявил я. — Могли бы нарваться на кого и похуже».

«Вы меня не знаете, — сказала она. — Вы обо мне ничегошеньки не знаете».

«Я схватываю на лету», — возразил я.

Она слабо улыбнулась.

«Вы ужасно добрый, Марк».

«Оливия, скажите — да», — умолял я.

Она глубоко вздохнула и долго не поднимала глаз. Но и не шевелилась, я ощущал ее мягкое тело в своих объятиях. Я ждал. Нервы у меня были напряжены до предела, время, казалось, застыло на месте.

«Хорошо», — молвила она наконец, словно и не заметила, что между моей мольбой и ее ответом прошло столько времени.

Я был так взволнован, что не нашел нужных слов. Но когда я попытался поцеловать ее в губы, она отвернулась и не позволила. Я предложил сразу и пожениться, но тут она решительно воспротивилась и настояла, чтобы мы подождали до возвращения Тима. Вы знаете — порой читаешь чужие мысли яснее, чем если бы их произнесли вслух; я видел — она не может до конца поверить в то, что Тим написал ей правду, и все еще цепляется за жалкую надежду, что тут какая-то ошибка и вдруг да он по-прежнему неженат. Это меня уязвило, но я так ее любил, что смирился. Я был готов снести от нее что угодно. Я ее обожал. Она не позволила даже рассказать кому-нибудь о нашей помолвке, взяла с меня клятву, что я ни словом о ней не обмолвлюсь, пока Тим не вернется. Она заявила, что не вынесет даже мысли о поздравлениях и всем остальном. Объявить о женитьбе Тима — она и этого мне не дала. Уперлась — и все. У меня сложилось впечатление, что она решила: если о его женитьбе станет известно, та превратится в свершившийся факт, а этого ей как раз и не хотелось.

Но тут уж от нее ничего не зависело. На Востоке новости распространяются неисповедимыми путями. Не знаю, какие слова вырвались у Оливии, когда она прочитала письмо, но ама, видимо, их услышала; во всяком случае, саис Харди рассказал саису Серджисонов, и стоило мне после этого появиться в клубе, как на меня набросилась миссис Серджисон.

«Я слышала, Тим Харди женился», — заявила она.

«Вот как?» — ответил я с непроницаемым видом, не желая ввязываться в обсуждение.

Она улыбнулась и сообщила, что, как только узнала от своей амы об этом слухе, сразу позвонила Оливии спросить, правда ли это. Оливия ответила довольно невразумительно, Подтвердить не подтвердила, но сказала, что Тим прислал ей письмо с известием о женитьбе.

«Странная она девушка, — заметила миссис Серджисон. — Когда я спросила о подробностях, она сказала, что таковыми не располагает, а когда спросила: «У тебя дух не захватывает?» — то вообще не ответила».

«Оливия предана Тиму, миссис Серджисон, — возразил я. — Понятно, что его женитьба выбила ее из колеи. Она ничего не знает о жене Тима, поэтому и переживает».

«А когда вы двое намерены пожениться?» — выпалила она.

«Что за нескромный вопрос!» — попробовал я отшутиться.

Она проницательно на меня посмотрела:

«Даєте честное слово, что вы с ней не помолвлены?»

Мне не хотелось ни говорить ей заведомую ложь, ни грубо ее осаживать, но я искренне обещал Оливии хранить молчание до возвращения Тима. Я уклонился от прямого ответа:

«Миссис Серджисон, когда мне будет что сообщить, обещаю, что вы первая об этом узнаете. Сейчас же могу сказать лишь одно: больше всего на свете я хотел бы жениться на Оливии».

«Я рада, что Тим женился, — ответила она на это. — Надеюсь, что и она не преминет выйти за вас. Эта парочка вела там, у себя на плантации, патологически нездоровый образ жизни. Слишком много времени они проводили друг с другом и слишком были друг другом поглощены».

Я виделся с Оливией почти каждый день. Чувствуя, что ей не хочется со мной физической близости, я ограничивался поцелуями при встрече и на прощанье. Она была со мной очень милой, заботливой и доброй; я знал, что она радовалась, когда я приходил, и с сожалением меня отпускала. Обычно она любила помолчать, но в те дни на нее напала разговорчивость, которой я раньше за ней не замечал. Но она ни разу не заговаривала о будущем или о Тиме и его жене. Она много рассказывала о том, как жила с матерью во Флоренции. Вела она там удивительно одинокую жизнь, общаясь в основном со слугами и гувернантками, тогда как матушка, насколько я понял, постоянно меняла любовников, вступая в связь с сомнительными итальянскими графьями и русскими князьями. Я подзревал, что к четырнадцати годам она мало чего не знала о жизни. Для нее было естественным совсем не считаться с

условностями: в том мире, который она только и знала до восемнадцати лет, об условностях не говорили, потому что их не было. Постепенно к Оливии, видимо, вернулась ее безмятежность; я бы даже подумал, что она начала привыкать к мысли о женитьбе Тима, когда б ее бледность и усталый вид не бросались в глаза. Я твердо решил настоять на немедленной свадьбе сразу же после его возвращения. Короткий отпуск я мог получить в любую минуту, а к концу отпуска рассчитывал добиться перевода на новую должность. В чем она нуждалась, так это в смене обстановки.

День прибытия корабля в Пенанг был, конечно, известен, а вот час — нет, и непонятно было, успеет ли Тим на поезд; я отправил письмо агенту «Полуостровного и Восточного пароходства» с просьбой уведомить меня телеграфом, как только он будет знать точное время. Получив телеграмму, я отправился к Оливии; оказалось, ей только что пришла телеграмма от Тима. Корабль пришвартовался утром, Тим должен был приехать на другой день. По расписанию поезд прибывал в восемь утра, но обычно опаздывал, когда на час, а когда и на шесть часов. Я привез Оливию приглашение от миссис Серджисон приехать (я бы ее подвез) и заночевать у нее, с тем чтобы уже быть на месте и отправиться на вокзал, лишь когда станет известно, что поезд на подходе.

У меня с души будто камень свалился. Я думал, что когда удар наконец обрушится, Оливия перенесет его не столь болезненно. Она успела взвинтить себя до такой степени, что, по моим расчетам, пришла пора разрядиться. Может быть, невестка ей даже полюбится. Всем трем ничто не мешало наладить прекрасные отношения. К моему великому удивлению, Оливия заявила, что не поедет встречать их на станцию.

«Они страшно огорчатся», — сказал я.

«Лучше я подожду их здесь, — произнесла она со слабой улыбкой. — И не спорьте, Марк, я твердо решила».

«А я-то велел моему повару приготовить завтрак на всех», — сказал я.

«Вот и хорошо. Вы их встретите, повезете к себе, угостите завтраком, а уж после этого пусть едут сюда. Я, понятно, отправлю за ними машину».

«Не думаю, чтоб они без вас сели завтракать», — возразил я.

«Сядут, будьте уверены. Если поезд не опоздает, им и в голову не придет позавтракать до прибытия, так что они приедут голодные. Им не захочется пускаться в долгую поездку на пустой желудок».

Я ничего не понимал. Она с таким нетерпением ждала возвращения Тима, а вот теперь пожелала дожидаться в одиночестве, пока мы будем ублажать себя завтраком. Странно. Я предположил, что она очень переживает и хочет до самой последней минуты оттянуть встречу с женщиной, которая приехала занять ее место. Это казалось бессмысленным. На мой взгляд, часом раньше или часом позже — погоды не делало, но я знал о женских причудах, да и в любом случае, как я чувствовал, Оливия не в том настроении, чтобы ее уговаривать.

«Позвоните перед выездом, чтобы я знала, когда вас ждать», — попросила она.

«Позвоню, — сказал я, — только вы не забыли, что я не смогу с ними приехать? Сегодня у меня «лахадский» день».

Лахад — это город, куда мне полагалось отправляться раз в неделю слушать дела. Путь туда был неблизкий, к тому же приходилось перебираться паромом через реку, что тоже отнимало время, поэтому возвращался я поздно вечером. Там жили несколько европейцев и был клуб, куда мне тоже, как правило, приходилось заглядывать — пообщаться и посмотреть, все ли в порядке.

«Кроме того, — добавил я, — Тим впервые вводит жену в свой дом, так что мое присутствие едва ли желательно. Вот если вам захочется пригласить меня к обеду, я с удовольствием приеду».

Оливия улыбнулась.

«Боюсь, впредь не мне уже рассылать приглашения, а? Придется вам попросить новобрачную».

Она обронила это так беззаботно, что я возликовал. Наконец-то, подумал я, она решила примириться с изменившимися обстоятельствами, больше того, делала это охотно. Она пригласила меня остаться пообедать. Обычно я уезжал от нее около восьми и обедал дома. В тот вечер она была со мной очень милой, чуть ли не нежной. Таким счастливым я не бывал уже много недель, и никогда еще я не любил ее так безнадежно. За обедом я пропустил пару стаканчиков джина с горькой настойкой и, как мне кажется, был в

ударе. Знаю, мне удалось ее рассмешить. Я почувствовал, что она наконец освобождается от бремени тяжкого горя. Поэтому я и позволил себе не очень серьезно отнестись к тому, что произошло в конце.

«Вам не кажется, что пришло время попрощаться с задержавшейся, как считают, в девичестве дамой?» — спросила она, и спросила так легко и беспечно, что я, не задумываясь, ответил:

«Ох, любимая, вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что от вашего доброго имени хоть что-то осталось. Не может быть, чтобы вы и вправду считали, будто дамы Сибуку не знают о моих ежедневных визитах к вам на протяжении целого месяца. Общее мнение таково, что если мы еще не поженились, то давно пора это сделать. Не кажется ли вам, что неплохо бы объявить им о нашей помолвке?»

«Ну, Марк, не нужно так уж серьезно относиться к нашей помолвке», — возразила она.

Я рассмеялся.

«Как же прикажете мне к ней относиться? Это вполне серьезно».

Она чуть покачала головой:

«Нет. В тот день я была расстроена и не в себе. А вы были со мной очень нежны. Я согласилась, потому что не было сил сказать «нет». Но с тех пор у меня было время прийти в себя. Не считайте меня жестокой. Я ошиблась и очень перед вами виновата. Вы должны меня простить».

«Дорогая, все это вздор. Вам не в чем себя упрекать».

Она пристально на меня посмотрела. Она была совершенно спокойна, в глубине ее глаз даже таилась тень улыбки.

«Я не смогу за вас выйти. Я ни за кого не смогу выйти. С моей стороны глупо было даже подумать об этом».

Я не стал торопиться с ответом. Она была какая-то странная, и я почел за благо не спорить.

«Что ж, не могу же я тащить вас силком к алтарю», — сказал я.

Я протянул ей руку, она вложила в нее свою. Я обнял ее за плечи — она не отстранилась и позволила, как было заведено, поцеловать себя в щеку.

Утром я встречал поезд. В кои веки раз он пришел вовремя. Тим помахал мне из окна, когда его вагон проплывал мимо. Поезд остановился, я подошел; он уже слез и помогал спуститься жене. Он тепло потряс мне руку.

«Где Оливия? — спросил он, скользнув взглядом по перрону. — Познакомьтесь, это Салли».

Я пожал ей руку, одновременно объясняя, почему не приехала Оливия.

«Ей пришлось бы вставать в такую рань, правда?» — сказала миссис Харди.

Я сообщил, что порядок действий таков: они едут ко мне перекусить, а потом отправляются домой.

«Мечтаю о ванне», — сказала миссис Харди.

«Будет вам ванна», — пообещал я.

Она и в самом деле была весьма хорошенькая малышка, очень светлая, с огромными голубыми глазами и прямым очаровательным носиком. У нее была удивительно нежная кожа — розы с молоком. Она, конечно, чуть смахивала по типу на хористку, и ее красота могла бы кое-кому показаться довольно слащавой, но в своем стиле она была обаятельна. Мы поехали ко мне; и он и она приняли ванну, а Тим еще и побрился. Я побыл с ним наедине всего несколько минут. Он спросил, как Оливия отнеслась к его женитьбе. Я ответил, что очень расстроилась.

«Этого я и боялся, — заметил он, нахмурившись, и вздохнул: — Я не мог поступить по-другому».

Я не понял, что он хотел сказать. В эту минуту появилась миссис Харди и взяла мужа под руку. Он взял ее руку в свою, нежно пожал и посмотрел на нее довольным и каким-то насмешливо-любящим взглядом, словно не принимал ее совсем уж всерьез, но получал удовольствие от сознания, что она ему принадлежит, и гордился ее красотой. Она и вправду была миловидной. К тому же отнюдь не робкого десятка и быстро соображала; мы не были знакомы и десяти минут, как она предложила мне звать ее просто Салли. Понятно, они только что приехали, и в ней еще не улеглось возбуждение. Ей не доводилось бывать на Востоке, тут у нее от всего дух захватывало. Было ясно как день, что она по уши влюблена в Тима. Она с него глаз не сводила, ловила каждое его слово. Мы весело позавтракали и распрощались. Они сели в свою машину, чтобы ехать домой, я — в свою, чтобы ехать в Лахад. Оттуда я обещал отправиться прямиком на плантацию, да мне и в самом деле пришлось бы дать большого крюка, чтобы заглянуть к себе. Смену белья я прихватил в машину. Я не видел, почему бы Салли не прийтись Оливии по душе: искренняя, веселая,

остроумная, совсем молоденькая — ей было никак не больше девятнадцати, — а ее чудесная миловидность не могла не тронуть Оливию. Я был рад, что подвернулась уважительная причина на целый день предоставить эту троицу самим себе, однако из Лахада я выехал с мыслью о том, что они обрадуются моему приезду. Я подкатил к бунгало и посигналил, ожидая, что кто-нибудь выйдет навстречу. Ни души. Дом был погружен во мрак. Я удивился. Стояла мертвая тишина. Я ничего не понимал. Они же должны быть у себя. Очень странно, подумал я. Я еще чуточку подождал, вылез из машины и поднялся по ступенькам. На верхней я обо что-то споткнулся, похоже, о тело. Выругавшись, я наклонился и пригляделся. Человек вскрикнул. Я увидел, что это ама. Когда я к ней прикоснулся, она отпрянула, скорчившись от ужаса, и разразилась стенаниями.

«Что случилось, черт побери?» — заорал я. Тут я почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо, и услышал: «Туан, туан»¹. Я обернулся и различил в темноте старшего слугу Тима. Он заговорил придушенным голосом. Я слушал с нарастающим ужасом. То, что он рассказал, было чудовищно. Я оттолкнул его и бросился в дом. В гостиной царил мрак. Я включил свет. Первое, что я увидел, — это съезжившуюся в кресле Салли. Мое внезапное появление испугало ее, она вскрикнула. Я едва мог вымолвить пару слов. Я спросил ее, правда ли это. Она сказала, что да, и комната поплыла у меня перед глазами. Мне пришлось сесть. Когда машина с Тимом и Салли свернула на подъездную дорожку и Тим просигналил, объявляя об их прибытии, а слуги и ама выбежали их встретить, раздался выстрел. Они кинулись в спальню Оливии и увидели ее лежащей перед зеркалом в луже крови. Она застрелилась из револьвера Тима.

«Она умерла?» — спросил я.

«Нет, послали за врачом, он отвез ее в больницу».

Я не соображал, что делаю. Даже не удосужился сообщить Салли, куда еду. Я поднялся и вышел, шатаясь. Усевшись в машину, я велел саису что есть мочи гнать в больницу. Я ворвался в приемный покой и спросил, где она. Меня пытались не пустить, но я всех растолкал. Я знал, где палаты для частных пациентов. Кто-то вцепился мне в руку, я вырвался. До меня смутно дошло, что врач приказал никого

¹ Господин (малайск.).

к ней не пускать. Мне было не до запретов. У двери дежурил санитар; он загородил вход рукой. Я выругался и велел ему убираться. Вероятно, я устроил скандал, но я уже сам себя не помнил. Дверь отворилась, и появился врач.

«Это кто тут шумит? — спросил он. — А, это вы. Что вы хотели?»

«Она умерла?»

«Нет. Но без сознания. Она так и не приходила в себя. Через час-два все будет кончено».

«Я хочу ее видеть».

«Это невозможно».

«Мы с ней помолвлены».

«Помолвлены?! — воскликнул он и так странно на меня посмотрел, что я заметил это даже в тогдашнем моем состоянии. — Тогда тем более».

Я не понял, что он имел в виду, я отупел от этих страшных событий.

«Вы ведь можете как-то ее спасти», — сказал я умоляюще.

Он покачал головой.

«Видели бы вы ее, так не стали бы об этом просить», — произнес он.

Я в ужасе на него уставился. В наступившей тишине я услышал судорожные всхлипывания какого-то мужчины.

«Кто это?» — спросил я.

«Ее брат».

Тут меня тронули за руку. Я обернулся. Это была миссис Серджисон.

«Бедный вы мой, — сказала она, — как я вам сочувствую».

«Почему, почему она это сделала?» — простонал я.

«Уйдемте, голубчик, — сказала миссис Серджисон. — Здесь вы уже ничем не поможете».

«Нет, я должен остаться», — возразил я.

«Что ж, ступайте посидите у меня», — предложил врач.

Я был совсем оглушен и позволил миссис Серджисон отвести меня за руку в личный кабинет врача. Она заставила меня сесть. Я все никак не мог поверить, что это правда. Я внушал себе, что это какой-то чудовищный кошмар, от которого я должен очнуться. Не знаю, сколько мы там просидели. Три часа. Может быть, четыре. Наконец пришел врач.

«Все кончено», — сообщил он.

Тут я не выдержал и разревелся. Меня мало заботило, что они обо мне подумают. Я был в таком горе.

Мы похоронили ее на другой день.

Миссис Серджисон проводила меня до дома и посидела со мной какое-то время. Она хотела, чтобы я пошел с нею в клуб. У меня не хватило духа. Она была само участие, но я вздохнул с облегчением, когда она ушла. Я попробовал читать, однако не понимал ни слова. Внутри у меня все умерло. Вошел слуга, включил свет. Голова у меня раскалывалась от боли. Снова появился слуга и сказал, что меня хочет видеть дама. Я спросил, кто это. Он ответил, что не уверен, но думает, что это новая жена туана с плантации в Путатане. Я не представлял себе, что ей могло от меня понадобиться. Я встал и вышел. Слуга не ошибся. Это была Салли. Я пригласил ее в дом. Я заметил, что она смертельно бледна. Мне ее было жалко. Для девушки ее лет это было скверное испытание, а для новобрачной — жуткий приезд в дом мужа. Она присела. Она была вся на нервах. Чтобы ее успокоить, я принялся говорить банальности. Я чувствовал себя очень неловко, потому что она уставилась на меня своими огромными голубыми глазами, которые просто омертвели от ужаса. Вдруг она меня перебила.

«Кроме вас, я никого тут не знаю, — заявила она. — Больше мне не к кому было идти. Я хочу, чтобы вы меня увезли отсюда».

Я опешил.

«В каком это смысле — увез?» — спросил я.

«Я не хочу, чтобы вы меня расспрашивали. Я хочу одного — чтобы вы меня увезли. Немедленно. Я хочу вернуться в Англию!»

«Но вы не можете сейчас так вот взять да и бросить Тима, — возразил я. — Милая моя, нельзя давать волю нервам. Понимаю, каково вам, но подумайте и о Тиме. То есть для него ваш отъезд будет такое несчастье. Если вы его любите, самое меньшее, что вы можете сделать, — это постараться хоть чуточку облегчить его горе».

«Ох, ничего вы не понимаете, — воскликнула она, — а я не могу объяснить. Это так мерзко. Умоляю — помогите мне. Если есть ночной поезд, посадите меня на поезд. Мне бы только до Пенанга добраться, а там уж я сяду на корабль. Мне не хватит сил провести здесь еще одну ночь. Я сойду с ума».

Я был в полном недоумении.

«Тим знает?» — спросил я.

«Я не видела Тима со вчерашнего вечера. И больше никогда не увижу. Лучше смерть».

Я попытался выиграть время.

«Как вы поедете без вещей? Вы собрали багаж?»

«Какое это имеет значение?! — нетерпеливо возразила она. — Все, что понадобится в дороге, у меня с собой».

«А деньги у вас имеются?»

«Мне хватит. Так есть ночной поезд?»

«Есть, — сказал я. — Приходит в самом начале первого».

«Слава Богу. Вы все уладите? Можно я пока побуду у вас?»

«Вы ставите меня в ужасное положение, — сказал я. — Я не представляю, как тут лучше всего поступить. Вы, знаете ли, делаете крайне серьезный шаг».

«Если б вы все узнали, то сами поняли, что по-другому нельзя».

«Ваш отъезд вызовет здесь грандиозный скандал. Трудно представить, какие пойдут разговоры. Вы подумали о том, каково будет Тиму? — спросил я; мне было тревожно и грустно. — Видит Бог, я не рвусь вмешиваться в то, что меня не касается, но раз вы желаете, чтобы я вам помог, я должен понимать, что к чему, чтобы себя не винить. Вы обязаны мне рассказать, что случилось».

«Не могу. Скажу только, что мне все известно».

Она закрыла лицо руками и вздрогнула. Затем встряхнулась, словно отгоняя от себя нечто непередаваемо мерзкое.

«Не было у него права на мне жениться. Это было чудовищно».

Голос у нее сделался пронзительный и визгливый. Я испугался, что у нее вот-вот начнется истерика. Ее хорошенькое кукольное личико было искажено от ужаса, глаза не мигая уставились в одну точку.

«Вы его больше не любите?» — спросил я.

«После такого?»

«Что вы будете делать, если я не стану вам помогать?»

«Надеюсь, тут есть священник или врач. Уж проводить-то вы меня проводите, не откажетесь».

«Как вы сюда добрались?»

«Привез старший слуга. Он откуда-то раздобыл машину».

«Тим знает, что вы уехали?»

«Я оставила ему записку».

«Он узнает, что вы у меня».

«Он не будет пытаться мне помешать. Это я вам обещаю. Он не посмеет. Ради всего святого, не пытайтесь и вы. Говорю вам, еще одна ночь здесь — и я сойду с ума».

Я вздохнул. В конце концов, она была достаточно взрослая, чтобы распоряжаться собой.

Я, записавший все это, долго молчал.

— Вы поняли, что она имела в виду? — наконец спросил я Фезерстоуна.

Он посмотрел на меня долгим измученным взглядом.

— Она могла иметь в виду только одно, то, о чем нельзя сказать вслух. Да, я понял, можете не сомневаться. Это все объясняло. Бедная Оливия. Бедная моя любимая. Вероятно, я забыл тогда о логике и здравом смысле, но эта хорошенькая белокурая малышка с затравленными глазами в ту минуту вызывала у меня одно отвращение. Я ее ненавидел. Я помолчал, потом сказал, что сделаю все, как она хочет. Она даже не сказала «спасибо». По-моему, она догадалась о моих чувствах. Когда пришло время обедать, я заставил ее поесть. Она спросила, не найдется ли комнаты, где она смогла бы прилечь до того, как нужно будет ехать на станцию. Я отвел ее в свободную спальню и оставил одну. Сам я уселся в гостиной и принялся ждать. Господи, как же медленно тянулось время. Я думал, часы никогда не пробьют двенадцать. Я позвонил на вокзал, мне сказали, что поезд придет около двух ночи. В полночь она пришла в гостиную, мы прождали с ней полтора часа. Говорить нам было не о чем, поэтому мы молчали. Потом я отвез ее на вокзал и посадил на поезд.

— А грандиозный скандал — он был или нет?

Фезерстоун скривился.

— Не знаю. Я уехал в краткосрочный отпуск, а после получил назначение на новое место. До меня дошли слухи, что Тим продал плантацию и купил другую, но я не знал, где именно. Когда я его здесь увидел, я сначала просто опешил.

Фезерстоун встал, подошел к столу и налил себе виски с содовой. В наступившем молчании я услышал монотонное

кваканье лягушачьего хора. И тут с дерева неподалеку от дома подала голос птица, которую в здешних краях прозвали «птичка-лихорадка». Сперва три ноты в понижающейся хроматической гамме, затем пять, затем четыре. Ноты, меняясь, следовали одна за другой с тупым упорством, против воли заставляя прислушиваться и вести им счет. Поскольку же угадать их число было никак невозможно, это было форменной пыткой.

— Будь она проклята, эта птица, — сказал Фезерстоун. — Значит, мне ночью не спать.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Лишь очень немногие, вероятно, знают, как случилось, что миссис Альберт Форрестер написала «Статую Ахиллеса»; а поскольку эту книгу причислили к лучшим романам нашего времени, я смею думать, что краткий отчет об обстоятельствах, при которых она появилась на свет, будет небезынттересен для каждого серьезного литературоведа; в самом деле, если этой книге, как утверждают критики, суждена долгая жизнь, нижеследующий рассказ послужит цели более достойной, чем ненадолго развлечь скучающего читателя: будущий историк, возможно, усмотрит в нем любопытный комментарий к литературной летописи наших дней.

Все, конечно, помнят, какой огромный успех «Статуя Ахиллеса» имела у публики. Из месяца в месяц наборщики без усталы набирали, а переплетчики без усталы переплетали одно издание за другим; издательы как в Англии, так и в Америке едва поспевали выполнять срочные заказы книгопродавцев. Роман был немедленно переведен на все европейские языки, а недавно стало известно, что скоро его можно будет прочесть по-японски и на урду. Но сперва он печатался по частям в журналах на обоих берегах Атлантического океана, и с издательы этих журналов агент миссис Форрестер содрал сумму, которую нельзя назвать иначе как сногшибательной. Переделанный в пьесу, он целый сезон не сходил со сцены в Нью-Йорке, и в Лондоне постановка эта будет, несомненно, иметь столь же бурный успех. Право экранизации уже продано за огромную цену. Хотя сплетники (из литературных кругов), обсуждая гоно-
рар миссис Форрестер, наверняка преувеличивают цифру,

однако можно не сомневаться, что на одной этой книге она заработает достаточно денег, чтобы безбедно прожить остаток своих дней.

Редкая книга встречает одинаково благосклонный прием у читателей и у критики, и миссис Форрестер должно бы доставить особенное удовольствие, что именно ей удалось, если можно так выразиться, найти квадратуру круга; ибо хотя критики и раньше не скупились на похвалы (она даже привыкла принимать это как должное), но публика почему-то никак не могла оценить ее по достоинству. Каждая новая ее книга — изящный томик в белом матерчатом переплете, набранный прекрасным шрифтом, — объявлялась шедевром в рецензии, занимавшей ровно один столбец, а в еженедельных обзорах, которые можно увидеть только в пыльной библиотеке какого-нибудь солидного клуба, — даже страницу; и все тонкие ценители читали книгу и хвалили ее. Но тонкие ценители, очевидно, не покупают книг, и творения миссис Форрестер не расходились. В самом деле, это был просто позор — пошлая чернь не желала замечать писательницу, обладающую таким прихотливым воображением, таким утонченным стилем! В Америке ее и вовсе почти не знали, и, хотя мистер Карл ван Вектен¹ написал статью, в которой порицал читающую публику за ее косность, читающая публика осталась равнодушна. Агент миссис Форрестер, горячий поклонник ее таланта, пригрозил одному американскому издателю, что, если тот не напечатает две ее книги, не видать ему других (скорей всего, каких-то ерундовых романчиков), за которыми он охотился; и эти две книги были опубликованы. Пресса дала на них лестные отзывы, тем доказав, что и в Америке лучшие умы не безразличны к ее таланту; однако, когда зашел разговор о третьей книге, американский издатель (со свойственной издателям грубостью) заявил агенту, что предпочитает истратить лишние деньги на выпивку.

После появления «Статуи Ахиллеса» прежние книги миссис Форрестер были переизданы (и мистер Карл ван Вектен написал новую статью, в которой с грустью, но твердо указал, что еще пятнадцать лет назад пытался привлечь внимание читающего мира к исключительным достоинствам

¹ Американский критик и писатель, хорошо известный в 20—30-х годах нашего века.

автора), и рекламировались они так широко, что едва ли могли ускользнуть от внимания интеллигентного читателя. Поэтому мне нет нужды о них распространяться, тем более что это были бы только перепевы мастерских статей мистера Карла ван Вектена.

Писать миссис Форрестер начала с ранних лет. Первая ее книжка (сборник элегий) вышла в свет, когда она была восемнадцатилетней девицей; и с тех пор каждые два-три года — она не торопилась, ибо уважала свое творчество — она печатала либо томик стихов, либо томик прозы. Ко времени написания «Статуи Ахиллеса» она достигла почтенного возраста — пятидесяти семи лет, — из чего явствует, что и сочинений у нее набралось немало. Она подарила миру пять или шесть сборников стихов, озаглавленных полатами, например «*Felicitas*», «*Rax Maris*», «*Aes Triplex*»¹, и очень серьезных, ибо ее муза, не склонная являться к ней «стопой воздушной, точно в танце», шествовала несколько тяжелою поступью.

Она осталась верна элегии, много внимания уделяла сонету, но главной ее заслугой было возрождение оды — поэтического жанра, которым наши современники пренебрегают, и можно с уверенностью сказать, что ее «Ода президенту Фальберу» войдет во все антологии английской поэзии. Она пленяет не только благородной звучностью стиха, но также на редкость удавшимся описанием прекрасной Франции. О долине Луары, овеянной памятью Дю Белле², о Шартре и витражах его собора, о солнечных городах Прованса миссис Форрестер пишет с теплым чувством, тем более примечательным, что сама она не бывала во Франции дальше Булони, куда вскоре после свадьбы ездила на экскурсионном пароходе из Маргета. Но физические страдания, вызванные морской болезнью, и моральная травма, причиненная открытием, что жители этого много посещаемого приморского курорта не понимают ее, когда она бегло и свободно изъясняется по-французски, подсказали ей решение — впредь не подвергать себя столь неприятным и бесславным испытаниям; и она действительно больше никогда не вверялась коварной пучине, которую, однако, продолжала воспевать («*Rax Maris*») «в стихах и сладостных и стройных».

¹ «Счастье», «Морская тишь», «Тройная броня» (лат.).

² Французский поэт XVI века.

«Ода Вудро Вильсону» тоже местами очень хороша, и мне жаль, что поэтесса, изменив свое отношение к этому превосходному человеку, не пожелала включить ее в новое издание. Но ярче всего, думается мне, миссис Альберт Форрестер проявила себя в прозе. Она написала несколько томов коротких, но безупречно построенных эссе на такие темы, как «Осень в Сассексе», «Королева Виктория», «О смерти», «Весна в Норфолке», «Архитектура эпохи Георгов», «Месье Дягилев и Данте», а также труды, сочетающие большую эрудицию и полет фантазии, о иезуитской архитектуре XVII века и о Столетней войне в ее литературном аспекте. Именно своей прозой она обязана тем, что около нее образовался кружок преданных почитателей (немногочисленных, но избранных, как сама она выразилась с присущей ей меткостью), объявивших ее непревзойденным в нашем веке мастером английского языка. Она и сама признавала, что главное ее достоинство — это стиль, пышный, но хлесткий, отточенный, но не сухой, и только в прозе мог проявиться тот восхитительный, хоть и сдержанный, юмор, который ее читатели находили неотразимым. Это был не юмор мыслей и даже не юмор слов; это было нечто куда более тонкое — юмор знаков препинания: в какую-то вдохновенную минуту она постигла, сколько уморительных возможностей таит в себе точка с запятой, и пользовалась ею часто и искусно. Она умела поставить ее так, что читатель, если он был человек культурный и с чувством юмора, не то чтобы катался от хохота, но посмеивался тихо и радостно, и чем культурнее был читатель, тем радостнее он посмеивался. Ее друзья утверждали, что всякий другой юмор кажется после этого грубым и утрированным. Некоторые писатели пытались подражать ей, но тщетно; в чем бы ни упрекать миссис Форрестер, бесспорным остается одно: из точки с запятой она умела выжать весь юмор до последней капли, и никто не мог с ней в этом сравниться.

Миссис Форрестер занимала квартиру неподалеку от Мраморной Арки, сочетавшую в себе два преимущества: прекрасный район и умеренную плату. В квартире была большая гостиная окнами на улицу и просторная спальня для миссис Форрестер, темноватая столовая окном во двор и тесная спальня рядом с кухней — для мистера Альберта Форрестера, в чьи обязанности входило платить за квартиру.

В гостиной миссис Форрестер по вторникам принимала гостей. Комната была обставлена строго и целомудренно. Обои, сделанные по рисунку самого Уильяма Морриса; по стенам меццо-тинто в простых черных рамках, собранные еще до того, как меццо-тинто поднялись в цене. Мебель чиппендейльская — вся, кроме бюро с выдвижной крышкой, в котором было нечто от стиля Людовика XVI и за которым миссис Форрестер писала свои сочинения. Его показывали каждому гостю, приходившему сюда впервые, и мало кто, глядя на него, не испытывал глубокого волнения. Ковер был толстый, лампы неяркие. Миссис Форрестер сидела в кресле с прямой спинкой, обитом темно-красным кретоном. В этом не было ничего показного, но, поскольку других удобных кресел в комнате не имелось, это как бы создавало дистанцию между ней и гостями. Чай разливала некая особа неопределенного возраста, бесцветная и бессловесная; ее ни с кем не знакомили, но было известно, что она считает за честь предоставленную ей возможность извлекать миссис Форрестер от нудной обязанности поить гостей чаем. Последняя могла, таким образом, целиком посвящать себя разговору, а послушать ее, безусловно, стоило. Рассуждения ее не отличались чрезмерной живостью; и, поскольку голосом трудно изобразить точку с запятой, им, возможно, недоставало юмора, но она могла беседовать о многих предметах со знанием дела, поучительно и интересно. Миссис Форрестер была неплохо осведомлена в социологии, юриспруденции и богословии. Она много прочла и обладала цепкой памятью. Она всегда умела привести цитату, — а это хорошая замена собственному остроумию, — и за те тридцать лет, что была знакома, более или менее близко, с множеством выдающихся людей, накопила множество забавных анекдотов, которые рассказывала, тактично скрывая истинных героев, и повторяла не чаще, чем могли выдержать слушатели. Миссис Форрестер умела привлекать к себе самых разнообразных людей, и в ее гостиной можно было встретить одновременно бывшего премьера, владельца газеты и посла одной из великих держав. Мне всегда казалось, что эти важные лица бывали у нее потому, что воображали, будто здесь они общаются с богемой, но с богемой такой опрятной и чистенькой, что нет опасности о нее запачкаться. Миссис Форрестер всерьез интересовалась политикой, и я сам слышал, как один министр так

прямо и сказал ей, что у нее мужской склад ума. В свое время она была против предоставления женщинам избирательного права, но, когда они наконец получили это право, стала подумывать, не выставить ли ей свою кандидатуру в парламент. Одно лишь ее смущало — какую партию выбрать.

— В конце концов, — говорила она, кокетливо поводя несколько грузными плечами, — не могу же я образовать партию из одной себя.

Не будучи уверенной, как повернутся события, она, подобно многим искренним патриотам, не торопилась определить свои политические взгляды; но за последнее время она все больше склонялась к лейборизму, усматривая в нем наилучший путь для Англии; и кой у кого создалось впечатление, что, если ей будет предложен надежный избирательный округ, она не колеблясь выступит в защиту прав угнетенного пролетариата.

Двери ее гостиной были широко открыты для иностранцев — для чехов, итальянцев и французов, если они чем-нибудь успели прославиться, и для американцев, даже безвестных. Но снобизмом она не грешила, и герцог мог появиться в ее гостиной, только если был сугубо интеллектуальной натурой, а супруга пэра — только если вдобавок к титулу могла предъявить какое-нибудь легкое отклонение от светских приличий — например, если в прошлом была разведена, или написала роман, или подделала подпись на чеке, что и давало ей основание рассчитывать на снисходительную терпимость хозяйки дома. Художников миссис Форрестер недолюбливала за молчаливость и робость; музыканты ее не интересовали: даже если они соглашались поиграть у нее — а знаменитости чаще всего играть отказывались, — их музыка мешала разговору; кому нужна музыка, те пусть идут на концерт; она же предпочитает более изысканную музыку души. Зато писателям, особенно многообещающим и малоизвестным, она неизменно оказывала самое теплое гостеприимство. Она чутьем угадывала талант, и среди писателей с именем, которые время от времени заходили к ней на чашку чаю, почти не было таких, кому она не помогла бы на первых порах советом и добрым словом. Собственное ее положение было так прочно, что исключало даже мысль о зависти, а слово «талант» так часто связывали с ее именем, что ее ни капельки не обижало, когда

другим талант приносил коммерческий успех, не выпавший ей на долю.

Уверенная в признании потомков, миссис Форрестер могла позволить себе такую роскошь, как бескорыстие. Нужно ли удивляться после всего этого, что ей удалось создать самое близкое подобие французского салона XVIII столетия, какое возможно в нашей варварской стране. Приглашение «на чашку чаю с булочкой» во вторник было честью, от которой мало кто отказывался; и, сидя на чиппендейлском стуле в строгой гостиной с затененными лампами, всякий невольно ощущал, что на его глазах творится история литературы. Американский посол выразился однажды так:

— Чашка чаю у вас в гостиной, миссис Форрестер, — это лучшая интеллектуальная пища, какую мне доводилось вкушать.

Иногда все это действовало даже слегка угнетающе. Вкус у миссис Форрестер был такой безупречный, она так безошибочно знала, чем и в каких выражениях восторгаться, что порой вам просто не хватало воздуха. Я, например, считал за благо подкрепиться коктейлем, прежде чем вдохнуть разреженную атмосферу ее салона. Однажды мне даже грозила опасность быть навсегда из него изгнанным: явившись как-то в гости, я задал горничной, отворившей мне дверь, не стандартный вопрос: «Миссис Форрестер дома?», а другой: «Богослужение сегодня состоится?»

Разумеется, это была чистая оплошность с моей стороны, но, на беду, горничная фыркнула, а как раз в эту минуту Эллен Ханнеуэй, одна из самых преданных почитательниц миссис Форрестер, снимала в передней ботики. Когда я вошел в гостиную, она уже успела передать мои слова хозяйке дома, и та устремила на меня орлиный взор.

— Почему вы спросили, состоится ли сегодня богослужение? — осведомилась она.

Я объяснил, что всегда был рассеян, однако миссис Форрестер продолжала сверлить меня глазами.

— Может быть, мои приемы кажутся вам... — она не сразу нашла нужное слово, — сакраментальными?

Я не понял ее, но, не желая, чтобы столько умных людей сочли меня невеждой, решил, что единственное мое спасение — в беспардонной лести.

— Ваши приемы, дорогая миссис Форрестер, так же прекрасны и божественны, как вы сами.

По внушительной фигуре миссис Форрестер пробежала легкая дрожь. Словно человек неожиданно очутился в комнате, полной гиацинтов — аромат их так пьянит, что начинает кружиться голова. Однако она сменила гнев на милость.

— Если вы в шутовском настроении, — сказала она, — то, прошу вас, шутите лучше с моими гостями, а не с горничными... Ну, садитесь, мисс Уоррен нальет вам чаю.

Мановением руки миссис Форрестер отпустила меня, но моей шутки она не забыла: в последующие два-три года, знакомя меня с кем-нибудь, она неизменно добавляла:

— Имейте в виду, он приходит сюда только каяться в грехах. Когда ему отворяют дверь, он всегда спрашивает: «Богослужение сегодня состоится?» Вот шутник, правда?

Но миссис Форрестер не ограничивала свои приемы еженедельными чаепитиями: каждую субботу у нее устраивался завтрак на восемь персон; это число она считала идеальным для общей беседы, и к тому же оно диктовалось скромными размерами ее столовой.

Если миссис Форрестер чем-нибудь гордилась, так это не своим знанием английской просодии, а именно своими завтраками. Гостей она подбирала тщательно, и приглашение к ней на завтрак было не только лестно, это был своего рода ритуал посвящения. Разговор в высоком плане легче вести за столом, чем рассеявшись по всей гостиной, и после такого завтрака всякий, вероятно, уходил от миссис Форрестер более, чем когда-либо, убежденный в ее одаренности и проникнутый более крепкой верой в человеческую природу. Приглашала она одних мужчин, ибо, хоть и высоко ценила женщин и в других случаях охотно с ними общалась, все же сознавала, что за столом женщина любит разговаривать исключительно со своим соседом слева или справа, а это мешает общему обмену мыслями, благодаря которому ее завтраки становятся праздниками не только для желудка, но и для души. А надо сказать, что кормили у миссис Форрестер необычайно вкусно, вина были лучшей марки и сигары первоклассные. Это должно удивить всякого, кому случалось пользоваться гостеприимством литераторов: ведь обычно мысли их возвышенны, а жизнь проста; занятые духовными материями, они не замечают, что баранина не прожарилась, а картофель остыл; пиво у них еще туда-сюда, но вино действует отрезвляюще, а кофе лучше и не пробовать.

Миссис Форрестер не скрывала своего удовольствия, когда гости расхваливали ее завтраки.

— Если люди оказывают мне честь, преломляя со мною хлеб, — говорила она, — я просто обязана кормить их не хуже, чем они могли бы поесть у себя дома.

Но чрезмерную лесть она пресекала.

— Вы, право же, конфузите меня, да и похвалы ваши не по адресу — благодарите миссис Булфинч.

— Кто это миссис Булфинч?

— Моя кухарка.

— Не кухарка, а сокровище! Но ведь вы не станете утверждать, что она и вина тоже выбирает?

— А вам понравились? Я в этих вещах ровно ничего не понимаю: я целиком полагаюсь на своего поставщика.

Но если речь заходила о сигарах, миссис Форрестер расплывалась в улыбке.

— А за это скажите спасибо Альберту. Сигары покупает Альберт, и мне говорили, что никто так замечательно не разбирается в сигарах.

Она смотрела через стол на своего мужа блестящими, гордыми глазами, какими породистая курица (скажем, орпингтон) смотрит на своего единственного цыпленка. И тут поднимался оживленный, многоголосый говор — это гости, до сих пор тщетно искавшие случая проявить вежливость по отношению к хозяину дома, осыпали его комплиментами.

— Вы очень добры, — отвечал он. — Я рад, что они пришились вам по вкусу.

После этого он произносил небольшую речь о сигарах — объяснял, какие свойства он в них особенно ценит, и сетовал на снижение качества, вызванное массовым производством. Миссис Форрестер слушала его с умиленной улыбкой, и было видно, что его маленький триумф ее радует. Разумеется, нельзя говорить о сигарах без конца, и, заметив, что гости начинают поеживаться, она тотчас переводила разговор на что-нибудь другое, более интересное и значительное. Альберт умолкал. Но этой минуты торжества уже нельзя было у него отнять.

Из-за Альберта кое-кто находил, что завтраки миссис Форрестер не так приятны, как ее чаепития, ибо Альберт невыносим; но она, хоть и должна была это знать, не желала без него обходиться, и даже завтраки свои именно потому

устроивала по субботам, что в остальные дни он был занят. По мнению миссис Форрестер, участие ее мужа в этих пиршествах было некоей данью ее самоуважению. Она ни за что не призналась бы, что вышла замуж за человека, уступающего ей по духовному богатству, и, возможно, бессонными ночами размышляла о том, могла ли бы она вообще найти себе равного. Друзей миссис Форрестер подобные соображения не смущали, и они открыто ужасались, что такая женщина обременила себя таким мужчиной. Они спрашивали друг друга, как она могла выйти за него, и (будучи сами по большей части холосты) отвечали, что вообще невозможно понять, почему люди женятся и выходят замуж.

Не то чтобы Альберт был болтлив или назойлив; он не утомлял вас бесконечными рассказами, не изводил плоскими шутками; не распиная вас на трюизмах и не мучил прописными истинами — он просто был скучен. Пустое место. Клиффорд Бойлстон, постигший все тайны французских романтиков и сам даровитый писатель, сказал однажды, что, если заглянуть в комнату, куда только что вошел Альберт, там никого не окажется. Друзья миссис Форрестер нашли, что это очень остроумно, и Роза Уотерфорд, известная романистка и бесстрашная женщина, рискнула пересказать это самой миссис Форрестер. Та сделала вид, что рассердилась, но не могла удержаться от улыбки. Сама она обращалась с Альбертом так, что за это друзья уважали ее еще больше. Пусть думают о нем, что хотят, но они должны оказывать ему всяческое почтение, как ее супругу. Собственное ее поведение было выше всяких похвал. Если Альберт о чем-нибудь заговаривал, она слушала его доброжелательно, а когда он приносил ей нужную книгу или подавал карандаш, чтобы она могла записать внезапно возникшую мысль, всегда благодарила его. Друзьям ее тоже не разрешалось пренебрегать им, и, хотя, будучи женщиной тактичной, она понимала, что повсюду возить его с собой значило бы злоупотреблять чужой любезностью, и много выезжала одна, все же друзья ее знали, что не реже одного раза в год им следует приглашать его к обеду. Когда она ехала на официальный банкет, где ей предстояло произнести речь, он всегда сопровождал ее, а если она читала лекцию, то не забывала достать ему пропуск на эстраду.

Альберт был, вероятно, среднего роста, но рядом со своей крупной и внушительной супругой — а без нее его и

вообразить было невозможно — казался низеньким. Он был узкоплеч, худощав и выглядел старше своих лет; они с женой были ровесниками. Волосы, седые и жидкие, он стриг очень коротко и носил седые усы щеткой; его худое морщинистое лицо не было ничем примечательно; голубые глаза, в прошлом, возможно, красивые, казались выцветшими и усталыми. Одет он бывал безупречно: серые брюки в полосу, черная визитка и серый галстук с небольшой жемчужной булавкой. Он всегда держался в тени, и, когда он, стоя в гостиной миссис Форрестер, встречал гостей, приглашенных ею к завтраку, он так же мало бросался в глаза, как спокойная, корректная мебель. Воспитан он был прекрасно и пожимал гостям руки с учтивой улыбкой.

— Здравствуйте, очень рад вас видеть, — говорил он, если это были старые знакомые. — Надеюсь, вы в добром здравье?

Если же это были важные иностранцы, появившиеся в доме впервые, он подходил к ним, едва они переступали порог гостиной, и сообщал:

— Я — муж миссис Альберт Форрестер. Позвольте представить вас моей жене.

После чего подводил гостя к миссис Форрестер, стоявшей спиной к свету, и та спешила навстречу с радостным приветствием на устах.

Приятно было видеть, как скромно он гордится литературной славой жены и как ненавязчиво печется о ее интересах. Он умел вовремя появиться и вовремя исчезнуть. Он обладал тактом — если не выработанным, то врожденным. Миссис Форрестер первая признавала его достоинства.

— Просто не знаю, что бы я без него делала, — говорила она. — Это золотой человек. Я читаю ему все, что пишу, и замечания его часто бывают очень полезны.

— Мольер и его кухарка, — сказала мисс Уотерфорд.

— По-вашему, это смешно, милая Роза? — спросила миссис Форрестер не без сарказма.

Когда миссис Форрестер не одобряла чьих-нибудь слов, она имела обыкновение спрашивать, не шутка ли это, которой она по тупости своей не поняла, и многих таким образом смущала. Но смутить мисс Уотерфорд было невозможно. Эта леди за свою долгую жизнь испытала много увлечений, но всего одну страсть — к литературе. Миссис Форрестер не столько одобряла ее, сколько терпела.

— Бросьте, дорогая, — возразила мисс Уотерфорд, — вы прекрасно знаете, что без вас он был бы ничто. Он не был бы знаком с нами. Подумайте, какое это для него счастье — общаться с самыми умными и интересными людьми нашего времени.

— Пчела, возможно, погибла бы, не будь у нее улья, но и пчела имеет ценность сама по себе.

Поскольку друзья миссис Форрестер превосходно разбирались в искусстве и литературе, но в естественных науках смыслили мало, ее замечание осталось без ответа. А она продолжала:

— Он никогда мне не мешает. Он чувствует, когда меня нельзя беспокоить. Более того, если я что-нибудь обдумываю, мне даже приятно, что он в комнате.

— Как персидская кошка, — сказала мисс Уотерфорд.

— Но очень благонравная и благовоспитанная персидская кошка, — строго возразила миссис Форрестер и тем поставила-таки мисс Уотерфорд на место.

Но миссис Форрестер еще не исчерпала свою тему.

— Мы, люди интеллектуальные, — сказала она, — склонны слишком замыкаться в своем мире. Абстрактное интересует нас больше, чем конкретное, и порой мне думается, что мы взираем на сутолоку человеческих дел слишком издалека, с очень уж безмятежных высот. Вам не кажется, что нам грозит опасность несколько очерстветь? Я всегда буду признательна Альберту за то, что благодаря ему не теряю связи с рядовым человеком.

После этой тирады, которой, как и многим другим ее высказываниям, никак нельзя было отказать в проницательности и тонкости, Альберта некоторое время называли в ее тесном кружке не иначе как «Рядовой человек». Но это вскоре позабылось, а потом его прозвали Филателистом. Кличку эту выдумал остроумный и злой Клиффорд Бойлстон. Однажды, истощив все доступные ему возможности разговора с Альбертом, он с горя спросил:

— Вы не собираете марки?

— Нет, — кратко отвечал Альберт. — К сожалению, не собираю.

Но Клиффорд Бойлстон, едва задав свой вопрос, усмотрел в нем интересные возможности. Его перу принадлежала книга о тетке жены Бодлера, привлекавшая внимание всех, кто интересуется французской литературой, и было известно,

что, годами изучая дух французской нации, он и сам приобрел немалую долю галльской живости ума и галльского блеска. Пропустив ответ Альберта мимо ушей, он при первом же удобном случае сообщил друзьям миссис Форрестер, что наконец открыл, в чем тайна Альберта. Альберт собирает марки. После этого он всякий раз при встрече спрашивал его: «Ну, мистер Форрестер, как ваша коллекция?» Или: «Приобрели вы какие-нибудь интересные марки с тех пор, как мы с вами виделись?»

Тщетно Альберт продолжал твердить, что не собирает марок, — из такой удачной выдумки нужно было извлечь максимум; все друзья миссис Форрестер включились в игру и, обращаясь к Альберту, редко забывали спросить про его коллекцию. Даже миссис Форрестер, будучи в особенно веселом настроении, иногда называла мужа Филателистом. Прозвище это как-то удивительно подходило Альберту. Иногда его называли так прямо в глаза, и все вынуждены были оценить, как благодушно он это принимает; он улыбался без всякой обиды, а скоро даже перестал уверять, что они ошибаются.

Конечно, миссис Форрестер слишком уважала светские приличия и слишком дорожила успехом своих завтраков, чтобы сажать самых почетных своих гостей рядом с Альбертом. Это было уделом более старых и близких друзей, и, встречая намеченную жертву, она говорила:

— Вы ведь не против того, чтобы сидеть с Альбертом?

Гостю оставалось только ответить, что он очень рад, а если он не мог скрыть своего огорчения, она кокетливо похлопывала его по руке и добавляла:

— В следующий раз вы будете сидеть со мной. Альберт так стесняется незнакомых, а вы так замечательно умеете к нему подойти.

Да, друзья миссис Форрестер это умели: они просто игнорировали его. С тем же успехом они могли бы сидеть возле пустого стула. Он не выказывал ни малейшего недовольства тем, что эти люди его не замечают, хоть и угощаются за его счет, ведь на заработки миссис Форрестер никак нельзя было бы предложить гостям весенней лосося и ранней спаржи. Он сидел и молчал, а если открывал рот, так только для того, чтобы отдать распоряжение горничной. Если же он видел гостя впервые, то внимательно разглядывал его, но это не казалось невежливым, потому

что взгляд у Альберта был совсем детский. Он словно спрашивал себя, что это за диво; но как разрешалось его недоумение — этого он не сообщал никому. Когда завязывалась оживленная беседа, он переводил взгляд с одного из говоривших на другого, но и тут по выражению его худого, морщинистого лица невозможно было догадаться, что он думает об этом фантазмагорическом обмене мнениями.

Клиффорд Бойлстон уверял, что все их умные речи и блестящие остроты перекачиваются через него, как вода через спину утки. Он уже отчаялся что-либо понять и теперь только делает вид, что слушает. Но Гарри Окленд, критик с широким диапазоном, утверждал, что Альберт не упускает ни слова; для него все это просто откровение, и он, бедняга, из всех сил старается понять хотя бы часть тех интереснейших вещей, которые при нем говорят. А в Сити он, наверно, хвалится своими образованными знакомыми, там он, может быть, слывет знатоком по части литературы и философии — вот бы его послушать! Гарри Окленд был одним из самых верных почитателей миссис Форрестер и автором блестящего эссе о ее стиле. Тонким, даже красивым лицом он походил на святого Себастьяна, которого подвело слишком сильно действующее средство для рашения волос, — ибо волосат он был необычайно. Ему не было еще и тридцати лет, но он уже успел показать себя как театральный критик, литературный критик, музыкальный критик и критик живописи. Теперь, немного устав от искусства, он грозил в дальнейшем посвятить свой талант критике спорта.

Следует пояснить, что Альберт был коммерсантом и, к несчастью (которое миссис Форрестер, по мнению ее друзей, переносила с похвальной стойкостью), не был даже особенно богат. Будь он одним из тех магнатов коммерции, что держат в своих руках судьбы целых народов или посылают корабли, нагруженные экзотическими пряностями, в порты Леванта, чьи названия дали поэтам столько редких и звучных рифм, — в этом хоть было бы что-то романтическое. Но Альберт всего лишь торговал коринкой, и доходов его, надо думать, как раз хватало на то, чтобы миссис Форрестер могла жить красиво и ни в чем себя не стесняя. Так как он был занят в конторе до шести часов, то на вторники миссис Форрестер попадал уже после ухода самых важных гостей. В ее салоне к этому времени обычно

оставалось лишь трое или четверо близких друзей, с большим юмором перемывавших косточки отбывшим, и, услышав, как Альберт поворачивает ключ в замке, они все разом приходили к мысли, что время уже позднее. Через минуту он приотворял дверь и заглядывал в комнату. Миссис Форрестер встречала его радостной улыбкой.

— Входи, входи, Альберт. По-моему, ты тут со всеми знаком.

Альберт входил и пожимал руки друзьям своей жены.

— Ты прямо из Сити? — спрашивала она, хотя прекрасно знала, что больше прийти ему неоткуда. — Хочешь чашку чаю?

— Нет, спасибо, милая. Я выпил чаю в конторе.

Миссис Форрестер улыбалась еще радостнее, и гости отмечали про себя, как славно она с ним обращается.

— Но я ведь знаю, что ты с удовольствием выпьешь еще чашечку. Давай я сама тебе налью.

Она подходила к чайному столику и, забыв, что чай подан полтора часа назад и давно остыл, наливала ему чашку, клала сахару и добавляла молока. Альберт благодарил, брал чашку и начинал тихонько помешивать чай, но, когда миссис Форрестер возобновляла беседу, прерванную его приходом, незаметно отставлял чашку в сторону. Гости же, восприняв его появление как сигнал, начинали прощаться. Один раз, правда, разговор шел такой увлекательный и на такую важную тему, что миссис Форрестер просто не позволила им уйти.

— Нужно решить это раз и навсегда. И как-никак, — добавила она не без лукавства, — у Альберта может быть свое мнение на этот счет. Послушаем, что он скажет.

В то время в моду входила стрижка, и спор шел о том, остричься миссис Форрестер или нет. Выглядела миссис Форрестер внушительно. У нее была широкая кость, и при том отнюдь не только кости да кожа. Не будь она такого высокого роста, ее можно было бы заподозрить в тучности. Но полнота нисколько ее не портила. Черты лица у нее были крупноваты, чем, видимо, и объяснялась почти мужская интеллектуальность выражения. Смуглая кожа наводила на мысль, что среди ее предков были левантинцы; сама она признавалась, что чувствует в себе цыганскую кровь и, вероятно, поэтому в ее поэзии порой прорывается дикая и необузданная страстность. Глаза у нее были большие,

черные, блестящие, нос — как у герцога Веллингтона, только более мясистый, подбородок квадратный, решительный. Ее полные губы алели без помощи губной помады — миссис Форрестер не снисходила до косметики; а волосы — густые, без блеска седые волосы — были уложены на макушке, отчего она казалась еще выше ростом. В общем, внешность у нее была импозантная, чтобы не сказать — устрашающая.

Одевалась она всегда к лицу, в дорогие ткани темных тонов, и весь ее облик говорил о том, что она причастна к литературе. Однако по-своему (ибо человеческая суетность не была ей чужда) она следовала моде, и платья на ней всегда бывали новейших фасонов. Я подозреваю, что ее уже давно подмывало остричься, но ей казалось, что приличнее будет сделать это не по собственному почину, а по просьбе друзей.

— Непременно, непременно! — сказал Гарри Оклэнд по-мальчишески упрямо. — Вы будете просто изумительны.

Клиффорд Бойлстон, работавший теперь над книгой о мадам де Ментенон, держался иного мнения. Он считал, что это опасный эксперимент.

— По-моему, — говорил он, протирая пенсне батистовым платком, — раз создав какой-то тип, нужно его держать. Чем был бы Людовик XIV без парика?

— Право, не знаю, — сказала миссис Форрестер. — Нельзя все-таки отставать от века. Я современная женщина и хочу идти в ногу со своим временем. Америка, как сказал Вильгельм Мейстер, — это «здесь и сейчас». — Она с улыбкой повернулась к Альберту. — Что скажет по этому поводу мой господин и повелитель? Как ты думаешь, Альберт? Остричься или нет, вот в чем вопрос.

— Боюсь, дорогая, что мое мнение не так уж важно, — ответил он кротко.

— Для меня оно очень, очень важно, — любезно возразила миссис Форрестер.

И почувствовала, как всех восхищает ее обращение с Филателистом.

— Я настаиваю, — не унималась она. — Настаиваю. Никто не знает меня так, как ты, Альберт. Пойдет мне стрижка?

— Возможно, — отвечал он. — Я только опасаюсь, как бы при твоей... монументальной внешности короткие волосы

не вызвали в представлении... ну, скажем, «те солнечные острова, где гимн любви Сапфо слагала».

Последовала неловкая пауза. Роза Уотерфорд подавилась смешком, остальные хранили гробовое молчание. Улыбка миссис Форрестер застыла у нее на губах. Да, Альберт отличился!

— Я всегда считала Байрона очень посредственным поэтом, — сказала наконец миссис Форрестер.

Гости разошлись. Миссис Форрестер не остриглась, и этой темы в ее гостиной больше не касались.

Событие, имевшее столь важные последствия для литературной карьеры миссис Форрестер, тоже произошло на одном из ее вторников, уже под самый конец.

То был один из удачнейших ее вечеров. Приезжал лидер лейбористской партии, и миссис Форрестер дала ему понять (оставив себе, однако, путь для отступления), что готова связать свою судьбу с лейбористами. Если уж она решит делать политическую карьеру, выбирать нужно сейчас, не то будет поздно. Клиффорд Бойлстон привозил члена Французской академии, и хотя миссис Форрестер было известно, что по-английски он не знает ни слова, все же она с удовольствием выслушала его любезный комплимент по поводу ее стиля — одновременно и пышного и строгого. Приезжал американский посол, а также некий молодой русский князь, который сильно смахивал бы на платного танцора в ресторане, если бы в его жилах не текла кровь Романовых. Очень милостиво держала себя некая герцогиня, которая недавно развелась со своим герцогом и вышла замуж за жокея; герцогское ее достоинство, хоть и сильно потускневшее, несомненно, придало изысканность всему сборищу. Просверкала целая плеяда литературных светил. Теперь все они уже разъехались, и в гостиной остались только Клиффорд Бойлстон, Гарри Окленд, Роза Уотерфорд, Оскар Чарлз и Симмонс. Оскар Чарлз был маленький человечек, еще молодой, но с морщинистым лицом хитрой обезьянки; для заработка он служил в каком-то правительственном учреждении, свободные же часы посвящал литературе. Он писал статьи для дешевых еженедельников и энергично презирал все на свете. Миссис Форрестер он нравился — она считала его талантливым, — но он несколько отпугивал ее своей резкостью, несмотря на то, что безмерно восхи-

шался ее стилем (он-то, кстати сказать, и назвал ее мастером точки с запятой).

Симмонс был ее агент; на круглом его лице блестели очки с очень сильными стеклами, совершенно менявшими форму глаз, — глядя на них, вы вспоминали глаза какого-то нелепого ракообразного, которое видели в аквариуме. Он всегда бывал на вечерах миссис Форрестер отчасти потому, что преклонялся перед ее талантом, отчасти же потому, что мог завязать в ее гостиной новые деловые знакомства. Миссис Форрестер, для которой он уже давно трудился за более чем скромное вознаграждение, с радостью предоставляла ему эту возможность заработать и, рассыпаясь в благодарностях, знакомила его со всяким, у кого мог найтись литературный товар на продажу. Она даже гордилась тем, что именно в ее гостиной впервые были оценены мемуары леди Сент-Свизн, наделавшие впоследствии столько шуму и обогатившие издателей.

Итак, усевшись в кружок, центром которого была миссис Форрестер, они оживленно, и, надо признать, не без ехидства, обсуждали одного за другим всех уехавших гостей. Мисс Уоррен, бледная особа, два часа простоявшая на ногах у чайного столика, молча обходила комнату, собирая пустые чашки. Она где-то кем-то служила, но всегда могла освободиться, чтобы разливать чай гостям миссис Форрестер, а по вечерам перепечатывала на машинке ее рукописи. Миссис Форрестер не платила ей за это, справедливо полагая, что бедняжка и так многим ей обязана; но она отдавала ей бесплатные билеты в кино, которые ей присылали, и нередко дарила какие-нибудь предметы одежды, когда считала, что самой ей они больше не нужны.

Миссис Форрестер говорила что-то своим низким, звучным голосом, остальные внимательно слушали. Она была в ударе, и слова, лившиеся из ее уст, можно было бы печатать без всяких поправок. Вдруг в коридоре раздался стук, словно упало что-то тяжелое, а вслед за тем — громкая перебранка.

Миссис Форрестер умолкла, и благородное чело ее слегка нахмурилось.

— Пора бы им знать, что я не терплю, когда в квартире шумят. Мисс Уоррен, будьте добры, позвоните и выясните, что там творится.

Мисс Уоррен позвонила, и через минуту вошла горничная. Мисс Уоррен вполголоса заговорила с ней у двери,

чтобы не перебивать миссис Форрестер. Но та с некоторым раздражением сама себя перебила.

— Что там такое, Картер? Может быть, рушится дом или это наконец разразилась революция?

— Простите, мэм, это сундук новой кухарки. Швейцар уронил его, когда вносил в квартиру, а она испугалась, ну и расстроилась.

— Какая еще новая кухарка?

— А миссис Булфинч сегодня уехала, мэм, — сказала горничная.

Миссис Форрестер с удивлением на нее поглядела.

— В первый раз слышу. Разве она предупреждала, что уходит? Как только придет мистер Форрестер, скажите ему, что мне нужно с ним поговорить.

— Слушаю, мэм.

Горничная вышла, мисс Уоррен медленно вернулась к чайному столику и машинально налила несколько чашек, хотя пить никому не хотелось.

— Какое несчастье! — воскликнула мисс Уотерфорд.

— Вы должны ее вернуть, — сказал Клиффорд Бойлстон. — Ведь эта женщина — чистое сокровище, она готовит замечательно, и притом все лучше и лучше.

Но тут опять вошла горничная и подала хозяйке письмо на подносыке.

— Что это? — спросила миссис Форрестер.

— Мистер Форрестер, мэм, велел, чтобы, когда вы его спросите, передать вам это письмо.

— А где же мистер Форрестер?

— Мистер Форрестер уехал, мэм, — отвечала горничная, словно удивленная этим вопросом.

— Уехал? Хорошо. Можете идти.

Горничная вышла, а миссис Форрестер, всем своим большим лицом выражая недоумение, вскрыла письмо. Роза Уотерфорд рассказывала мне потом, что первой ее мыслью было: наверно, Альберт, убоявшись гнева своей супруги, вызванного уходом миссис Булфинч, решил утопиться в Темзе. Миссис Форрестер прочла письмо, и на лице ее изобразился ужас.

— Это чудовищно! — вскричала она. — Чудовищно!

— Что случилось, миссис Форрестер?

Миссис Форрестер несколько раз топнула ногой по ковру, как застоявшаяся норовистая лошадь, и, скрестив на

груди руки жестом, не поддающимся описанию (но знакомым всякому, кто видел рыночную торговку, изготовившую кого-то обляять), обратила взор на своих встревоженных и заинтригованных друзей.

— Альберт сбежал с кухаркой.

Все дружно ахнули. А потом случилось нечто страшное. Мисс Уоррен, стоявшая у чайного столика, вдруг поперхнулась. Мисс Уоррен, которая никогда не открывала рта и с которой никто не разговаривал, мисс Уоррен, которую они не узнали бы на улице, хотя видели ее каждую неделю в течение трех лет, мисс Уоррен вдруг разразилась безудержным смехом. Все как один оглянулись и растерянно воззрились на нее. Так, должно быть, изумился Валаам, когда заговорила его ослица. Мисс Уоррен хохотала все громче. Это было жуткое зрелище, точно нарушился извечный закон природы, и впечатление производило такое же, как если бы столы и стулья, внезапно сорвавшись с места, пустились выплясывать какой-то причудливый танец. Мисс Уоррен старалась сдержаться, но, чем больше она старалась, тем безжалостнее сотрясал ее смех, и наконец она схватила платок и, засунув его в рот, выбежала из комнаты. Дверь захлопнулась.

— Истерика, — сказал Клиффорд Бойлстон.

— Разумеется, истерика, — сказал Гарри Окленд.

Но миссис Форрестер не сказала ничего.

Письмо, выпавшее из ее рук, лежало на полу. Симмонс поднял его и подал ей. Она отмахнулась.

— Прочтите, — сказала она. — Прочтите вслух.

Мистер Симмонс сдвинул очки на лоб, поднес письмо близко к глазам и прочел следующее:

«Моя дорогая!

Миссис Булфинч нуждается в перемене обстановки и решила от нас уехать, а так как мне не хочется оставаться без нее, я тоже уезжаю. С меня довольно, я по горло сыт литературой и искусством.

Миссис Булфинч не настаивает на законном браке, но, если ты со мной разведешься, она согласна выйти за меня замуж. Надеюсь, что новая кухарка сумеет тебе угодить. У нее отличные рекомендации. На всякий случай сообщаю, что мы с миссис Булфинч живем по адресу: Кеннингтон-роуд, 411, ЮВ.

Альберт».

Никто не прервал молчания. Мистер Симмонс стряхнул очки обратно на переносицу. Как ни привыкли они все при любых обстоятельствах находить тему для разговора, сейчас нужные слова просто не шли на язык. К такой женщине, как миссис Форрестер, не сунешься с утешениями, и к тому же каждый боялся какой-нибудь банальной фразой навлечь на себя насмешки остальных. Наконец Клиффорд Бойлстон решился.

— Просто не знаешь, что и сказать, — заметил он.

Опять наступило молчание, а потом заговорила Роза Уотерфорд.

— Какая эта миссис Булфинч с виду? — спросила она.

— Откуда мне знать? — с досадой отвечала миссис Форрестер. — Я никогда на нее не смотрела. Прислугу всегда нанимал Альберт. Ко мне Булфинч заходила только на минутку, чтобы я могла проверить общее впечатление.

— А разве вы не видели ее каждое утро, когда отдавали распоряжения по хозяйству?

— Все распоряжения отдавал Альберт. Он сам на этом настоял, чтобы я могла без помех отдаваться своей работе. В нашей жизни всюду поспеть невозможно.

— И завтраки по субботам тоже заказывал Альберт? — спросил Клиффорд Бойлстон.

— Конечно. Это входило в его компетенцию.

Клиффорд Бойлстон чуть вздернул брови. Дурак, как он не догадался, что замечательные завтраки миссис Форрестер — это работа Альберта! И несомненно, заботами Альберта превосходное шашли всегда бывало остужено как раз в меру — чтобы приятно холодило язык, не теряя при этом своего букета.

— Он знал толк в еде и в винах, этого у него не отнимешь.

— Я вам всегда говорила, что у него есть достоинства, — сказала миссис Форрестер, словно он в чем-то упрекал ее. — Вы все над ним смеялись. Вы не верили, когда я говорила, что он мне помогает жить.

Ответа не последовало, и снова наступило молчание — тяжелое и злое. Вдруг мистер Симмонс бросил бомбу.

— Вы должны вернуть его.

От удивления миссис Форрестер, наверно, попятилась бы, если б не стояла, прислонившись спиной к камину.

— Что вы говорите! — вскричала она. — Я, пока жива, больше его не увижу. Простить его? Ни за что. Пусть хоть на коленях меня умоляет.

— Я не говорил, чтобы вы его простили. Я сказал — верните его.

Но миссис Форрестер не обратила внимания на эту неуместную поправку.

— Я все для него делала. Ну скажите, чем бы он был без меня? Я дала ему положение, о каком он не мог и мечтать.

Негодование миссис Форрестер было великолепно, однако на мистера Симмонса оно, как видно, не произвело впечатления.

— А на что вы теперь будете жить?

Миссис Форрестер метнула на него взгляд, в котором никто не усмотрел бы дружелюбия.

— Бог меня не оставит, — отвечала она ледяным тоном.

— Сомневаюсь, — возразил он.

Миссис Форрестер пожала плечами. На лице ее изобразилось возмущение. Но мистер Симмонс уселся поудобнее на своем жестком стуле и закурил.

— Вы знаете, что никто не восхищается вами больше моего, — сказал он.

— Больше, чем я, — поправил его Клиффорд Бойлстон.

— Ну, и чем вы, — согласился мистер Симмонс. — Мы все считаем, что из живых писателей ни один с вами не сравнится. И стихи и проза у вас первый сорт. А что до стиля — всем известно, какой у вас стиль.

— Возвышенный, как у сэра Томаса Брауна, и прозрачный, как у кардинала Ньюмена, — сказал Клиффорд Бойлстон. — Хлесткий, как у Джона Драйдена, и точный, как у Джонатана Свифта.

Только по улыбке, на мгновение тронувшей уголки трагически сжатых губ миссис Форрестер, можно было понять, что она его слышала.

— И юмор у вас есть.

— Кто, кроме вас, — вскричала мисс Уотерфорд, — может вложить в точку с запятой столько остроумия, наблюдательности и сатирической силы!

— Но при всем том спроса на вас нет, — невозмутимо продолжал мистер Симмонс. — Я двадцать лет предлагаю ваш товар и прямо скажу — на таких комиссионных не

разживешься. Просто хочется иногда продвинуть хорошую книгу. Я всегда в вас верил и все надеялся, что рано или поздно публика на вас клюнет. Но если вы воображаете, что на такие писания, как ваши, можно прожить, так, уверяю вас, вы ошибаетесь.

— Я опоздала родиться, — сказала миссис Форрестер. — Мне нужно было жить в восемнадцатом веке, когда богатый покровитель давал сто гиней в награду за посвящение.

— Как вы полагаете, торговать коринкой — доходное дело?

— О нет, — отвечала миссис Форрестер с легким вздохом. — Альберт говорил, что его годовой доход составляет примерно тысячу двести фунтов.

— Он, как видно, умеет делать дела. Но из такого дохода он едва ли сможет назначить вам особо щедрое содержание. Верьте моему слову, у вас есть только один выход — вернуть его.

— Лучше я буду жить в мансарде. Неужели вы думаете, что я стерплю оскорбление, которое он нанес мне? Вы что же, хотите, чтобы я отбивала его у собственной кухарки? Не забывайте, для такой женщины, как я, главное — не комфорт, а достоинство.

— А я как раз к этому и веду, — сухо произнес мистер Симмонс.

Он окинул взглядом присутствующих, и в эту минуту его странные, скошенные глаза больше, чем когда-либо, напоминали глаза рака.

— Я прекрасно знаю, — продолжал он, — что в литературном мире вы занимаете почетное, можно сказать, исключительное положение. Вы — единственная в своем роде. Вы никогда не продавали своего таланта за презренный металл, высоко держите знамя чистого искусства. Вы хотите попасть в парламент. Сам я не бог весть какого мнения о политической деятельности, но признаю, что реклама это хорошая, и, если вас изберут, мы, вероятно, могли бы устроить вам лекционное турне по Америке. У вас есть идеалы, и вас, несомненно, уважают даже те, кто отроду не читал ваших книг. Но одного вы в вашем положении не можете себе позволить, а именно — стать посмешищем.

Миссис Форрестер заметно вздрогнула.

— Как я должна вас понять?

— Про миссис Булфинч я ничего не знаю, очень может быть, что она вполне порядочная женщина, но факт остается фактом: жена человека, сбежавшего с кухаркой, вызывает смех. Другое дело — танцовщица или титулованная леди, это, возможно, вам и не повредило бы, но кухарка вас доконает. Через неделю весь Лондон будет над вами потешаться, а для писателя и для политического деятеля это верная смерть. Нет, вы должны заставить своего мужа вернуться, и притом как можно скорее, черт побери!

Лицо миссис Форрестер вспыхнуло от гнева, но ответила она не сразу. В ушах у нее внезапно зазвучал безобразный, необъяснимый смех мисс Уоррен.

— Мы все тут ваши друзья, на нашу скромность можете положиться.

Миссис Форрестер взглянула на своих друзей, и ей показалось, что в глазах Розы Уотерфорд уже мелькают злорадные искорки. Сморщенная рожица Оскара Чарлза кривилась в усмешке. Миссис Форрестер пожалела, что сгоряча посвятила их в свою тайну. Но мистер Симмонс хорошо знал литературный мир. Он спокойно оглядел всю компанию.

— Ведь вы глава и средоточие этого кружка. Ваш муж сбежал не только от вас, но и от них. Для них это тоже не весело. Альберт Форрестер всех вас оставил в дураках.

— Всех, — подтвердил Клиффорд Бойлстон. — Все мы одинаково влипли. Он прав, миссис Форрестер. Филателиста нужно вернуть.

— Et tu, Brute¹.

Мистер Симмонс не понимал по-латыни, а если бы и понимал, едва ли восклицание миссис Форрестер смутило бы его. Он откашлялся.

— Я считаю так: пусть миссис Форрестер завтра побывает у него, благо адрес он оставил, и попросит его пересмотреть свое решение. Не знаю, что женщинам полагается говорить в таких случаях, но у миссис Форрестер есть и воображение, и такт, уж она найдет, что сказать. Если мистер Форрестер будет ставить условия, пусть принимает их. Нужно идти на все.

— Если вы хорошо разыграете свои карты, вполне возможно, что вы завтра же привезете его с собой, — сказала Роза Уотерфорд беспечным тоном.

¹ И ты, Брут (лат.).

— Ну как, миссис Форрестер, согласны?

Отвернувшись от них, она минуты две, не меньше, глядела в пустой камин. Потом выпрямилась во весь рост и отвечала:

— Не ради себя, ради моего искусства. Я не допущу, чтобы кощунственный смех толпы запятнал все, в чем я вижу истину, красоту и добро.

— Правильно, — сказал мистер Симмонс, вставая с места. — Я завтра забегу к вам по дороге домой и надеюсь, что к тому времени вы с мистером Форрестером уже будете ворковать здесь, как пара голубков.

Он откланялся, и остальные, страшась оказаться наедине с миссис Форрестер и ее чувствами, последовали его примеру.

На следующий день, часов около пяти, миссис Форрестер, очень представительная в черных шелках и бархатном токе, выплыла из своей квартиры и направилась к Мраморной Арке, чтобы доехать оттуда автобусом до вокзала Виктории. Мистер Симмонс объяснил ей по телефону, как добраться до Кеннингтон-роуд быстро и без больших затрат. На Далилу она была не похожа, да и не чувствовала себя ею. У вокзала Виктории она села в трамвай, который идет через Воксхоллский мост. За Темзой начинался район Лондона, более шумный, грязный и тесный, нежели те, к которым она привыкла, но, занятая своими мыслями, она даже не заметила этой перемены. По счастью, оказалось, что трамвай идет по самой Кеннингтон-роуд, и она попросила кондуктора остановить вагон за несколько домов от того, который был ей нужен. Когда трамвай, гремя, умчался дальше, а она осталась одна на оживленной улице, ее охватило странное чувство одиночества, как путника из восточной сказки, которого джинн принес в незнакомый город. Она шла медленно, глядя по сторонам, и, несмотря на борьбу, которую вели в ее объемистой груди негодование и робость, невольно думала о том, что перед нею — материал для прелестного очерка. Низкие домики хранили что-то от ушедшего века, когда здесь была еще почти деревня, и миссис Альберт Форрестер отметила про себя, что нужно будет выяснить, какие литературные события и лица связаны с Кеннингтон-роуд.

Дом № 411 стоял в ряду других таких же обшарпанных домов, немного отступя от мостовой; перед ним была узкая полоска чахлой травы, мощеная дорожка вела к деревянному крыльцу, давно не крашенному. Крыльцо это да еще жидкий плющ, которым был увит фасад дома, придавали ему фальшиво-деревенский вид — это было странно и даже неприятно здесь, среди шума и грохота уличного движения. Было в этом доме что-то двусмысленное, наводившее на мысль, что здесь обитают женщины, чья жизнь, прожитая в грехе, незаслуженно увенчалась наградой.

Дверь отворила худенькая девочка лет пятнадцати, длинноногая и растрепанная.

— Вы не скажете, здесь живет миссис Булфинч?

— Не в тот звонок позвонили. Это наверху. — Девочка указала на лестницу и пронзительно крикнула: — Миссис Булфинч, к вам пришли! Миссис Булфинч!

Миссис Форрестер стала подниматься по грязной лестнице, покрытой рваной дорожкой. Она шла медленно, чтобы не запыхаться. На втором этаже кто-то отворил дверь, и она узнала свою кухарку.

— Добрый вечер, Булфинч, — с достоинством произнесла миссис Форрестер. — Мне нужно повидать вашего хозяина.

Миссис Булфинч помедлила долю секунды, потом распахнула дверь настежь.

— Входите, мэм. — Она оглянулась через плечо. — Альберт, это миссис Форрестер к тебе.

Миссис Форрестер быстро шагнула мимо нее. У огня в сильно потертом кожаном кресле сидел Альберт в домашних туфлях и без пиджака. Он читал вечернюю газету и курил сигару. При виде миссис Форрестер он встал. Миссис Булфинч вернулась в комнату следом за гостьей и затворила дверь.

— Как поживаешь, дорогая? — бодро сказал Альберт. — Надеюсь, ты в добром здоровье?

— Ты бы надел пиджак, Альберт, — сказала миссис Булфинч. — А то миссис Форрестер бог знает что о тебе подумает.

Она сняла пиджак с гвоздя и подала ему, а потом уверенной рукою женщины, для которой мужская одежда не таит секретов, обдернула на нем жилет, чтобы не наезжал на воротничок.

— Я получила твое письмо, Альберт, — сказала миссис Форрестер.

— Я так и подумал, ведь иначе ты не знала бы моего адреса.

— Присаживайтесь, мэм, — сказала миссис Булфинч и, ловко смахнув пыль с одного из шести одинаковых стульев, обитых вишневым плюшем, выдвинула его вперед.

С легким поклоном миссис Форрестер села.

— Я бы хотела поговорить с тобой наедине, Альберт. Глаза его лукаво блеснули.

— Все, что ты можешь сказать, касается миссис Булфинч в той же мере, как и меня, поэтому лучше, я думаю, разговаривать при ней.

— Как хочешь.

Миссис Булфинч пододвинула себе стул и села. До сих пор миссис Форрестер видела ее только в ситцевом платье и большом фартуке. Сейчас на ней была белая шелковая блузка с мережкой, черная юбка и лакированные туфли на высоких каблуках и с серебряными пряжками. Это была женщина лет сорока пяти, рыжеватая, румяная, не то чтобы красивая, но цветущая и приятной наружности. Она напредила миссис Форрестер пышнотелую служанку с жизне-радостной картины какого-то старого голландского мастера.

— Ну-с, дорогая, так что же ты хотела мне сказать? — спросил Альберт.

Миссис Форрестер подарила его одной из своих самых приветливых улыбок. Ее большие черные глаза глядели снисходительно и благодушно.

— Ты, конечно, понимаешь, Альберт, как все это глупо. Мне кажется, ты не в своем уме.

— Вот как, дорогая? Это интересно.

— Я не сержусь на тебя, мне просто смешно, но всякая шутка хороша до известного предела. А сейчас мы с тобою поедем домой.

— Разве я не ясно выразился в своем письме?

— Совершенно ясно. Я ни о чем тебя не спрашиваю и не собираюсь ни в чем упрекать. Будем считать это недо-разумением и на том покончим.

— Ничто не заставит меня вернуться к тебе, моя до-рогая, — сказал Альберт, впрочем вполне дружелюбно.

— Ты шутишь?

— Нисколько.

— Ты любишь эту женщину?

Миссис Форрестер все еще улыбалась приветливой, немного деревянной улыбкой. Она твердо решила относиться ко всему происходящему легко. Наделенная тонким чувством пропорций, она, конечно, понимала комизм этой сцены.

Альберт взглянул на миссис Булфинч, и по его морщинистому лицу тоже поползла улыбка.

— Мы хорошо спелись, верно, старушка?

— Неплохо, — сказала миссис Булфинч.

Миссис Форрестер подняла брови; ни разу за всю их супружескую жизнь муж не назвал ее «старушкой», да она и не одобрила бы этого.

— Если Булфинч хоть сколько-нибудь уважает тебя, она должна понимать, что это невозможно. После той жизни, которую ты вел, того общества, в котором ты вращался, едва ли она может надеяться, что ты будешь счастлив с нею в каких-то меблированных комнатах.

— Это не меблированные комнаты, мэм, — сказала миссис Булфинч. — Вся мебель моя собственная. Я оставляю за собой эту квартиру, даже когда нахожусь в услужении, чтоб было куда вернуться. Такой уж у меня характер самостоятельный, всегда любила иметь свой угол.

— И очень уютный угол, — сказал Альберт.

Миссис Форрестер огляделась. На плите, установленной в камине, шумел чайник, на каминной полке стояли черные мраморные часы между двух черных мраморных подсвечников. Большой стол, накрытый красной скатертью, комод, швейная машина. На стенах — фотографии и картины из воскресных приложений. За красной плюшевой портьерой была вторая дверь, и миссис Форрестер, посвятившая немало свободных часов занятиям архитектурой, поняла, что, принимая во внимание размеры дома, за этой дверью может находиться только одно: единственная в квартире спальня. Таким образом, в характере отношений, связывающих миссис Булфинч и Альберта, можно было не сомневаться.

— Разве ты не был счастлив со мною, Альберт? — спросила миссис Форрестер уже менее легким тоном.

— Дорогая моя, мы были женаты тридцать пять лет. Это долгий срок. Слишком долгий. Ты по-своему неплохая женщина. Но мне ты не подходишь. Ты живешь литературой и искусством, а я нет.

— Я всегда старалась вовлекать тебя в круг моих интересов. Всегда заботилась о том, чтобы, несмотря на мои успехи, ты не оставался в тени. Ты не можешь утверждать, что я тобой пренебрегала.

— Ты замечательная писательница, я этого не отрицаю, но скажу откровенно — мне твои книги не нравятся.

— Извини меня, но это только свидетельствует о недостатке вкуса. Все лучшие критики признают силу и обаяние моего таланта.

— И друзья твои мне не нравятся. Позволь открыть тебе один секрет. На твоих вечерах меня иногда так и подмывало раздеться — посмотреть, что из этого выйдет.

— Ничего особенного не вышло бы, — сказала миссис Форрестер, слегка нахмурившись. — Я бы послала за доктором, вот и все.

— И фигура у тебя для этого неподходящая, Альберт, — сказала миссис Булфинч.

Миссис Форрестер помнила намек Симмонса, чтобы она, если нужно будет, не стеснялась пустить в ход свои женские чары, лишь бы вернуть провинившегося супруга под семейный кров; но она понятия не имела, как это делается. Вероятно, подумалось ей, это было бы легче, будь она в вечернем туалете.

— Но, Альберт, ведь я тридцать пять лет была тебе верна, ни разу даже не взглянула на другого мужчину. Я к тебе привыкла. Не знаю, как я буду без тебя.

— Я все меню оставила новой кухарке, мэм, — сказала миссис Булфинч. — Вы только говорите ей, сколько гостей будет к завтраку, она все сделает как надо. Готовит она отлично, а уж на пирожное так у нее особенно легкая рука.

У миссис Форрестер стала ускользать почва из-под ног. После замечания миссис Булфинч, подсказанного, несомненно, самыми добрыми намерениями, трудно было вести разговор в таком плане, чтобы высокие чувства не казались фальшивыми.

— Боюсь, дорогая, что ты попусту тратишь время, — сказал Альберт. — Решение мое бесповоротно. Я уже не молод, мне требуется забота. Тебя я, разумеется, по мере сил обеспечу. Коринна советует мне удалиться от дел.

— Кто такая Коринна? — спросила миссис Форрестер в крайнем изумлении.

— Это я, — сказала миссис Булфинч. — У меня мать была наполовину француженка.

— Этим многое объясняется, — заметила миссис Форрестер, поджав губы: при всем своем восхищении литературой наших соседей, она знала, что нравственность их оставляет желать лучшего.

— Я ему говорю, что довольно, мол, ему работать, пора и отдохнуть. У меня есть домик в Клектоне. Местность там здоровая, у самого моря, воздух замечательный. Мы там отлично проживем. Там не скучно — то на пляж сходишь, то на пристань. И люди хорошие. Никто тебя не трогает, если сам никого не трогаешь.

— Я сегодня говорил со своими компаньонами, они согласны выкупить мою долю. Кое-что я на этом потеряю. После всех формальностей у меня останется девятьсот фунтов годовых. Нас трое, значит, на каждого придется по триста фунтов в год.

— Разве я могу на это прожить? — вскричала миссис Форрестер. — Я должна думать о своем положении.

— Ты мастерски владеешь пером, дорогая.

Миссис Форрестер раздраженно повела плечами.

— Ты прекрасно знаешь, что мои книги не приносят мне ничего, кроме славы. Издатели всегда говорят, что печатают их в убыток, но все же печатают, потому что это повышает их престиж.

И тут-то миссис Булфинч осенила мысль, имевшая столь грандиозные последствия.

— А почему бы вам не написать детективный роман, такой, чтобы дух захватывало?

— Чего? — воскликнула миссис Форрестер, впервые в жизни забыв о грамматике.

— А это не плохая идея, — сказал Альберт. — Совсем не плохая.

— Критики разорвут меня в клочки.

— Не думаю. Дай только снобам возможность спуститься с небес на землю, не уронив своего достоинства, и они из благодарности не знаю что сделают.

— «Благодарю, Бернардо, за услугу», — задумчиво проговорила миссис Форрестер.

— Дорогая моя, критики будут в восторге. А так как книга твоя будет написана великолепным языком, то они не побоятся назвать ее шедевром.

— Но это чистейший абсурд. Такие вещи чужды моему таланту. Я все равно не сумею угодить широким массам.

— Почему? Широкие массы любят читать хорошие книжки, но они не любят скучать. Имя твоё знают все, но читать тебя не читают, потому что это скучно. Дело в том, дорогая, что ты невыносимо скучна.

— Не понимаю, как ты можешь это говорить, Альберт, — возразила миссис Форрестер, ничуть не обидевшись (экватор тоже, вероятно, не обиделся бы, если бы его называли холодным). — Все признают, что у меня восхитительное чувство юмора и что никто не может добиться такого комического эффекта с помощью точки с запятой.

— Если ты сумеешь дать широким массам захватывающий роман и в то же время внушить им, что они пополняют свое образование, ты станешь богатой женщиной.

— Я в жизни не читала детективных романов, — сказала миссис Форрестер. — Я слышала про какого-то мистера Барнса из Нью-Йорка, он, говорят, написал книгу под названием «Тайна кеба». Но я ее не читала.

— Тут, конечно, требуется особое умение, — сказала миссис Булфинч. — Главное — не забывать, что про любовь писать не нужно, в детективном романе это ни к чему, там нужно, чтоб было убийство, сыщики и чтобы до последней страницы нельзя было угадать, кто убил.

— Но нельзя и водить читателей за нос, — добавил Альберт. — Меня всегда злит, когда подозрение падает на секретаря или на герцогиню, а потом оказывается, что убил младший лакей, который за все время только и сделал, что доложил: «Коляска подана». Запутывай читателя как можно больше, но не заставляй его чувствовать себя дураком.

— Обожаю детективные романы, — сказала миссис Булфинч. — Как прочтешь, что на полу в библиотеке лежит знатная леди в вечернем платье, вся в бриллиантах, и в сердце у нее воткнул кинжал, — просто вся дрожишь от радости.

— Кому что, — сказал Альберт. — Я, например, больше люблю, когда в Хайд-парке находят труп почтенного адвоката с бакенбардами, золотой цепочкой от часов и добрым выражением лица.

— И с перерезанным горлом? — живо спросила миссис Булфинч.

— Нет, убитого ножом в спину. Есть особая прелесть в том, чтобы убитый был пожилой джентльмен с безупречной

репутацией. Всякому приятно думать, что за самой, казалось бы, почтенной внешностью скрывается что-то загадочное.

— Я тебя понимаю, Альберт, — сказала миссис Булфинч. — Ему была вверена роковая тайна.

— Мы можем дать тебе кучу полезных советов, дорогая, — сказал Альберт, ласково улыбаясь миссис Форрестер. — Я прочел сотни детективных романов.

— Ты?!

— С этого и началась наша дружба с Коринной. Я их прочитывал, а потом передавал ей.

— Сколько раз я, бывало, услышу, как он выключает свет, а на улице уже утро, всегда улыбнусь про себя и подумаю: ну вот, дочитал наконец, теперь можно ему и соснуть.

Миссис Форрестер встала и расправила плечи.

— Теперь я вижу, какая пропасть нас разделяет, — сказала она чуть дрогнувшим контральто. — Тридцать лет тебя окружало все, что есть лучшего в английской литературе, а ты сотнями читал детективные романы.

— Да, не одну сотню прочел, — подтвердил Альберт с довольной улыбкой.

— Я пришла сюда, готовая на любые разумные уступки, лишь бы ты вернулся домой, но теперь я этого больше не хочу. Ты доказал, что у нас нет и не было ничего общего. Мы живем на разных планетах.

— Хорошо, дорогая. Я подчиняюсь твоему решению. А о детективном романе ты подумай.

— «Теперь я в путь пускаюсь, в далекий Иннисфри», — прошептала миссис Форрестер.

— Я провожу вас до парадного, — сказала миссис Булфинч. — Там дорожка рваная, недолго и споткнуться.

С большим достоинством, однако же внимательно глядя под ноги, миссис Форрестер спустилась по лестнице и, когда миссис Булфинч, отперев дверь, предложила ей позвать такси, покачала головой.

— Я поеду трамваем.

— А насчет мистера Форрестера не беспокойтесь, мэм, — дружелюбно сказала миссис Булфинч, — я о нем буду хорошо заботиться. Я вон за мистером Булфинчем три года ходила, когда он в последний раз захворал, не хуже сиделки. А мистер Форрестер, он для своих лет вон какой

крепкий и бодрый. Ну и занятие у него, конечно, будет. Хуже нет, когда мужчине нечем заняться. Он будет собирать марки.

Миссис Форрестер вздрогнула от неожиданности. Но тут показался трамвай, и она, как свойственно женщинам (даже великим), с риском для жизни бросилась на середину улицы и отчаянно замахала рукой. Трамвай остановился, она села. Она не могла представить себе, что скажет мистеру Симмонсу. Ведь он ждет ее. И Клиффорд Бойлстон, наверно, явился. Все они явились, и ей придется сказать им, что она потерпела позорное фиаско. В эту минуту кучка ее преданных почитателей не вызывала у нее особенно теплых чувств. Сообразив, что уже поздно, она подняла глаза на пассажира напротив, чтобы убедиться, прилично ли будет спросить у него, который час, — и вздрогнула: перед ней сидел пожилой человек самой почтенной наружности, с бакенбардами, с добрым выражением лица и с золотой цепочкой. Тот самый, который, как сказал Альберт, был найден убитым в Хайд-парке, и он, конечно же, адвокат. Совпадение было поразительное — в самом деле, точно перст судьбы поманил ее. На нем был цилиндр, черная визитка и серые брюки в полоску, он был крепкого сложения, немного располневший, а рядом с ним стоял небольшой чемоданчик. Когда они миновали Воксхоллский мост, он попросил кондуктора остановить вагон, и она видела, как он свернул в узкий мрачный переулок. Зачем? Если бы знать! Она так ушла в свои мысли, что, доехав до вокзала Виктории, не сдвинулась с места, пока кондуктор не напомнил ей довольно бесцеремонно, что надо выходить. Детективные рассказы писал Эдгар Аллан По. Она села в автобус и ехала, по-прежнему погруженная в задумчивость, но у первых ворот Хайд-парка вдруг решила, что пойдет дальше пешком. Она больше не могла сидеть на месте. Войдя в парк, она медленно пошла по дорожке, глядя перед собой взглядом, одновременно пристальным и рассеянным. Да, Эдгар Аллан По; этого никто не станет отрицать. В конце концов, ведь именно он избрал этот жанр, а всем известно, какое влияние он имел на парнасцев. Или на символистов? Впрочем, это неважно. Бодлер и прочие. У статуи Ахиллеса миссис Форрестер остановилась и с минуту глядела на нее, подняв брови.

Наконец она добралась до своей квартиры и, отворив дверь, увидела в передней несколько шляп. Все явились! Она вошла в гостиную.

— Наконец-то! — вскричала Роза Уотерфорд.

Миссис Форрестер энергично пожала протянувшиеся к ней руки. Да, все здесь — мистер Симмонс, Клиффорд Бойлстон, и Гарри Окленд, и Оскар Чарлз.

— Бедные вы мои, вам не дали чаю? — воскликнула она непринужденно и весело. — Я понятия не имею, который час, но я, наверно, ужасно запоздала.

— Ну что? — спросили все.

— Дорогие мои, я должна вам сообщить, поразительную новость. На меня снизошло вдохновение. Зачем отдавать все козыри противнику?

— О чем вы?..

Она сделала паузу, чтобы эффект получился сильнее, а потом выпалила без всяких предисловий:

— Я буду писать детективный роман.

Они смотрели на нее, раскрыв рот. Она подняла руку в знак того, чтобы ее не прерывали, но никто и не собирался ее прерывать.

— Я подниму детективный роман до уровня высокого искусства. Эта идея явилась у меня внезапно в Хайд-парке. История с убийством, а разгадку я дам на самой последней странице. Я напишу ее безукоризненным языком, но, поскольку мне уже приходило в голову, что я, пожалуй, исчерпала ресурсы точки с запятой, теперь я начну обыгрывать двоечтие. Никто еще не исследовал его потенциальных возможностей. Юмор и тайна — вот к чему я стремлюсь. Называться книга будет «Статуя Ахиллеса».

— Какое заглавие! — воскликнул мистер Симмонс, первым приходя в себя. — Да мне только этого заглавия и вашего имени хватит для договора с журналами.

— А что же Альберт? — спросил Клиффорд Бойлстон.

— Альберт? — отозвалась миссис Форрестер. — Альберт?

Она посмотрела на Клиффорда Бойлстона так, словно не могла взять в толк, о чем он говорит. Потом негромко вскрикнула, будто вдруг что-то вспомнив.

— Альберт! Я же знала, что у меня было какое-то дело. Но когда я шла через Хайд-парк, меня осенила эта мысль и все остальное вылетело из головы. Какой я вам, наверно, кажусь дурой!

— Так вы не видели Альберта?

— Боже мой, я о нем и думать забыла. — Она беспечно рассмеялась. — Пусть остается со своей кухаркой. Теперь мне не до Альберта. Альберт — это из эпохи точки с запятой. Я буду писать детективный роман.

— Дорогая моя, вы просто изумительны, — сказал Гарри Оклэнд.

ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА

Народу в баре было много. Сэнди Весткот выпил пару коктейлей и теперь почувствовал, что ему хочется есть. Он взглянул на часы. Скоро десять, а он был приглашен к обеду на половину десятого. Ева Баррет всегда опаздывает, как бы не пришлось ему просидеть голодным еще целый час. Он снова обернулся к бармену, чтобы заказать себе коктейль, и в это время к стойке подошел человек.

— Хэлло, Котмен, — сказал Сэнди, — выпьете со мной?

— Пожалуй, не откажусь, сэр.

Котмен был приятного вида мужчина лет, вероятно, около тридцати, маленького роста, но так ладно сложенный, что это было незаметно, в элегантном двубортном смокинге, пожалуй, заузженном в талии, и с галстуком-бабочкой, определенно великоватым. У него были густые, волнистые черные волосы, жесткие и блестящие, которые он зачесывал со лба назад, и большие жгучие глаза. Выражался он очень интеллигентно, но выговор у него был простонародный.

— Как Стелла? — спросил Сэнди.

— Отлично, сэр. Она, знаете ли, каждый раз должна немного полежать перед выступлением. Говорит, что это очень успокаивает.

— Я бы и за тысячу фунтов не согласился повторить ее фокус.

— Да уж, конечно. Никто, кроме нее, не сможет этого сделать, то есть, понятно, если с такой высоты и воды всего только пять футов.

— В жизни я не видывал такого жуткого зрелища.

Котмен хмыкнул. Он счел это замечание лестным. Стелла была его женой. Правда, проделывала трюк и рисковала

жизнью она, но пламя придумал он, а ведь именно пламя особенно нравилось публике и обеспечило их номеру такой огромный успех. Стелла прыгала в резервуар с лестницы в шестьдесят футов высотой, а уровень воды в резервуаре, как он только что упомянул, был всего только пять футов. Перед самым ее прыжком на поверхность воды выливали немного бензина, и он поджигал его; пламя взмывало вверх, и она бросалась прямо в огонь.

— Пако Эспинель говорит, что у них в казино никогда еще не было такой приманки для публики, — сказал Сэнди.

— Я знаю. Он говорил, что в этом году в июле они продали столько обедов, сколько обычно продают в августе. И все, говорит, благодаря нам.

— Ну, надеюсь, вы на этом тоже кое-что сколачиваете?

— Да как вам сказать, сэр. Ведь у нас с ним заключен контракт, ну и мы, конечно, не знали, что будет такой бешеный успех. Но мистер Эспинель поговаривает о том, чтобы продлить контракт еще на месяц. Так вот, откровенно скажу вам: на прежних условиях или вроде того он нас больше не заполучит. Да мне только сегодня утром пришло письмо от одного агента, он зовет нас в Довилль.

— Вон пришли мои друзья, — сказал Сэнди.

Он кивнул Котмену и отошел. Из дверей выплыла Ева Баррет в сопровождении остальных гостей, которых она встретила еще внизу. Всего с Весткотом восемь человек.

— Я так и знала, что мы найдем вас тут, Сэнди, — сказала она. — Я не опоздала?

— Только на полчаса.

— Спросите всех, кому какой коктейль, а потом мы пойдем обедать.

Когда они подошли к стойке, где теперь уже почти никого не было, так как публика перебралась на террасу к обеденным столикам, проходивший мимо Пако Эспинель остановился, чтобы поздороваться с Евой Баррет. Пако Эспинель был молодой человек, промотавший свои деньги и теперь зарабатывавший на жизнь тем, что устраивал зрелища, которые должны были привлекать публику в казино. В его обязанности входило быть любезным с богатыми и знатными. Миссис Челонер Баррет была американка, вдова и обладательница огромного состояния; она не только щедро угощала знакомых, но также играла. А ведь в конечном-то счете все эти обеды и ужины и два эстрадных

выступления в придачу существовали только для того, чтобы публика легче расставалась со своими деньгами за зеленым столом.

— Найдется для меня хороший столик, Пако? — спросила Ева Баррет.

— Самый лучший. — Его глаза, блестящие, черные аргентинские глаза выражали восхищение обильными стареющими прелестями миссис Баррет. Это тоже полагалось по должности. — Вы уже видели Стеллу?

— Конечно. Три раза. Никогда в жизни не видела ничего страшнее.

— Сэнди вот приходит каждый день.

— Я хочу присутствовать при ее смерти. В один прекрасный вечер она неизбежно разобьется насмерть, и мне бы не хотелось пропустить этот момент.

Пако рассмеялся.

— У нее такой успех, думаем продержат ее еще месяц. Все, что мне нужно, — это чтоб она не убилась до конца августа. А потом пусть делает что ей вздумается.

— О господи, неужели мне придется до конца августа каждый вечер питаться форелью и жареными цыплятами? — ужаснулся Сэнди.

— Сэнди, вы чудовище, — сказала Ева Баррет. — Ну, пошли, пора: я умираю с голоду.

Пако Эспинель спросил у бармена, не видал ли он Котмена. Бармен ответил, что тот пил здесь недавно с мистером Весткотом.

— Если он зайдет еще, скажите ему, что он мне нужен на пару слов.

На верхней ступеньке лестницы, ведущей на террасу, миссис Баррет задержалась ровно настолько, чтобы женщина-репортер, маленькая, изможденная, с неаккуратной прической, успела подойти к ним с блокнотом в руке. Сэнди шепотом сообщил ей имена приглашенных. Компания собралась типичная для Ривьеры. Английский лорд со своей леди, оба долговязые и тощие, готовые обедать со всяким, кто согласен кормить их бесплатно. Эти двое еще до полуночи будут пьяны, как сапожники. Здесь же была сухопарая шотландка с лицом, как у перуанского идола, выстоявшего натиск бесчисленных бурь на протяжении десяти столетий, и ее муж-англичанин. Биржевой маклер по профессии, он имел тем не менее бравый вид и замашки грубоватого

добряка. Он производил впечатление такой честности, что вы испытывали больше жалости к нему, чем к себе, когда, следуя его настоящему совету, который он давал вам из особого к вам расположения, вы же оказывались в дураках. Присутствовали здесь также одна графиня-итальянка, которая не была ни итальянкой, ни графиней, зато прекрасно играла в бридж; и русский князь, преисполненный готовности сделать миссис Баррет княгиней, а покуда занятый перепродажей шампанского, автомобилей и полотен старых мастеров. На террасе танцевали, и в ожидании, пока кончится танец, миссис Баррет с презрительным видом, который придавала ее лицу короткая верхняя губа, глядела на плотную толпу танцующих. В этот вечер в ресторане был объявлен бал, и столики стояли тесно придвинутые друг к другу. А за террасой лежало море, спокойное и немое. Музыка кончилась, и метрдотель, любезно улыбаясь, поспешил навстречу, чтобы провести Еву Баррет к столику. Она величаво прошествовала вниз по ступеням.

— Отсюда нам будет отлично видно, как она ныряет, — заметила она, усаживаясь.

— Я люблю сидеть подле самого резервуара, чтобы видеть ее лицо, — сказал Сэнди.

— А что, она хорошенькая? — спросила графиня.

— Не в том дело. Главное — это выражение ее глаз. Ей каждый раз бывает до смерти страшно.

— Ну, я лично этому не верю, — проговорил биржевой маклер, откликнувшийся на имя «полковник Гудхарт», хотя откуда у него это звание, никому не было известно. — Уверю вас, вся эта чертовщина — не более как фокус, то есть на самом деле здесь нет никакого риска.

— Быть этого не может! Она ныряет с такой высоты и воды в резервуаре так мало, что она должна вывернуться с молниеносной быстротой, как только коснется воды. Если это ей не удастся, она угодит головой прямо в дно и сломает шею.

— Вот-вот, в том-то и дело, старина, — сказал полковник. — Фокус. Тут и спорить нечего.

— Ну, если здесь нет настоящего риска, тогда и вообще смотреть не на что, — заявила Ева Баррет. — Продолжается все какую-то минутку. И если на самом деле она не рискует жизнью, то это — величайшее надувательство наших дней.

Что же это получается: мы приходим сюда по столько раз, а тут все, оказывается, сплошной обман?

— Как и все в нашей жизни, уж можете мне поверить.

— Ну что ж. Кому и знать, как не вам, — сказал Сэнди.

Если полковник и почувствовал в его словах издевку, он отлично сумел это скрыть.

— По совести сказать, я и вправду кое-что знаю, — согласился он, смеясь. — Я всегда держу ухо востро, и меня не так-то просто провести.

Резервуар находился в левом конце террасы, а позади него поднималась поддерживаемая подпорками, необычайно высокая лестница с маленькой площадкой наверху.

Сыграли еще несколько танцев, а потом, как раз когда за столом Евы Баррет ели спаржу, музыка смолкла и лампы потускнели. На резервуар направили прожектор. В сияющем кругу стоял Котмен. Он поднялся на несколько ступенек и остановился на одном уровне с краями резервуара.

— Леди и джентльмены, — выкрикнул он громко и отчетливо, — сейчас вы увидите удивительнейший номер нашего столетия. Мировая чемпионка по прыжкам в воду, мадам Стелла, прыгнет с шестидесятифутовой высоты в озеро пламени глубиной в пять футов. Это никому еще не удавалось, и мадам Стелла согласна заплатить сто фунтов всякому, кто решится сделать попытку. Леди и джентльмены, имею честь представить вам мадам Стеллу!

На широкой лестнице, ведущей на террасу, появилась маленькая фигурка, быстро пробежала к резервуару и поклонилась аплодирующей публике. На ней был мужской шелковый халат и купальная шапочка. Худое лицо загримировано, как для сцены. Графиня-итальянка навела на нее лорнет.

— Даже не хорошенькая, — высказалась она.

— Фигура красивая, — сказала Ева Баррет. — Сейчас увидите.

Стелла выскользнула из халата и отдала его Котмену. Он спустился вниз. Она постояла еще минуту, глядя на публику. В зале было темно, ей видны были только расплывчатые белые лица и белые манишки. Она была замечательно сложена — маленькая, с длинными ногами и стройными бедрами. Купальный костюм едва прикрывал ее тело.

— Вполне согласен с вами насчет фигуры, Ева, — сказал полковник. — Не очень развитые формы, конечно, но

я знаю, вы, женщины, считаете, что это как раз то, что надо.

Стелла начала подниматься по ступенькам, прожектор следовал за ней. Казалось, лестнице нет конца. Ассистент вылил на поверхность воды бензин. Котмену подали горящий факел. Он подождал, пока Стелла достигла верхушки лестницы и стала на площадке.

— Готово? — крикнул он.

— Да.

— Allez!

И с этим возгласом он сунул в воду горящий факел. Вспыхнуло пламя, языки устрашающе взметнулись ввысь. В тот же миг Стелла прыгнула. Она мелькнула молнией — прямо в огонь, который погас, едва она скрылась под водой. Еще секунда — и она была на поверхности, и выскочила из резервуара навстречу грому, целой буре аплодисментов. Котмен набросил на нее халат. Она все кланялась и кланялась. Аплодисменты не стихали. Заиграла музыка. Сделав на прощание плавный жест рукой, она сбежала по ступенькам, пробралась между столиками и скрылась за дверью. Включили свет, и официанты, словно спохватившись, засуетились со своими подносами.

Сэнди Весткот вздохнул, разочарованно или облегченно — он и сам не знал.

— Шикарно, — сказал английский вельможа.

— Явное надувательство, — сказал полковник с чисто британским упорством. — Готов поспорить на что угодно.

— Не успеешь оглянуться, как уже все кончилось, — сказала супруга английского лорда. — Право же, за свои деньги можно бы ожидать большего.

Деньги-то, конечно, были не ее. Она своих денег никогда не платила. Графиня-итальянка перегнулась через стол. Она говорила по-английски свободно, но с сильным акцентом.

— Ева, дорогая, кто эти удивительные люди, вон за столиком возле двери, которая под балконом?

— Умора, а? — отозвался Сэнди. — Я прямо глаз от них отвести не могу.

Ева Барретт взглянула туда, куда указывала графиня, и русский князь, который сидел спиной к тому столику, тоже обернулся.

— Невероятно! — воскликнула Ева. — Нужно спросить у Анджело, кто это такие.

Миссис Баррет принадлежала к числу женщин, которые знают по именам метрдотелей во всех лучших ресторанах Европы. Она велела официанту, наливавшему ей вино, прислать к ней Анджело.

Действительно, то была очень странная пара. Они сидели одни за маленьким столиком. Они были очень стары. Он, высокий и грузный, с целой шапкой белых волос, большими мохнатыми белыми бровями и огромными белыми усами, напоминал покойного короля Италии Умберто, но только вид у него был более королевский. Сидел он идеально прямо. На нем был фрак, белый галстук и воротничок, из тех, что уже лет тридцать как вышли из моды. С ним была маленькая старушка в черном атласном бальном платье с большим декольте и затянутая в талии. На шее у нее висело несколько ниток цветных бус. Сразу было видно, что она носит парик, и притом плохо пригнанный — сплошные кудряшки и локончики цвета воронова крыла. Лицо у нее было грубо размалевано — яркосиняя краска под глазами и на веках, брови неестественно черные, на щеках по пятну очень красных румян, а губы фиолетово-пурпурные. Кожа висела на лице глубокими складками. У нее были большие и смелые глаза, и она метала от столика к столику взоры, исполненные живого интереса. Она разглядывала все вокруг, то и дело указывая на кого-нибудь своему спутнику. Вид этой четы среди модной публики, среди мужчин в смокингах и женщин в легких платьях светлых тонов, был настолько фантастичен, что глаза многих были устремлены в их сторону. Однако это, видимо, ничуть не смущало старушку. Чувствуя, что на нее смотрят, она начинала лукаво поднимать брови, улыбаться и играть глазами. Казалось, она вот-вот вскочит и поклонится, прижав ручку к сердцу.

Анджело поспешил подойти к выгодной клиентке, какой была Ева Баррет.

— Вы желали меня видеть, миледи?

— Ах, Анджело, нам просто до смерти интересно узнать, кто эти удивительнейшие люди там за столиком, возле двери?

Анджело оглянулся и тут же принял сокрушенный вид. Всем своим лицом, движением плеч, поворотом спины, жестом руки, быть может, даже подергиванием пальцев на ногах он как бы и подсмеивался и оправдывался.

— Пожалуйста, не взыщите, миледи. — Он, разумеется, знал, что у миссис Баррет не было права на такое обращение (точно так же, как он знал, что графиня-итальянка не была ни итальянкой, ни графиней и что английский лорд никогда не платил за себя сам, если это мог за него сделать кто-нибудь другой), но он знал также, что такое обращение не было ей неприятно. — Они очень просили, чтоб я дал им столик, потому что им хотелось увидеть, как ныряет мадам Стелла. Они когда-то сами выступали. Я, конечно, знаю, они не того сорта публика, какая бывает в нашем ресторане, но они так настаивали, что у меня просто не хватило духу им отказать.

— Ах, но ведь они сплошной восторг. Они мне страшно нравятся.

— Это мои старинные знакомые. С ним мы земляки, — метрдотель снисходительно усмехнулся. — Я сказал, что оставляю за ними столик при условии, что они не будут танцевать. На это я, понятно, пойти не мог, миледи.

— Ах, а мне бы так хотелось поглядеть, как они танцуют.

— Всему должен быть предел, миледи, — важно произнес Анджело.

Он улыбнулся, поклонился еще раз и отошел.

— Глядите! — воскликнул Сэнди. — Они уходят.

Смешная старая чета уже расплачивалась. Старик встал и набросил на плечи своей супруге большое боа из белых, но не слишком чистых перьев. Она поднялась. Он подал ей руку, держась очень прямо, и она, такая маленькая рядом с ним, засеменила к выходу. У ее черного атласного платья был длинный шлейф, и Ева Баррет (которой было уже за пятьдесят) завизжала от восторга.

— Поглядите-ка, я помню, моя мамочка носила такие платья, когда я ходила в школу.

Забавная пара все так же рука об руку прошла по просторным залам казино и остановилась у двери. Старик обратился к швейцару:

— Будьте добры сказать нам, как пройти в артистическую. Мы хотим засвидетельствовать свое почтение мадам Стелле.

Швейцар оглядел их критическим взглядом. С такими людьми не обязательно быть особенно вежливым.

— Ее там нет.

— Разве она уже ушла? Я думал, что в два часа она выступает еще раз?

- Правильно. Они, наверно, в баре сидят.
- По-моему, худого в том не будет, если мы заглянем туда, Карло, — заметила старая леди.
- Хорошо, моя милая, — ответил он, налегая на раскатистое «р».

Они медленно поднялись по широкой лестнице и вошли в бар. Здесь не было никого, кроме помощника бармена и какой-то парочки, сидящей в креслах в углу. Старая леди сразу же отпустила локоть мужа и засеменила к ним, еще издали протягивая обе руки.

— Здравствуйте, милочка. Я сижу там и чувствую, что просто непременно должна поздравить вас, ведь я тоже англичанка. И потом, я сама выступала. У вас отличный номер, моя милая, вы заслужили этот успех. — Она повернулась к Котмену. — А это муж ваш?

Стелла поднялась из кресла и с застенчивой улыбкой на губах смущенно слушала говорливую старую леди.

— Да, это Сид.

— Очень приятно. — сказал он.

— А вот это мой, — сказала старая леди, легонько поведя локтем в сторону своего спутника. — Мистер Пенецци. На самом-то деле он граф, а я по всем правилам графиня Пенецци, но мы теперь не ставим титул, с тех пор как кончили выступать.

— Может быть, вы выпьете с нами? — предложил Котмен.

— Нет, нет, позвольте нам угостить вас, — запротестовала миссис Пенецци, опускаясь в кресло. — Карло, закажи.

Подошел бармен, и после небольшого совещания были заказаны три бутылки пива. Стелла пить отказалась.

— Она никогда ничего не пьет до второго выступления, — объяснил Котмен.

Стелла была маленькая хрупкая женщина лет двадцати шести, со светло-каштановыми волосами, коротко подстриженными и завитыми, и серыми глазами. Она подкрасила губы, но румян у нее на щеках почти не было, она казалась бледной. Ее нельзя было назвать красивой, но у нее было ясное, точеное личико. На ней было очень простое вечернее платье из белого шелка. Принесли пиво, и мистер Пенецци, человек, очевидно, не очень разговорчивый, сделал несколько больших глотков.

— А вы чем занимались? — вежливо спросил Котмен.

Миссис Пенецци устремила на него взгляд своих живых подведенных глаз и обратилась к мужу:

— Скажи им, кто я, Карло.

— Женщина — Пушечное ядро, — провозгласил он.

Миссис Пенецци радостно заулыбалась и по-птичьи быстро перевела взгляд с Котмена на Стеллу. Оба с тревогой глядели на нее.

— Флора, Женщина — Пушечное ядро, — повторила она.

Она так явно рассчитывала произвести на них впечатление, что они просто растерялись. Стелла озадаченно взглянула на своего Сйда. Он поспешил на помощь:

— Это, верно, было еще до нас.

— Конечно, до вас. Ведьмы ушли со сцены в тот самый год, как умерла покойница королева Виктория. Наш уход тоже вызвал целую сенсацию. Вы наверняка слышали обо мне. — Она видела, что лица их по-прежнему выражают недоумение; тон ее несколько изменился. — Но ведь у меня в Лондоне был такой шумный успех. Я выступала в старом «Аквариуме». Все самые важные люди приходили посмотреть на меня. Принц Уэльский, да и вообще, кого там только не было. Весь город обо мне говорил. Правда, Карло?

— Публика целый год валом валила из-за нее в «Аквариум».

— Это у них за все время был самый эффектный номер. Да вот, еще совсем недавно я как-то пошла и представилась леди Де Бат. Знаете, Лили Лэнгтри. Она тогда здесь жила. Так она меня отлично помнила. Она сказала, что видела меня десять раз.

— А что вы делали? — спросила Стелла.

— Мною выстреливали из пушки. Поверьте, это была целая сенсация. А после Лондона я объездила со своим номером весь мир. Да, моя милая, теперь я женщина старая и не собираюсь отрицать этого. Мистеру Пенецци вот семьдесят восемь лет исполнилось, да и мне уже за семьдесят, но когда-то мои портреты были расклеены по всему Лондону. Леди Де Бат сказала мне: «Дорогая моя, вы были такой же знаменитостью, как и я». Но ведь знаете, какая у нас публика, увидят что-нибудь хорошее, так прямо голову теряют, да только подавай им все время новенькое, а то им надоедает и они перестают ходить. Так будет и с вами, моя милая, в точности как и со мной. Это никого не минует.

Но у мистера Пенецци всегда была голова на плечах. Он сызмальства артистом. В цирке. Он был шталмейстером, когда я с ним познакомилась. Я тогда выступала в акробатической труппе. Акробаты на трапеции, знаете? Он и сейчас еще видный мужчина, но посмотрели бы вы на него тогда, как он в русских сапогах и бриджах и в облегающем сюртуке со шнурами по всему переду щелкал своим длинным хлыстом, а лошади его скакали по арене круг за кругом, — я красивей мужчины в жизни не видывала.

Мистер Пенецци ничего не сказал, но задумчиво покрутил свои огромные белые усы.

— Ну и вот, я уже вам сказала, он не из тех, кто без толку швыряется деньгами, и когда нам не могли больше устроить ангажемент, он говорит: «Давай перестанем выступать совсем». И он, конечно, был прав: ведь если ты первая звезда в Лондоне, так после этого уж нельзя вернуться обратно в цирк, а мистер Пенецци на самом-то деле граф, и ему нужно о своем достоинстве помнить, — вот мы и приехали сюда, купили себе дом и открыли пансион. Мистер Пенецци всегда мечтал о чем-нибудь в этом роде. Мы уже тридцать пять лет живем здесь. И дела у нас шли не так-то плохо, вот только за последние два-три года, когда случился кризис, стало похуже, да и клиенты теперь пошли совсем не те, что были, когда мы только начинали, все им чего-то надо: то подавай электричество, то водопровод в комнатах, а то вообще бог весть что. Дай им нашу карточку, Карло. Мистер Пенецци сам стряпает, и если когда-нибудь вам нужен будет настоящий домашний уют вдали от дома, вы теперь знаете, где его найти. Я люблю артистов, и у нас с вами будет о чем поговорить, моя милая. Я так считаю, кто был артистом, тот уж им и останется.

В этот момент вернулся старший бармен, отлучавшийся поужинать. Он увидел Сиду.

— Мистер Котмен, вас искал мистер Эспинель, ему непременно нужно вас видеть.

— Вот как? А где он?

— Поищите, он где-то здесь.

— Ну мы пойдем, — сказала миссис Пенецци, поднимаясь. — Заходите к нам как-нибудь позавтракать. Я бы показала вам мои старые фотографии и вырезки из газет. Подумать только, вы даже не слышали про Женщину —

Пушечное ядро! Да ведь я была знаменита не меньше, чем лондонский Тауэр!

Миссис Пенецци не обидело, что эти молодые люди даже не слышали о ней. Ее это просто забавляло.

Они распрощались, и Стелла снова опустилась в кресло.

— Сейчас допью пиво, — сказал Сид, — и пойду узнаю, что нужно Пако. Ты здесь останешься, детка, или подымешься к себе?

Она сидела, крепко сжав кулаки. На вопрос она не ответила. Сид взглянул на нее и поспешно отвел глаза.

— Эта старушка просто прелесть, — жизнерадостно продолжал он. — Вот комичное создание! А ведь она нам, кажется, правду рассказала. Хотя трудно поверить, ей-богу. Представить себе, что лет этак сорок тому назад за ней весь Лондон бегал. А она-то думает, что ее и теперь помнят, вот забавно. Никак в толк не могла взять, что мы о ней даже не слыхали.

Он снова взглянул на Стеллу, украдкой, чтобы она не заметила, что он на нее смотрит. Она беззвучно плакала. Слезы катились по ее бледному лицу.

— В чем дело, девочка?

— Сид, я не могу прыгать сегодня второй раз, — всхлинула она.

— Да почему же?

— Я боюсь.

Он взял ее за руку.

— Ну, нет. Я достаточно хорошо тебя знаю, — сказал он. — Ты самая храбрая женщина в мире. Выпей-ка бренди, это тебя подбодрит.

— Нет, от этого только хуже будет.

— Но ведь ты не можешь обмануть ожидания публики.

— Эта подлая публика! Скоты, только и знают, что пить и объедаться. Сборище болтливых болванов, которым некуда деньги девать. Видеть их не могу. Им наплевать, что я жизнью рискую.

— Конечно, они ищут сильных ощущений, я не спорю, — в замешательстве сказал он. — Но ведь ты знаешь не хуже моего, что риска тут нет, если только не терять самообладания.

— А я совсем потеряла самообладание, Сид. Я разобьюсь.

Она слегка повысила голос, и он быстро оглянулся на бармена. Но бармен был занят чтением газеты и не обращал на них внимания.

— Ты ведь не знаешь, как это все выглядит сверху, когда смотришь оттуда вниз, на резервуар. Честное слово, я сегодня думала, я упаду в обморок. Я не могу прыгать сегодня второй раз, слышишь? Ты должен избавить меня от этого, Сид.

— Если ты смалодушничаеть сегодня, то завтра тебе будет еще труднее.

— Нет, не труднее. Меня доконало, что нужно прыгать по два раза, да еще ждать столько времени. Ты пойди к мистеру Эспинелю и скажи ему, что я не могу давать по два выступления за вечер. У меня нервы не выдерживают.

— Он никогда на это не пойдет. Все их доходы от ужинов держатся на тебе. Ведь люди приходят сюда в это время, только чтобы поглядеть на тебя.

— Ничего не поделаешь. Говорю тебе, я больше так не могу.

Он помолчал. По ее бледному лицу все еще катились слезы, и он видел, что она быстро теряет над собой власть. Он уже несколько дней чувствовал что-то неладное и беспокоился. Пытался не дать ей заговорить. Он смутно понимал, что лучше будет, если она не выразит словами то, что чувствует. Но он волновался. Потому что он ее любил.

— Эспинель все равно хотел меня видеть, — сказал он.

— Что ему надо?

— Не знаю. Я скажу ему, что ты не можешь давать больше одного выступления за вечер, и посмотрим, что он на это ответит. Ты меня здесь подождешь?

— Нет, я пойду к себе наверх.

Десять минут спустя он прибежал к ней возбужденный, веселый, довольный. Он широко распахнул дверь.

— У меня для тебя отличные новости, дорогая. Они оставляют нас еще на месяц и будут платить вдвое.

Он подскочил к ней, чтобы обнять и поцеловать ее, но она его оттолкнула.

— Должна я прыгать сегодня второй раз?

— Боюсь, что да. Я пробовал было договориться только на одно выступление в день, но он и слушать не захотел. Говорит, это совершенно необходимо, чтобы ты прыгала

во время ужина. И право же, за двойную-то плату дело стоит того.

Тут она бросилась на пол и разразилась целой бурей слез.

— Не могу я, Сид, не могу! Я разобьюсь насмерть.

Он сел подле нее на пол, поднял ее голову, он обнял ее и ласково погладил.

— Возьми себя в руки, детка. Не можем же мы отказаться от такой суммы. Подумай только, этого хватит нам на целую зиму, и можно будет ничего не делать. Да и осталось-то всего каких-нибудь четыре дня в июле, а потом — только один август.

— Нет, нет, я боюсь. Я не хочу умирать, Сид. Я люблю тебя.

— Я знаю, детка, а я люблю тебя. Да я с тех пор, как мы поженились, ни разу не взглянул на другую женщину. У нас еще никогда не было таких денег и никогда больше не будет. Ты же знаешь, как это бывает, сейчас у нас шумный успех, но ведь рано или поздно это кончится. Надо ковать железо, пока горячо.

— Неужели ты хочешь, чтобы я умерла, Сид?

— Глупенькая. Ну что бы я делал без тебя? Нельзя так распускаться. Не забывай о собственном достоинстве. Ведь ты мировая знаменитость.

— Как Женщина — Пушечное ядро, — подхватила она со злобным смешком.

«Проклятая старуха», — подумал он.

Он знал, что это было последней каплей. Обидно, что Стелла так ко всему этому относится.

— Она открыла мне глаза, — продолжала Стелла. — Ну для чего они по стольку раз приходят и смотрят, как я прыгаю? Надеются, а вдруг им повезет и они увидят, как я разобьюсь насмерть. Я умру, а через неделю они забудут даже, как меня звали. Вот она какая, твоя публика. Я все поняла, когда увидела эту размалеванную старую куклу. О Сид, как я несчастна! — Она обвила руками его шею, прижалась щекой к его щеке. — Не уговаривай меня, Сид. Я не могу прыгать второй раз.

— Сегодня не можешь? Если ты в самом деле так сегодня расстроилась, я скажу Эспинелю, что тебе стало дурно. Думаю, на один раз это сойдет.

— Не сегодня, а вообще. Никогда.

Она почувствовала, что он весь замер.

— Сид, милый, не думай, что это у меня каприз. Это не сегодня ко мне пришло, оно назревало уже давно. По ночам я заснуть не могу, все думаю об этом, а как только задремлю, мне снится, что я стою на верхушке лестницы и смотрю вниз. Я сегодня едва на нее поднялась, так я дрожала, а когда ты поджег бензин и крикнул «*allez*», меня словно что-то не пускало вниз. Сама не знаю, как я прыгнула. Помню только, что уже стою внизу, а кругом все хлопают. Сид, если бы ты любил меня, ты бы не заставлял меня идти на такую пытку.

Он вздохнул. У него и у самого глаза были мокры от слез, потому что он преданно любил ее.

— Ты ведь знаешь, что это для нас означает. Прежняя жизнь. Марафоны и все такое.

— Что угодно, только не это.

Прежняя жизнь. Они оба помнили ее. Сид с восемнадцати лет был танцором-жиголо; он был очень хорош собой, смуглый, похожий на испанца и горячий, старухи и пожилые женщины охотно платили за то, чтобы потанцевать с ним, и он никогда не сидел без работы. Из Англии его забросило на континент, и здесь он и остался, кочуя из отеля в отель — зимой на Ривьере, а летом на водах во Франции. Жилось неплохо, их обычно было двое-трое, и они вместе снимали где-нибудь дешевую комнату. Вставать они могли поздно, чтобы только успеть одеться к двенадцати часам, когда надо было являться в отель и танцевать с толстыми женщинами, которые хотели похудеть. После этого до пяти они были свободны, а потом снова приходили в отель и садились за столик все втроем, поглядывая по сторонам, всегда готовые обслужить желающих. У них были свои постоянные клиентки. Вечером они переходили в ресторан, и администрация кормила их вполне приличным обедом.

В перерыве между блюдами они танцевали. Можно было неплохо заработать. Обычно от тех, с кем они танцевали, они получали от пятидесяти до ста франков. Иной раз какая-нибудь богатая дама, потанцевав со своим жиголо два или три вечера подряд, давала ему даже целую тысячу. А иной раз пожилая женщина предложит провести с ней ночь, и тогда ты получаешь за это двести пятьдесят франков. И всегда оставалась надежда, что какая-нибудь старая дура потеряет голову, и тогда можно было получить платиновое кольцо с

сапфиром, портсигар, что-нибудь из одежды и часы-браслетку. Один из приятелей Сиды женился на такой, она годилась ему в матери, но зато подарила ему автомобиль, давала деньги на игру, у них была красивая вилла в Биаррице. То были хорошие времена, когда денег у всех было хоть отбавляй. Потом наступил кризис и больно ударил по их профессии. Гостиницы пустовали, и редко кто готов был платить за удовольствие потанцевать с красивым молодым человеком. Все чаще и чаще случалось, что Сид за целый день не зарабатывал себе даже на выпивку, и не раз уже бывало, что какая-нибудь жирная старуха весом в тонну имела наглость заплатить ему десять франков. Расходы его не сократились, — надо было хорошо одеваться, иначе управляющий отелем делал замечание, уйму денег стоила стирка, а сколько белья ему было нужно, со стороны и не представишь себе; потом, ботинки, на этих полах ботинки прямо горели, а нужно было, чтобы они выглядели, как новые. И еще он должен был платить за комнату и завтрак.

Именно в это время он встретился со Стеллой. Было это в Эвиане, где сезон оказался просто катастрофическим. Она давала уроки плавания. Она приехала из Австралии, где прославилась своими прыжками в воду. По утрам и после обеда она демонстрировала публике свое искусство. На вечера она была ангажирована на танцы в отель. Они обедали вдвоем в ресторане за отдельным столиком в стороне от посетителей, а когда оркестр начинал играть, они танцевали, чтобы увлечь публику своим примером. Но часто никто не соблазнялся, и они танцевали одни. Ни ему, ни ей платные партнеры почти не подвертывались. Они влюбились друг в друга и к концу сезона поженились.

Они никогда не раскаивались в этом. Им пришлось несладко. Даже несмотря на то, что по деловым соображениям они скрывали свой брак (пожилым дамам как-то не очень нравилось танцевать с женатым мужчиной в присутствии его жены), все-таки достать в отелях работу на двоих было довольно сложно, а одному Сиду никак не под силу было заработать им обоим на жизнь, даже на самую скромную. Дела для жиголо были из рук вон плохи. Они уехали в Париж и там подготовили танцевальный номер, но конкуренция была просто ужасная, и ангажемент на эстрадные выступления почти невозможно было получить. У Стеллы отлично получались бальные танцы, но в то время в моде

была акробатика, и, сколько бы они ни тренировались, ей ни разу не удалось сделать ничего из ряда вон выходящего. А танец апашей всем уже приелся. Они по неделям сидели без работы. Часы-браслетка Сиды, его золотой портсигар, его платиновое кольцо — все ухнуло в ломбард. Наконец они оказались в Ницце, доведенные до такого состояния, что Сиду пришлось заложить свой парадный костюм. Это была полная катастрофа. Они вынуждены были принять участие в марафоне, который затеял какой-то предприимчивый антрепренер. Они танцевали двадцать четыре часа в сутки с перерывом в пятнадцать минут каждый час. Это было страшно. У них болели ноги, деревенели ступни. Иногда они надолго переставали сознавать, что делают. Просто двигались в такт музыке, стараясь по возможности беречь силы. Это принесло им немного денег, им давали франков по сто или двести для ободрения, и время от времени, чтобы привлечь к себе внимание присутствующих, они, встряхнувшись, принимались танцевать «на публику», со всем своим искусством. Если публика была настроена доброжелательно, это давало им приличную сумму. Они страшно устали. На одиннадцатый день Стелла упала в обморок, и ей пришлось выйти из игры. Сид продолжал танцевать один, двигаясь и двигаясь без остановки, в своем гротескном танце без партнерши. То было самое тяжелое время в их жизни. Полное падение. Оно оставило по себе страшную, унижительную память.

Но именно тут-то Сиды и осенило вдохновение. Оно пришло к нему в танцевальном зале, когда он медленно двигался один по кругу. Стелла всегда говорила, что могла бы нырять в блюдце. Тут требовалось только мастерство.

— Странно это, как идеи приходят в голову, — говорил он потом. — Будто вспышка молнии.

Он вдруг вспомнил, как какой-то мальчишка поджег однажды у него на глазах пролитый на мостовую бензин и как сразу взметнулись языки пламени. Потому что, конечно, именно это пламя, этот эффектный прыжок в огонь привлек к ним внимание публики. Он сразу же бросил танцевать, до того разволновался. Он переговорил со Стеллой, и она тоже увлеклась этой затеей. Он написал одному своему знакомому агенту; Сиды все любили, он был симпатичный паренек, и агент ссудил их деньгами на реквизит. Он устроил им ангажемент в парижском цирке, и их номер

понравился. После этого дело пошло. Ангажементы следовали один за другим. Сид заново оделся с головы до ног, а вершиной всего был тот день, когда они устроились в летнее казино на побережье. Сид вовсе не преувеличивал, говоря, что Стелла имеет бешеный успех.

— Теперь наши тяготы позади, старушка, — ласково говорил он. — Мы можем отложить кое-что про черный день, а когда этот номер публике приестся, я возьму и придумаю что-нибудь еще.

И вот теперь, в самый разгар их процветания, Стелла вдруг хочет все бросить. Он не знал, что ей сказать. У него сердце разрывалось, оттого что ей было так плохо. Он любил ее теперь еще больше, чем тогда, когда они поженились. Он любил ее за все то, что они пережили вместе; ведь как-то они целых пять дней питались ломтем хлеба в день и стаканом молока на двоих, и он любил ее за то, что она вытащила его из этой жизни; у него теперь опять были хорошие вещи и еда три раза в день. Он не мог смотреть на нее, не мог видеть страдальческого выражения ее милых серых глаз. Она робко протянула руку и коснулась его руки. Он глубоко вздохнул.

— Ты ведь знаешь, что это для нас означает. Связи в отелях мы растеряли, да и вообще со старым покончено. Если и есть там еще что, так это достается тем, кто помоложе нас с тобой. Ты ведь не хуже меня знаешь, чего хотят старые женщины — им подавай мальчиков, — да и потом, у меня рост маловат. Это было не так уж важно, пока я был младенцем. А что толку говорить, будто сейчас я не выгляжу на свои тридцать лет?

— Может, мы могли бы сниматься в кино?

Он пожал плечами. Они уже один раз пытались, когда дела у них были особенно плохи.

— Я бы на любую работу пошла. Хоть продавщицей в магазин.

— Ты думаешь, работа у тебя на дороге валяется?

Она снова заплакала.

— Не надо, дорогая, тырываешь мне сердце.

— У нас ведь кое-что отложено.

— Да, верно. Месяцев на шесть хватит. А потом будем голодать. Сначала позакладываем всякую мелочь, а потом пойдет и одежда, как в тот раз. А потом танцы по захудалым пивным за бесплатный ужин и пятьдесят франков в

ночь. Целые недели без работы. И марафон — всякий раз, как его объявят. Да и долго ли публика будет интересоваться ими?

— Я знаю, Сид, ты думаешь, что с моей стороны это безрассудство.

Теперь он повернулся, поглядел на нее. У нее в глазах были слезы. Он улыбнулся ей своей неотразимой, ласковой улыбкой.

— Нет, я так не думаю, детка. Я хочу, чтоб тебе было хорошо. Ведь, кроме тебя, у меня никого нет. Я тебя люблю.

Он обнял ее и прижал к себе. Он слышал, как у нее бьется сердце. Раз Стелла так к этому относится, значит, ничего не поделаешь. Ведь правда, вдруг она разобьется насмерть? Нет, нет, пусть лучше она все бросит, и к чертям эти деньги.

Она слегка пошевелилась.

— Ты что, девочка?

Она высвободилась и встала. Подошла к туалетному столику.

— Мне пора уже, наверно, готовиться к выходу.

Он вскочил.

— Ты сегодня не будешь прыгать.

— И сегодня, и каждый день, покуда не убьюсь. Что же еще остается? Ты прав, Сид, я понимаю. Я не смогу вернуться опять в эти вонючие номера в третьеразрядных отелях и чтоб опять нечего было есть. Ох, эти марафоны. И зачем ты только о них вспомнил? Целые дни движешься усталая, грязная, а потом все-таки приходится выйти из игры, потому что сил человеческих нет больше терпеть. Может быть, я и правда продержусь еще месяц, и тогда у нас будет довольно денег, чтобы ты успел подыскать что-нибудь.

— Нет, дорогая. Я так не могу. Бросим это. Как-нибудь устроимся. Мы с тобой и раньше голодали, можем и еще поголодать.

Она скинула с себя всю одежду и мгновение стояла в одних чулках, глядя в зеркало. Она безжалостно улыбнулась своему отражению.

— Я не могу обмануть ожидания публики, — со смешком сказала она.

ВКУСИВШИЙ НИРВАНЫ

Люди в большинстве, — собственно говоря, в подавляющем большинстве, — ведут ту жизнь, которую им навязывают обстоятельства, и хотя некоторые тоскуют, чувствуют себя не на своем месте и думают, что обернись все иначе, так они сумели бы себя показать, прочие же, как правило, приемлют свой жребий если не безмятежно, то покорно. Они подобны трамваю, который вечно катит по одним и тем же рельсам. И они неизменно движутся взад-вперед, взад-вперед, пока в силах, а потом идут на слом. И не так часто встречаешь человека, который сам смело определил ход своей жизни. Если вам подобная встреча выпадет, к такому человеку стоит присмотреться получше.

Вот почему мне было любопытно познакомиться с Томасом Уилсоном. Он поступил необычно и смело. Разумеется, эксперимент еще не кончился, а до тех пор судить о его успешности не приходилось. Но то, что мне довелось о нем услышать, рисовало его в необычном свете, и я решил, что с ним стоит познакомиться. Меня предупредили, что он очень замкнут, но терпение и такт, казалось мне, в конце концов обязательно побудят его выбрать меня в наперсники. Я хотел услышать всю историю из его собственных уст. Люди преувеличивают, они склонны романтизировать, и я был готов к тому, что его история окажется далеко не такой особенной, как меня уверяли.

И впечатление это подтвердилось, когда я наконец с ним встретился. Это было на пьядце в Капри (я проводил там август на вилле друга) и незадолго до заката, когда почти все обитатели городка — и туземцы и иностранцы — собираются там поболтать с приятелями в вечерней прохладе.

Одна терраса выходит на Неаполитанский залив, и когда солнце медленно опускается в море, остров Искья вырисовывается темным силуэтом на фоне многоцветного сияния. Это одно из самых прекрасных зрелищ в мире. Я стоял, созерцая его, рядом с моим другом и хозяином, как вдруг он сказал:

— Поглядите, вон Уилсон.

— Где?

— Сидит на парапете спиной к нам. В голубой рубашке.

Я увидел ничем не примечательную спину, небольшую голову, короткие, довольно жидкие, седые волосы.

— Вот если бы он обернулся! — сказал я.

— Обернется через минуту-другую.

Мгновение ошеломляющей красоты миновало. И солнце макушкой апельсина погружалось в винно-багряное море. Мы повернулись и, прислонясь к парапету, смотрели на людей, которые прогуливались взад и вперед, оживленно разговаривая. Веселая многоголосица бодрила и радовала, а тут еще зазвонил церковный колокол, заметно надтреснутый, но тем не менее звучный и гулкий. Пьяцца в Капри, где башенка с часами осеняет пешеходную дорожку, поднимающуюся от порта, и широкие ступени ведут выше к церкви, выглядит идеальной декорацией какой-нибудь опере Доницетти: так и кажется, что говорливая толпа вот-вот преобразится в поющий хор. Все было пленительным и нереальным.

Это зрелище меня поглотило, и я не заметил, что Уилсон спрыгнул с парапета и направился в нашу сторону. Когда он проходил мимо, мой друг его окликнул:

— А, Уилсон! Последние дни вас что-то на пляже не видно.

— Перемены ради я купался за мысом.

Мой друг познакомил нас. Уилсон пожал мне руку — вежливо, но безразлично. В Капри на несколько дней или недель приезжает множество людей, и, естественно, он постоянно знакомился с кем-то, кто только что приехал и завтра уедет. Затем мой друг пригласил его пойти с нами выпить.

— Но я иду домой ужинать, — сказал он.

— А ужин подождать не может? — спросил я.

— Наверное, может, — улыбнулся он.

Зубы у него были довольно скверными, но улыбка — очень приятной. Мягкой и доброй. На нем была бумажная рубашка и серые брюки из тонкого холста, мятые и не слишком чистые, а на ногах — старенькие сандалии. Облечение это выглядело очень живописно и подходило и к месту и к климату, но не вязалось с его лицом — морщинистым, вытянутым, черным от загара, тонкогубым, с небольшими, близко посаженными серыми глазами и правильными мелкими чертами. Лицо не то чтобы невзрачное — в молодости Уилсон, возможно, был даже красив, — но чопорное. Голубая рубашка была расстегнута на груди, а серые холщовые брюки он носил так, словно они ему не принадлежали, но потерпев кораблекрушение в одной пижаме, он вынужден был надеть то, чем его снабдили добрые люди. Даже в таком прихотливом костюме он выглядел, как управляющий отделением страхового общества, которому положено носить черный сюртук с темно-серыми брюками, белый воротничок и галстук неяркой расцветки. Мне даже представилось, как я прихожу к нему получить страховые деньги за потерянные часы и, отвечая на его вопросы, все больше чувствую себя угнетенным его несомненным, несмотря на безупречную вежливость, убеждением, что люди, предъявляющие подобные претензии, либо дураки, либо мошенники.

Мы неторопливо пошли вместе по пьянице и дальше по улице до «У Моргано». И сели в саду. Вокруг нас другие посетители разговаривали по-русски, по-немецки, по-итальянски и по-английски. Мы заказали выпить. Донна Лючия, супруга хозяина, вперевадку подошла к нашему столику и низким мелодичным голосом пожелала нам доброго вечера. Уже в годах и дородная, она все еще сохраняла остатки той несравненной красоты, которая тридцать лет назад заставляла художников писать столько скверных ее портретов. Глаза, большие и томные, были глазами волоокой Геры, а улыбка — ласковой и любезной. Мы, трое, некоторое время болтали о том о сем — в Капри все время разыгрываются скандалы и скандальчики, давая пищу для таких разговоров, но ничего интересного сказано не было, и вскоре Уилсон попрощался и ушел. А мы не спеша побрели на виллу моего друга ужинать. По дороге он спросил меня, как мне показался Уилсон.

— Никак, — сказал я. — По-моему, в вашем рассказе нет ни слова правды.

— Почему?

— Он не такой человек, чтобы поступить так.

— Как знать, на что бывает способен человек?

— Я определил бы его, как абсолютно нормального, ушедшего на покой дельца, который живет на проценты с капитала, помещенного в государственные бумаги. Мне кажется, история, которую вы мне рассказали, обычные кап-рийские сплетни.

— Ну, пусть так, — сказал мой друг.

Обычно мы отправлялись купаться на пляж, который назывался «Бани Тиберия». Брали извозчика, оставляли его у поворота дороги и шли напрямик через лимонные рощи и виноградники, звенящие цикадами, напоенные жарким запахом солнца, до края обрыва, откуда тропинка крутыми петлями спускалась к морю.

Дня через два, когда мы были уже почти внизу, мой друг сказал:

— А! Уилсон снова здесь.

Похрустывая галькой, мы пошли по пляжу, единственным недостатком которого было отсутствие песка. Уилсон увидел нас и помахал рукой. Он стоял, выпрямившись, с трубкой в зубах, одетый только в трусы. Тело у него было темно-коричневым и худощавым, но не худым, и по контрасту с морщинистым лицом и седыми волосами выглядело почти молодым. Разгоряченные ходьбой, мы быстро разделись и кинулись в воду. В шести футах от берега она была глубиной в тридцать футов, но такой прозрачной, что было видно дно. Хотя и теплая, она бодрила и освежала.

Когда я выбрался на берег, Уилсон лежал на животе, подстелив под себя полотенце, и читал книгу. Я закурил сигарету, подошел и сел возле.

— Ну как искупались? — спросил он, заложил книгу трубкой, закрыл и опустил на гальку у себя под рукой. Он явно был расположен поговорить.

— Чудесно, — сказал я. — Такого купанья нет нигде в мире.

— Люди, естественно, верят, будто это были бани Тиберия. — Он махнул рукой в сторону бесформенных развалин, частично уходящих в море. — Полная чепуха. Просто одна из его вилл, знаете ли.

Я знал. Но зачем мешать людям, когда им хочется что-то вам рассказать. Если вы позволяете им просвещать вас, они проникаются к вам расположением.

Уилсон засмеялся.

— Забавный старичок, Тиберий. Жаль, что теперь утверждают, будто во всех историях о нем нет ни слова правды.

Он принялся рассказывать мне про Тиберия. Ну, я тоже читал Светония и исторические исследования возникновения Римской империи, а потому ничего особенно нового не услышал. Но я заметил, что он довольно эрудирован, о чем и упомянул.

— Ну, когда я тут обосновался, мне, естественно, стало интересно, а времени читать у меня предостаточно. Когда живешь в месте, где полно всяких исторических ассоциаций, то история как будто приближается к тебе. Как будто ты сам живешь в исторические времена.

Следует сказать, что происходило это в 1913 году. Мир был уютным, благоустроенным местом, и никому в голову не могло прийти, что хоть что-нибудь серьезное может нарушить его тихую безмятежность.

— А вы здесь давно? — спросил я.

— Пятнадцать лет. — Он взглянул на спокойное синее море, и его узкие губы тронула странно-нежная улыбка. — Я влюбился в этот остров с первого взгляда. Полагаю, вы слышали про легендарного немца, который приехал сюда на неаполитанском пароходике просто пообедать и осмотреть Голубой грот, — и остался на сорок лет. Ну, со мной было не совсем так, но в конечном счете свелось к тому же. Только в моем случае сорока лет не будет. Двадцать пять. Но это все-таки лучше, чем ничего.

Я молчал, ожидая продолжения. Из его слов как будто следовало, что необычная история, которую мне рассказали, все-таки опиралась на факты. Но тут из воды, рассыпая брызги, вылез мой приятель, гордясь тем, что проплыл милю, и разговор перешел на другие темы.

Потом я еще несколько раз встречался с Уилсоном — либо на пьядце, либо на пляже. Он держался дружески и деликатно, всегда был рад поболтать, и я выяснил, что он знает как свои пять пальцев не только весь остров, но и берега Неаполитанского залива. Он много читал о самых разных предметах, однако его специальностью была история Рима, в которой он был весьма осведомлен. Воображением

он не отличался и интеллектуально был зауряден. Много смеялся, но сдержанно, и его чувство юмора отзывалось на самые простенькие шутки. Ничем не примечательный человек. Я не забыл его странных слов в нашем первом разговоре наедине, но больше он к этой теме даже косвенно не возвращался. Как-то, вернувшись с пляжа на пьядцу, мы с моим другом, отпуская извозчика, предупредили, чтобы он был готов в пять часов отвезти нас в Анакапри. Мы намеревались подняться на Монте-Соляро, пообедать в облюбованной нами таверне, а потом спуститься вниз при свете луны. Было полнолуние, и ночные пейзажи отличались необыкновенной красотой. Пока мы отдавали распоряжение извозчику, Уилсон стоял рядом (мы подвезли его, чтобы избавить от необходимости подниматься по жаркой пыльной дороге), и больше из вежливости, чем по какой-либо другой причине, я спросил, не хочет ли он присоединиться к нам.

— Это, собственно, моя экскурсия, — сказал я.

— С большим удовольствием, — ответил он.

Однако к пяти часам мой друг почувствовал легкое недомогание — перекупался, как он сказал, — и долгая, утомительная прогулка его не прельщала. Поэтому я отправился вдвоем с Уилсоном. Мы вскарабкались на гору, полюбовались широким видом и вернулись в гостиницу перед самыми сумерками разгоряченные, счастливые, замученные жаждой. Обед мы заказали заранее. Отличный обед, потому что Антонио был прекрасным поваром, и мы пили вино из его виноградника. Оно было таким легким, что казалось, будто его можно пить, как воду, и мы прикончили первую бутылку за макаронами. Когда мы допили вторую, жизнь представлялась нам великолепной. Мы сидели в садике под толстой лозой, отягощенной гроздьями. Воздух был изумительно мягок. Вечер был тихий, мы были одни. Служанка принесла нам чудесный местный сыр и тарелку инжира. Я заказал кофе и стрегу — самый лучший итальянский ликер. От сигары Уилсон отказался и закурил трубку.

— У нас еще много времени, — заметил он. — Луна поднимется из-за горы не раньше, чем через час.

— Луна луной, — сказал я решительно, — но времени у нас, безусловно, много. В том-то и прелесть Капри, что никуда торопиться не нужно.

— Досуг! — сказал он. — Если бы люди знали. Это самое драгоценное, что только может выпасть на человеческую долю, а они такие глупцы, что даже не знают, к чему им следует стремиться. Работа? Они работают во имя работы. У них не хватает ума понять, что единственный смысл работы — обрести досуг.

Некоторых людей вино соблазняет на общие рассуждения. Его слова были справедливы, но никто не счел бы их оригинальными. Я промолчал и только чиркнул спичкой, чтобы зажечь мою сигару.

— Когда я в первый раз приехал на Капри, было полнолуние, — продолжал он задумчиво. — Словно и луна была та же, что вот сейчас.

— Она и была та же! — Я улыбнулся.

Он ухмыльнулся в ответ. Сад освещался только керосиновым фонарем, который висел у нас над головой. Слишком тусклым, чтобы было удобно ужинать, но как раз для исповеди.

— Я хотел сказать другое: словно все было вчера. Пятнадцать лет! А когда я оглядываюсь назад, кажется, что и месяца не прошло. Я никогда раньше в Италии не бывал. Приехал в летний отпуск. Пароходом из Марселя до Неаполя. Осмотрел достопримечательности — Помпею, Пестум, еще что-то, а потом отправился сюда на неделю. Остров мне сразу понравился. То есть, я хочу сказать, еще с моря, когда я смотрел, как он приближается. И потом, когда мы спустились в шлюпки и высадились на набережной. Орава вопящих людей: кто хватается твой багаж, кто расхваливает отель. И ветхие домики на набережной, и дорога вверх к отелю, и ужин на террасе — все это околдовало меня. Я просто не понимал, что со мной делается. Я прежде не пил каприйского вина, но я про него слышал и, наверное, немножко перепил. Все ушли спать, а я сидел на террасе, смотрел на луну над морем. А вдали Везувий и багровый столб дыма над ним. Конечно, теперь я знаю, что пил чернила. Каприйское вино, как бы не так! Но тогда мне казалось, что так и надо. Но опьяняло меня не вино, а форма острова, и эти вопящие люди, и луна с морем, и олеандры в саду отеля. Я еще ни разу не видел олеандров.

Это был длинный монолог, и у него пересохло в горле. Он взял свою рюмку, но она была пуста. Я спросил, не выпьет ли он еще стрегги.

— Слишком липкая штука. Давайте возьмем бутылку вина. Совсем другое дело: чистый виноградный сок и никому повредить не может.

Я заказал еще вина и, когда его подали, наполнил наши рюмки. Он сделал большой глоток, вздохнул от удовольствия и продолжал:

— На следующий день я отыскал пляж, где мы сейчас бываем. Хорошее купание, подумал я, и пошел бродить по острову. Мне повезло: в Пунта-ди-Тимберию была festa¹, и я вдруг увидел процессию. Статуя Пресвятой Девы, священники, служки с кадильницами, а за ними валит толпа веселых, хохочущих, радостных людей, разнаряженных, кто как может. Я там встретил одного англичанина и спросил у него, что тут происходит. «Празднуется День Успения, — сказал он. — Во всяком случае, так утверждает католическая церковь, но, по обыкновению, передергивает. Это праздник Венеры. Чисто языческий, понимаете? Афродита, рождающаяся из морской пены, и все прочее». От его слов мне как-то странно сделалось. Будто вдруг древностью на меня пахнуло, не знаю, как выразить. А потом как-то вечером я пошел поглядеть на Фаральони при лунном свете. Если бы судьба хотела, чтобы я и дальше оставался управляющим банка, так помешала бы этой моей прогулке.

— Так вы были управляющим банка? — спросил я.

Его былого занятия я не угадал, но ошибся не так уж сильно.

— Да. Отделения «Йорк и Сити» на Крофорд-стрит. Мне это было очень удобно, потому что я жил под Хендоном, и дорога от двери до двери брала тридцать семь минут.

Он попытался трубкой и снова ее разжег.

— Это был мой последний вечер, да. Утром в понедельник мне нужно было быть в банке. Я смотрел на эти две огромные, встающие из воды скалы, на огоньки рыбацких лодок, занятых ловлей кальмаров, и все было таким мирным, таким прекрасным, что я сказал себе: а зачем, собственно, мне возвращаться? Ведь не то чтобы я был кому-то нужен. Моя жена умерла от бронхиального воспаления легких еще четыре года назад, а девочку взяла к себе бабушка, мать моей жены. Старая дура толком за девочкой не смотрела, и у нее началось заражение крови. Ей ампутиро-

¹ Церковный праздник.

вали ногу, но спасти все равно не смогли, она умерла, бедная малышка.

— Ужасно, — сказал я.

— Да. Мне было очень тяжело, хотя, конечно, меньше, чем если бы она жила со мной. И, может быть, в конечном счете так было лучше. У одноногой девушки что за жизнь? Я и о жене горевал. Хотя не знаю, долго ли бы это продолилось. Она была из тех женщин, кого всегда заботит, что подумают другие люди. Путешествовать она не любила. Ей для отдыха довольно было Истберна. Знаете, я в первый раз побывал на континенте только после ее смерти.

— Но, вероятно, у вас есть родственники?

— Никого. Я был единственным ребенком. У отца был брат, но он уехал в Австралию еще до моего рождения. Думаю, в мире нашлось бы мало таких одиноких людей, как я. И я не видел, почему не могу поступить так, как хочу. Мне тогда было тридцать четыре.

Он уже сказал, что прожил на Капри пятнадцать лет. Следовательно, теперь ему было сорок девять. Примерно столько лет я ему и дал бы.

— Я работал с семнадцати лет. И впереди меня ждало все одно и то же, одно и то же, пока я не уйду на пенсию. И я спросил себя: стоит ли оно того? Почему не бросить все и не провести здесь оставшуюся мне жизнь? Ничего прекраснее я нигде не видел. Но я прошел деловую школу, и я осторожен по натуре. «Нет, — сказал я, — не надо поддаваться влиянию минуты. Я уеду завтра, как собирался, и хорошенько подумаю. Может быть, в Лондоне все будет выглядеть иначе». Идиот я был, верно? Потерял целый год.

— Так вы не передумали?

— Конечно, нет. Все время, пока я работал, я вспоминал купание здесь, и виноградники, и прогулки по горам, и луну, и море, и пьяццу по вечерам, когда все собираются на ней поболтать после трудового дня. Меня только одно смущало: имею ли я нравственное право не работать, как работают остальные люди. И тут мне попалась историческая книга какого-то Мэрьона Крофорда, и там был рассказ о Сибарисе и Кротоне. Это были два города, и в Сибарисе они только развлекались и наслаждались жизнью, а в Кротоне были суровы, трудолюбивы и все прочее. И вот однажды кротонцы обрушились на Сибарис и стерли его с лица земли, а через некоторое время откуда-то явилась какая-то

орда и стерла с лица земли Кротону. От Сибариса не осталось ни единого камня, а от Кротоны сохранилась одна колонна. Это для меня все и решило.

— Каким образом?

— Так ведь в конечном счете вышло одно, верно? И если взглянуть теперь, кто больше остался в дураках?

Я не ответил, и он продолжал:

— Все упиралось в деньги. Банк давал пенсию только после тридцати лет службы, но тому, кто уходил раньше, выплачивалось выходное пособие. Его вместе с тем, что я выручил бы от продажи дома, и небольшими сбережениями, которые я умудрился сделать, не хватало для покупки пожизненной ренты. Было бы глупо пожертвовать всем ради того, чтобы вести приятную жизнь, и не располагать деньгами, которые делали бы ее приятной. Я хотел иметь собственный домик, служанку, которая вела бы хозяйство, и достаточно денег на табак, приличную еду, иногда на книги, ну и еще что-нибудь на непредвиденные расходы. Я точно знал, сколько мне нужно, и выяснилось, что денег у меня как раз хватит для ренты на двадцать пять лет.

— Вам тогда было тридцать пять?

— Да. Она обеспечивала меня до шестидесяти. А в конце концов еще вопрос, удастся ли дотянуть до шестидесяти. Очень многие умирают на шестом десятке, да и вообще, когда человеку стучит шестьдесят, все лучшее у него так или иначе позади.

— С другой стороны, нельзя же быть уверенным, что обязательно умрешь в шестьдесят.

— Ну, не знаю. Все зависит от самого человека, верно?

— На вашем месте я бы остался в банке, пока не получил бы права на пенсию.

— Мне было бы тогда сорок семь. Я был бы еще не настолько стар, чтобы не получать удовольствия от моей жизни тут (мне ведь теперь уже больше, чем сорок семь, и я наслаждаюсь ею точно так же), но я был бы уже не способен испытывать ту радость, какую дает молодость. Понимаете, и в пятьдесят можно получать от жизни не меньше удовольствия, чем в тридцать. Но оно другое. А я хотел пожить идеальной жизнью, пока у меня еще оставалось достаточно энергии и бодрости изведать ее со всей полнотой. Двадцать пять лет представлялись мне долгим сроком. И за двадцать пять лет счастья, видимо, стоило заплатить чем-то очень

весомым. Я уже решил протянуть еще год и протянул, а тогда объявил, что уйду, подождал, чтобы мне выплатили пособие, тут же купил ренту и приехал сюда.

— Ренту на двадцать пять лет?

— Совершенно верно.

— И вы ни разу не пожалели?

— Ни единого. Я уже получил за свои деньги сполна. А у меня еще десять лет впереди. Согласитесь, после двадцати пяти лет абсолютного счастья следует удовлетвориться и поставить точку.

— Может быть.

Он не сказал прямо, что сделает тогда, но его намерения были очевидны. Примерно так все это уже мне рассказал мой друг, но когда я услышал историю Уилсона из уст его самого, она обрела иное звучание. Я исподтишка покосился на него. Все в нем выглядело заурядным. Никто, глядя на это вполне обыкновенное, чопорное лицо, ни на секунду не заподозрил бы, что он способен на разрыв с общепринятым. Я его не осуждал. Так странно он распорядился не чьей-то, а собственной жизнью, и я не видел причин, почему он не мог поступить с ней, как ему хотелось. И все же по спине у меня пробежала холодная дрожь.

— Озябли? — Он улыбнулся. — Так пойдемте. Луна уже должна подняться высоко.

Когда мы прощались, Уилсон спросил, не хочу ли я посмотреть его домик, и два-три дня спустя, узнав, где он живет, я отправился к нему. Жил он в крестьянской хижине посреди виноградника, довольно далеко от города и с видом на море. У двери рос старый олеандр в полном цвету. Хижина вмещала две комнатухи и крохотную кухоньку, к которой примыкал дровяной навес. Спальня была обставлена как монашеская келья, но гостиная, приятно пахнувшая табаком, выглядела уютной — два покойные кресла, которые он привез из Англии, внушительное бюро с полукруглой крышкой, небольшое пианино и битком набитые книжные полки. На стенах в рамках висели гравюры с картин Д. Ф. Уотса и лорда Лейтона. Уилсон объяснил, что дом принадлежит владельцу виноградника, который живет в другом доме выше по склону, и его жена приходит каждый день убирать и готовить. Он нашел эту хижину еще в свой первый приезд на Капри, а когда вернулся, снял ее и с тех пор живет здесь. Увидев, что пианино открыто и на пюпитре стоят ноты, я попросил его сыграть что-нибудь.

— Я ведь только бренчу, но музыку люблю и получаю от этого большое удовольствие.

Он сел за пианино и сыграл одну из частей бетховенской сонаты. Играл он не слишком хорошо. Я посмотрел его ноты — Шуман и Шуберт, Бетховен, Бах и Шопен. На столе, за которым он ел, лежала пухлая колода карт.

Я спросил, раскладывает ли он пасьянсы.

— Постоянно.

Благодаря этому визиту и тому, что я слышал от других людей, у меня сложилась, мне кажется, достаточно верная картина жизни, которую он вел пятнадцать лет. Она, бесспорно, была очень тихой. Он купался, много гулял, и как будто по-прежнему свежо воспринимал красоту острова, который узнал так близко. Играл на пианино, раскладывал пасьянсы, читал. Когда его приглашали в гости, он приходил и был хотя и скучноватым, но приятным собеседником. Если его забывали пригласить, он не оскорблялся. Люди ему нравились, но как-то отвлеченно, что мешало дружескому сближению. Он жил экономно, но с комфортом. И никому не был ничего должен, даже мелочи. Мне представляется, что плоть никогда особой роли в его жизни не играла, и если в первые годы у него время от времени завязывался мимолетный роман с какой-нибудь туристкой, поддавшейся романтической атмосфере, его чувства, я убежден, все время оставались под контролем. По-моему, он твердо решил оградить независимость своего духа от любых посягательств. Единственной его страстью была красота природы, и он искал радости в самом простом и естественном, в том, что жизнь предлагает всем. Возможно, вы скажете, что он вел весьма эгоистичное существование. Да, так. От него никому не было пользы, но, с другой стороны, он никому не приносил и вреда. Его занимало только собственное счастье, и, казалось, он его обрел. Мало людей знает, где искать счастья, но еще меньше находят его. Не берусь судить, был ли он глуп или мудр. Но, во всяком случае, он знал, чего хочет. Меня в нем удивляла его заурядность. Я бы тут же забыл о нем, когда бы не знал, что в некий день через десять лет, если только случайная болезнь не оборвет его жизни раньше, он должен будет сознательно проститься с миром, который так любит. И, может быть, именно мысль об этом, все время таившаяся в уголке его сознания, и объясняет тот особый жар, с каким он наслаждался каждым мгновением каждого дня.

Было бы нечестно по отношению к нему, если бы я не упомянул, что у него вовсе не было привычки рассказывать о себе. По-моему, он доверился только одному человеку — моему другу, у которого я гостил. И мне он рассказал свою историю, я уверен, только потому, что подозревал, что я ее уже знаю, а к тому же выпил в тот вечер много вина.

Время моего визита подошло к концу, и я уехал с острова. Год спустя разразилась война. В моей жизни произошли разные события, и ход ее изменился. Так что миновало тринадцать лет, прежде чем я снова попал на Капри. Мой друг вернулся туда уже довольно давно, но он больше не был богат и переехал в другой дом, где было слишком тесно, так что мне предстояло жить в отеле. Он встретил меня на пристани, и мы пообедали вместе. За обедом я спросил его, где расположен его новый дом.

— Вы его знаете, — ответил он. — Это хижина, где жил Уилсон. Я пристроил еще одну комнату. Получилось очень недурно.

Слишком много другого все эти годы занимало мои мысли, и я совершенно забыл Уилсона. Но теперь вспомнил с некоторым страхом. Десять лет, оставшиеся ему, когда я с ним познакомился, уже, наверное, давно истекли.

— Он покончил с собой, как собирался?

— Это довольно мрачная история.

План Уилсона был верным. С одним только недостатком, которого, полагаю, предусмотреть он не мог. Ему не приходило в голову, что через двадцать пять лет полного счастья в этом тихом захолустье, где ничто не нарушало безмятежности его существования, он постепенно утратит твердость характера. Воле нужны препятствия, чтобы сохранять силу. Когда ничто не идет ей наперекор, когда осуществление желаний не требует никакого напряжения, ибо желаешь ты лишь того, что можно получить, просто протянув руку, воля становится дряблой. Если все время ходить по плоскости, мышцы, необходимые для подъема в гору, атрофируются. Банально, но верно. Когда срок ренты истек, у Уилсона уже не хватало решимости сделать то, что было ценой, которую он согласился уплатить за эти долгие годы счастливой безмятежности. Насколько я могу судить по тому, что узнал в тот вечер от моего друга, а позже и от кое-кого еще, дело было не в том, что ему не достало мужества.

Просто он никак не мог решиться и откладывал со дня на день.

Он прожил на острове так долго и всегда платил за все с такой пунктуальностью, что ему нетрудно было получить кредит. Никогда прежде он не брал займы и теперь обнаружил, что есть много людей, готовых при первой просьбе ссудить его небольшой суммой. За свою хижину он столько лет платил аккуратно, что его домохозяин, чья жена, Ассунта, по-прежнему убирала у него и стряпала, готов был несколько месяцев ничего не менять. Все поверили ему, когда он рассказал, что скончался один его родственник и он временно оказался в стесненном положении, так как не может получить причитающиеся ему деньги, пока не будут завершены необходимые юридические формальности. Таким манером он просуществовал год с небольшим. Затем местные торговцы отказали ему в кредите, и никто больше не ссужал ему денег. Домохозяин потребовал, чтобы он освободил дом, если не заплатит задолженности до такого-то дня.

Накануне этой даты он вошел в свою крохотную спальню, закрыл дверь и окно, задернул занавески и разжег древесный уголь в жаровне. На следующий день, когда Ассунта пришла приготовить ему завтрак, она нашла его без сознания, но живого. Под кровлей гуляли сквозняки, и хотя он что-то сделал, чтобы закрыть доступ свежего воздуха в спальню, это большой роли не сыграло. Казалось даже, что в последний момент, несмотря на всю отчаянность его положения, ему не хватило целеустремленности. Уилсона доставили в больницу, и хотя некоторое время состояние его было очень тяжелым, он все-таки поправился. Но то ли от отравления угарным газом, то ли от потрясения у него помутилось в голове. Он не был сумасшедшим — во всяком случае, в такой степени, чтобы поместить его в приют для умалишенных, однако было ясно, что он не в своем рас-судке.

— Я побывал у него в больнице, — сказал мой друг. — И попытался разговаривать с ним, но он только глядел на меня каким-то странным взглядом, словно не мог вспомнить, где видел меня раньше. В постели он выглядел страшновато — недельная седая щетина на подбородке и щеках, — но если не считать странного выражения глаз, казался вполне нормальным.

— Какого странного?

— Не знаю, как точно его описать. Недоумение, растерянность. Сравнение, конечно, нелепое, но представьте себе, вы подбросили камень, а он не упал и повис в воздухе...

— Да, это может поставить в тупик.

— Ну, вот такими и были его глаза.

Решить, что делать с ним дальше, оказалось непросто. У него не было ни денег, ни возможности их заработать. Его имущество продали, но вырученных денег не хватило и на уплату его долгов. Он был англичанином, и итальянские власти не желали брать на себя ответственность за него. Английский консул в Неаполе не располагал казенными суммами для подобного случая. Конечно, его можно было бы отправить в Англию, но никто не знал, что с ним делать там. И тут Ассунта, служанка, сказала, что он много лет был хорошим хозяином и хорошим жильцом и, пока у него были деньги, всегда платил аккуратно. Так пусть спит в дровяном сарайчике при хижине, в которой живут они с мужем, и ест с ними. Ему предложили такой выход. Понял он или нет, решить было трудно. Когда Ассунта явилась забрать его из больницы, он пошел с ней без всяких возражений. Собственной воли у него, казалось, больше не было. Она содержит его вот уже третий год.

— Условия не слишком комфортабельные, — сказал мой друг. — Они поставили ему колченогую кровать и дали пару одеял, но окошка нет, зимой там ледяной холод, а летом жарко, как в духовке. И еда убогая. Вы же знаете, как едят эти крестьяне: макароны по воскресеньям, а мясо раз в год по обещанию.

— Но как он проводит время?

— Бродит по горам. Раза два я пытался с ним повидаться. Но это бесполезно: увидев кого-нибудь, он убегает, как заяц. Ассунта иногда заходит ко мне поболтать, и я даю ей немножко денег ему на табак, но только Богу известно, что она с ними делает.

— Они обращаются с ним прилично? — спросил я.

— Ассунта, я уверен, о нем заботится. Она смотрит на него как на ребенка. Ее муж, боюсь, не слишком хорош с ним. Не думаю, чтобы он допускал какие-нибудь жестокости, но, видимо, держится с ним сурово. Заставляет таскать воду, чистить коровник, ну и так далее.

— Да, скверно, — сказал я.

— Он сам на себя это навлек. В конце-то концов, он получил только то, что заслужил.

— Мне кажется, в целом мы все получаем то, что заслужили, — сказал я. — Но все равно, это выглядит жутковато.

Два-три дня спустя мы с моим другом прогуливались по тропинке, петлявшей в маслиновой роще.

— Вон Уилсон, — внезапно сказал мой друг. — Не поворачивайте головы. Вы его только напугаете. Идите прямо.

Я шел, глядя на тропинку, но уголком глаза заметил человека, спрятавшегося за стволом маслины. При нашем приближении он не шелохнулся, но я чувствовал, что он внимательно следит за нами. Едва мы прошли мимо, как сзади послышались бегущие шаги. Точно затравленный зверек, Уилсон кинулся в безопасное убежище. Больше я его не видел.

В прошлом году он умер. Эту жизнь он терпел шесть лет. Однажды утром его нашли на склоне горы. Лицо у него было мирным, словно он умер во сне. С того места, где он лежал, ему были видны Фаральони — две гигантские скалы, поднимающиеся из моря. Было полнолуние, и, наверное, он пошел туда поглядеть на них при лунном свете. Может быть, он умер, не выдержав такой красоты.

В ЛЬВИНОЙ ШКУРЕ

Многие были поражены, узнав, что капитан Форестьер погиб во время пожара, спасая собачку, случайно оказавшуюся запертой в доме. Одни говорили, что не предполагали в нем способности на такое, другие — что такого вполне можно было ожидать, но вкладывали в эти слова разный смысл. После этого трагического происшествия миссис Форестьер нашла приют на вилле супругов Харди, с которыми она и ее муж познакомились совсем недавно. Капитан Форестьер их недолюбливал, во всяком случае терпеть не мог Фреда Харди, но ей казалось, что если б он не погиб в ту ужасную ночь, то изменил бы свое мнение об этом человеке. Он понял бы, как много в Харди хорошего, несмотря на его репутацию, и, будучи истинным джентльменом, не колеблясь, признал бы, что был неправ. Миссис Форестьер не представляла, как бы ей удалось сохранить рассудок после смерти человека, бывшего для нее всем на свете, если бы не восхитительная сердечность Харди. Их неизменное сочувствие было единственным утешением в ее глубоком горе. Они, можно сказать, видевшие собственными глазами его высокое самопожертвование, знали, как никто другой, каким замечательным человеком был ее муж. Она никогда не сможет забыть тех слов, что сказал ей Фред Харди, сообщая ужасную весть. Именно эти слова помогли ей не только пережить тяжелую утрату, но и взглянуть в лицо своему печальному будущему с таким мужеством, что, несомненно, понравилось бы тому смелому человеку, истинному джентльмену, которого она так любила.

Миссис Форестьер была очень милой женщиной. Обычно так отзываются о женщине добродушные люди, когда им нечего сказать о ней, и это следует понимать как

сдержанную похвалу. Я имею в виду несколько другое. Миссис Форестьер не была ни очаровательной, ни красивой, ни умной: напротив, она была нелепой, невзрачной и глупой; однако чем больше вы узнавали ее, тем больше она вам нравилась, но если спросить почему, вам оставалось лишь повторить, что это очень милая женщина. Ростом и фигурой она походила на мужчину; у нее был широкий рот, крупный с горбинкой нос, светло-голубые подслеповатые глаза и большие, некрасивые руки. Лицо ее было морщинистым и огрубелым, но она сильно красилась, ее длинные волосы были окрашены в золотистый цвет, тщательно завиты и старательно причесаны. Она делала все возможное, чтобы смягчить вызывающую мужеподобность своей внешности, но добивалась лишь сходства с водевильным актером, исполняющим женскую роль. Голос у нее был высокий, но вам постоянно казалось, что, как бывает в конце представления, он вдруг перейдет в глубокий бас, а если снять этот золотистый парик, под ним окажется лысина. Она тратила большие деньги на одежду от самых фешенебельных портных Парижа, однако, несмотря на свои пятьдесят лет, имела нелепое пристрастие выбирать платья, изысканно выглядевшие на стройных манекенщицах в расцвете юности. На ней всегда было много дорогих украшений. Движения ее были неуверенными, а жесты — неловкими. Появляясь в гостиной, где имелась нефритовая статуэтка, она ухитрялась свалить ее на пол; если она обедала с вами, а у вас был сервиз, которым вы дорожили, она непременно разбивала что-нибудь в мельчайшие осколки.

Однако эта нескладная внешность скрывала нежную, романтическую и возвышенную душу. Требовалось некоторое время, чтобы понять это, потому что сперва эта женщина казалась вам смешной, потом, когда вы узнавали ее получше (и страдали от ее неуклюжести), она раздражала вас, но когда вы постигали ее душу, то удивлялись, что не поняли ее с самого начала, в тот миг, когда она взглянула на вас светло-голубыми близорукими глазами несколько застенчиво, но с таким чистосердечием, не заметить которое мог только глупец. Эти изысканные муслины и органди весенних расцветок, эти яркие шелка покрывали не ее нескладное тело, а свежий девичий дух. Вы забывали, что она разбила ваш фарфор и похожа на мужчину в женском платье, вы видели ее такой, какой видела она себя сама, какой!

несомненно, была бы в действительности, будь видна ее подлинная сущность, — славной крошкой с золотым сердцем. Узнав ее, вы понимали, что она проста, как ребенок; за малейшее внимание к себе она бывала трогательно признательна; собственная ее доброта была беспредельной, к ней можно было обратиться с любой просьбой, даже самой обременительной, и она исполняла ее так охотно, словно вы оказывали ей услугу, дав возможность постараться для вас. У нее был редкий дар бескорыстной привязанности. Вы понимали, что ни единая недобрая или коварная мысль не мелькала в ее голове. И, признав все это, вы снова повторяли, что миссис Форестьер очень милая женщина.

К сожалению, она была еще и круглой душой. Это вы понимали, когда познакомились с ее мужем. Капитан Форестьер был англичанином, а миссис Форестьер — американкой. Родилась она в Портленде, штат Орегон, и не бывала в Европе до 1914 года, пока не началась война. Поскольку ее первый муж недавно скончался, она стала медицинской сестрой и отправилась во Францию. По американским понятиям она была не очень богата, но по нашим, английским, — купалась в роскоши. Судя по образу жизни, какой вели Форестьеры, ее годовой доход составлял около тридцати тысяч долларов. Она, я уверен, была замечательной медсестрой, если не считать того, что непременно путала лекарства, накладывала повязки так, что они были хуже чем просто бесполезны, и ломала всякую утварь, какую можно было сломать. Думаю, что она не брезговала никакой работой и без колебания бралась за все; вне всякого сомнения, на работе она не щадила себя и ни разу не теряла самообладания; мне кажется, немало бедняг имело причины благословлять нежность ее сердца, и, возможно, кое-кому из них доброта ее золотой души придавала мужества перед последним, мучительным шагом в неизвестность. Случилось так, что капитан Форестьер в последний год войны попал под ее попечение, и вскоре после заключения мира они поженились. Поселились они в прекрасной вилле на холмах близ Канна и вскоре стали заметными людьми в светских кругах Ривьеры. Капитан Форестьер хорошо играл в бридж и увлекался гольфом. Кроме того, он был неплохим теннисистом. У него имелась парусная яхта, в летнее время они с женой приглашали на нее гостей и устраивали прогулки между островами. После семнадцати лет совместной

жизни миссис Форестьер по-прежнему обожала своего красавца мужа, и тем, кто давно знал ее, непременно приходилось выслушивать всю историю их отношений.

— Это была любовь с первого взгляда, — растягивая слова на орегонский манер, рассказывала она. — Его привезли не в мое дежурство, и, заступив, я увидела его на одной из своих коек — о, я ощутила такую боль в сердце, мне даже показалось, что я слишком много работала и перенапряглась. В жизни я не встречала такого красивого мужчины.

— Тяжело он был ранен?

— Собственно говоря, ранен он не был. Знаете, это в высшей степени удивительный случай, он прошел всю войну, иной раз месяцами находился под огнем и, конечно же, двадцать раз на дню рисковал жизнью, он из тех людей, которые просто не знают, что такое страх; но он не получил ни царапины. У него были карбункулы.

С этого неромантичного заболевания и началось страстное чувство. Миссис Форестьер была несколько застенчива, и хотя карбункулы капитана Форестьера весьма занимали ее, ей всякий раз было трудно объяснить, где они находились.

— Они были в самом низу спины, даже еще ниже, и ему было неприятно, что мне приходилось их перевязывать. Англичане удивительно скромны, я не раз замечала, и его это мучило ужасно. Можно было подумать, что эти условия, вы понимаете, о чем я говорю, придадут нашим отношениям интимности. Но почему-то этого не получалось. Он был очень неприветлив. Когда во время обхода я подходила к его койке, у меня перехватывало дыхание и так начинало биться сердце, что я даже не могла понять, что со мной. Обычно я не такая уж неуклюжая, я ничего не роняю и не разбиваю, но, поверите ли, когда я давала Роберту лекарство, то роняла ложку или разбивала стакан, — воображаю, что он должен был думать обо мне.

Когда миссис Форестьер рассказывала об этом, было почти невозможно удержаться от смеха. Она мягко улыбалась.

— Видимо, для вас это звучит странно, но, понимаете, я никогда не испытывала ничего подобного. Когда я вышла за первого мужа — он был вдовец, имевший взрослых детей, но прекрасный человек и один из самых видных граждан штата, — это было совсем не то.

— И как же вы поняли наконец, что влюблены в капитана Форестьера?

— Знаете, я не прошу вас верить, так как понимаю, что звучит это смешно, но мне сказала об этом одна из сестер, и, конечно же, я сразу поняла, что это правда. Сперва я ужасно переживала. Понимаете, я ничего не знала о нем. Как все англичане, он был очень неразговорчив, могло оказаться, что у него уже есть жена и с полдюжины детей.

— Как же вы узнали, что он холост?

— Я спросила его. Узнав, что он не женат, я тут же решила, что всеми правдами и неправдами выйду за него замуж. Он очень страдал, бедняжка; представляете, ему почти все время приходилось лежать вниз лицом, лечь на спину для него было пыткой, а чтобы сесть, так он и подумать об этом не мог. Но мне не верится, что его мучения были тяжелее моих. Мужчинам нравятся облегающие шелка и всякие пышные штучки, вы понимаете, что я имею в виду, а я из-за униформы медсестры была в очень невыгодном положении. Старшая сестра, типичная старая дева из Новой Англии, терпеть не могла косметики, да и все равно в те времена косметикой я не пользовалась: мой первый муж не любил этого; и волосы мои были не так хороши, как сейчас. Бывало, он глядел на меня своими чудесными голубыми глазами, и мне казалось, что он, должно быть, думает, какая я некрасивая. Он был очень подавлен, и я считала своим долгом делать все возможное, чтобы подбодрить его; едва у меня выдавалось несколько свободных минут, я шла к нему. Ему была невыносима мысль, что он, сильный, крепкий парень, лежит в постели неделю за неделей, когда все его друзья в окопах. Говоря с ним, нельзя было не понять, что радость жизни он сильнее всего ощущает, когда вокруг свищут пули и следующий миг может оказаться последним. Опасность была для него стимулятором. Не стану скрывать от вас, что, отмечая в истории болезни его температуру, я прибавляла несколько десятых, и врачи считали, что ему немного хуже, чем было на самом деле. Я знала о его стремлении поскорее выписаться и считала, что будет вполне справедливо не допускать этого. Во время наших разговоров он задумчиво глядел на меня, и я знала, что он всегда ждет возможности поболтать со мной. Я сообщила ему, что недавно овдовела, ни от кого не завишу

и после войны собираюсь остаться в Европе. Постепенно он стал ко мне привыкать. О себе он говорил не много, но стал подшучивать надо мной, знаете, у него великолепное чувство юмора, и мне временами начинало казаться, что я все же нравлюсь ему. Наконец стало известно, что его выписывают. К моему удивлению, в последний вечер он пригласил меня поужинать. Мне удалось отпроситься у старшей сестры, и мы отправились в Париж. Вы не можете представить, как он был красив в военной форме. Я никогда не встречала столь изысканного человека. Аристократа до кончиков ногтей. Но почему-то он был не в таком хорошем настроении, как я ожидала. Ему не терпелось вернуться на фронт.

«Почему вы сегодня такой понурый? — спросила я его. — Ведь ваше желание наконец исполняется».

«Знаю, — ответил он. — И если, несмотря на это, мне сегодня немного грустно, вы разве не догадываетесь почему?»

Я просто не смела вдуматься в смысл его слов и решила отшутиться.

«Я не очень догадлива, — ответила я со смехом. — Если хотите, чтоб я знала, скажите сами».

Он опустил взгляд, и я заметила, что он нервничает.

«Вы были очень добры ко мне, — сказал он. — Я никогда не смогу отблагодарить вас за вашу сердечность. Такой замечательной женщины, как вы, я еще не встречал».

Его слова прямо-таки потрясли меня. Вы знаете, какие англичане странные: раньше он никогда не говорил мне комплиментов.

«Я делала лишь то, что на моем месте сделала бы любая медсестра», — ответила я.

«Увижу ли я вас еще?» — спросил он.

«Это зависит от вас», — сказала я. Надеюсь, он не заметил дрожи в моем голосе.

«Мне очень не хочется расставаться с вами», — сказал он.

Я едва не лишилась дара речи.

«А это необходимо?»

«Пока мой король и моя страна нуждаются во мне, я в их распоряжении».

Когда миссис Форестьер доходила до этого места, ее светло-голубые глаза наполнялись слезами.

«Но война не будет длиться вечно», — сказала я.

«Когда война кончится, — сказал он, — если только пуля не оборвет мою жизнь, у меня не будет ни гроша. Я не знаю, как буду сводить концы с концами. Вы очень богаты, я нищий».

«Вы английский джентльмен», — сказала я.

«Какое это имеет значение, если мир был создан для демократии?»¹ — с горечью ответил он.

Я чуть не расплакалась. Все, что он говорил, было так прекрасно. Конечно, я понимала, что он имеет в виду. Он считал, что просить моей руки будет неблагородно. Я знаю, что он скорей бы умер, чем позволил предположить, что ему нужны мои деньги. Он был прекрасным человеком. Я знала, что недостойна его, но, раз он был мне нужен, надо было набраться решимости и действовать.

«Нет смысла притворяться, будто я не без ума от вас, потому что это так», — сказала я.

«Не надо, мне и без того тяжело», — хрипло произнес он.

Я думала, что умру. Я так любила его, когда он сказал это. Теперь я знала все, что мне было нужно. Я протянула ему руку.

«Женитесь вы на мне, Роберт?» — спросила я очень просто.

«Элеонора», — ответил он.

И тут рассказал, что увлекся мною с первого же дня. Сперва он отнесся к этому несерьезно, он думал, что я обыкновенная медсестра, и собирался завести со мной роман, но потом, узнав, что я женщина не такого типа и располагаю кое-какими деньгами, решил, что должен подавить свою любовь. Понимаете, он считал, что о нашем браке не может быть и речи.

Очевидно, Элеоноре больше всего льстила мысль, что капитан Форестьер намеревался завести с нею интрижку. Наверняка ей никто не делал «гнусных» предложений, и хотя Форестьер не делал их тоже, сознание, что он питал такую мысль, было для нее неиссякаемым источником удовлетворения. Когда они поженились, родственники Элеоноры, практичные люди с Запада, сочли, что мужу надо работать, а не жить на ее средства, и капитан Форестьер был полностью с этим согласен. Единственной его оговоркой было следующее:

¹ «Мир создан для демократии» — слова американского президента В. Вильсона.

— Элеонора, есть вещи, за которые джентльмен браться не должен. Все прочее я буду делать с радостью. Видит Бог, я не придаю значения этим пустякам, но сахиб всегда остается сахибом, и у каждого, черт побери, есть долг перед своим классом, особенно в наше время.

По мнению Элеоноры, было вполне достаточно и того, что ради своей страны он в течение четырех долгих лет рисковал жизнью в кровопролитных боях, но она слишком гордилась им, чтобы позволить кому-то говорить, будто он женился на ней ради денег, и решила не возражать, если он подыщет себе что-нибудь стоящее. К сожалению, представлявшаяся работа всегда оказывалась не особенно подходящей. Но он никогда не отказывался от нее сам.

— Решай ты, Элеонора, — говорил он. — Стоит тебе сказать слово, и я возьмусь за нее. Мой бедный старый отец перевернулся бы в гробу, увидев меня за этим занятием, но тут уж ничего не поделаешь. Мой долг перед тобой выше всего.

Элеонора не хотела и слышать об этом, и постепенно вопрос о его работе отпал. Большую часть года они жили в своей вилле на Ривьере. В Англии бывали редко; Роберт говорил, что после войны это не место для джентльмена и что все хорошие ребята, настоящие белые люди, с которыми он общался, когда сам был «одним из этих парней», погибли на фронте. Ему хотелось бы проводить зимы в Англии, по три дня в неделю бывать на охоте, это подходящая жизнь для мужчины, но бедная Элеонора, ей все это будет так скучно, он не может просить ее о такой жертве. Элеонора была готова на любую жертву, но капитан Форестьер качал головой. Он уже не так молод, и его охотничьи дни позади. Теперь он довольствовался тем, что разводил породистых собак и кур. Земли у них было много; дом стоял на вершине холма, на плато, с трех сторон его окружал лес, а перед домом был сад. Элеонора говорила, что более всего он бывал счастлив, когда в старом твидовом пиджаке бродил по своим владениям с псарем, заодно приглядывавшим за цыплятами. Именно тогда в нем были видны все предшествующие поколения деревенских сквайров. Элеонору трогали и занимали его долгие беседы с псарем о породах кур; казалось, он говорит о фазанах со своим старшим лесничим; о собаках он заботился словно о стае гончих, и невольно казалось, что он свыкся с гончими еще в юные годы. Прадед капитана

Форестьера был одним из самых известных повес времен Регентства. Он разорил семью, и все поместья пришлось продать. У них было чудесное старое имение в Шропшире, принадлежавшее им в течение нескольких веков, и, хотя оно уже было чужим, Элеоноре хотелось там побывать; однако капитан Форестьер сказал, что ему это будет мучительно и он ни за что туда не поедет.

Они часто принимали гостей. Капитан Форестьер был знатоком вин и гордился своим погребом.

— Отец Роберта, — говорила Элеонора, — славился в Англии своим тонким вкусом, и Роберт унаследовал его.

Друзьями их были главным образом американцы, французы и русские. Роберт находил их в целом более интересными, чем англичан, а Элеоноре нравилось все, что нравилось ему. Роберт считал, что англичане сейчас находятся не на должной высоте. Большинство тех, кого он знал в прежние времена, были членами стрелковых, охотничьих и рыболовных клубов; они, бедняги, теперь все разорились, и, хотя он, слава богу, не сноб, ему не хотелось бы, чтобы его жена общалась с какими-то выскочками. Миссис Форестьер была отнюдь не столь разборчивой, но она уважала его предрассудки и восхищалась его исключительностью.

— Конечно, у Роберта есть свои причуды и капризы, — говорила она, — но, мне кажется, я обязана считаться с ними. Зная, из какой среды он вышел, нельзя не видеть, как они для него естественны. За все годы нашей совместной жизни я лишь однажды видела его в раздражении, когда в казино ко мне подошел платный танцор и пригласил на танец. Роберт чуть не избил его. Я сказала, что бедняга выполнял свою работу, но он ответил, что не позволит этой грязной свинье приглашать свою жену.

У капитана Форестьера были высокие моральные нормы. Он благодарил Бога за то, что лишен предрассудков, но должен же существовать какой-то предел; и даже на Ривьере он не желал водить компанию с пьяницами, мотами и повесами. Снисхождения к половой распущенности он не знал и запрещал Элеоноре бывать в обществе женщин сомнительной репутации.

— Понимаете, — говорила Элеонора, — он человек абсолютной порядочности; чистейший человек, какого я только знала; и если иной раз он проявляет нетерпимость, то надо иметь в виду, что он никогда не требует от других

того, к чему не готов сам. В конце концов, нельзя не восхищаться человеком, если принципы его так высоки и он готов отстаивать их любой ценой.

Когда капитан Форестьер говорил Элеоноре, что такой-то человек, которого все считали приятной личностью, не «пукка сахиб», спорить было бессмысленно. Она знала, что суждение ее мужа окончательно, и была готова безоговорочно с ним согласиться.

После двадцати лет совместной жизни у Элеоноры было, по крайней мере, одно твердое убеждение, и заключалось оно в том, что Роберт Форестьер — совершенный тип английского джентльмена.

— И я не знаю, создавал ли Бог что-нибудь более прекрасное, — говорила она.

Надо сказать, что капитан Форестьер был слишком уж совершенным типом английского джентльмена. В сорок пять лет (Элеонора была на два или три года старше) он был все еще красивым мужчиной с волнистыми, обильно тронутыми сединой волосами и франтоватыми усиками; у него была обветренная, здоровая загорелая кожа человека, много бывающего на свежем воздухе. Он был высоким, худощавым, широкоплечим и с головы до пят выглядел солдатом. Держался он просто и открыто, смех его был громким и откровенным. В разговоре, в манерах, в одежде он был настолько типичен, что в это почти не верилось. Он был до такой степени сквайром, что это наводило на мысль об актере, превосходно исполняющем свою роль. Прогуливаясь по набережной Круазетт с трубкой в зубах, в брюках гольф и твидовом пиджаке, он так походил на английского спортсмена, что это было просто поразительно. И его разговор, банальная легковесность суждений, его очаровательная учтивая тупость были так характерны для отставного офицера, что невольно приходило на ум, будто он играет роль.

Когда Элеонора узнала, что дом у подножия их холма снял сэр Фредерик Харди, она очень обрадовалась. Роберту будет приятно иметь по соседству людей своего класса. Она навела справки у друзей. Оказалось, что сэр Фредерик после недавней смерти своего дяди стал баронетом и решил провести на Ривьере два или три года, пока не будет выплачен налог на наследство. Ходили слухи, что в молодости он был большим ветреником, но теперь ему было уже за

пятьдесят, у него была жена, очень славная женщина, и двое маленьких сыновей. К сожалению, леди Харди когда-то играла на сцене, а Роберт относился к актрисам несколько предубежденно, но все говорили, что у нее безупречные манеры и что догадаться о ее бывшей профессии невозможно. Форестьеры познакомились с ней на чаепитии, куда сэр Фредерик не пошел, и Роберт признал, что она производит очень приятное впечатление; Элеонора, желая сойтись с ними поближе, пригласила их обоих на ленч. Назначили день. Форестьеры пригласили много людей для знакомства с ними, и Харди поэтому немного задержались. Элеонора, увидев сэра Фредерика, сразу же ощутила к нему симпатию. Выглядел он моложе, чем она ожидала, на его коротко стриженной голове не было ни единого седого волоса; в его облике было что-то мальчишеское, и это делало его довольно привлекательным. Он был худощав, чуть пониже ее ростом; у него были яркие, дружелюбные глаза и живая улыбка. Она заметила на нем такой же гвардейский галстук, какой иногда надевал Роберт; одет он был похуже Роберта, словно только что сошедшего с витрины, но держался так, словно не придавал своему костюму никакого значения. Элеонора вполне могла поверить, что в молодости он был ветреником, и не собиралась осуждать его за это.

— Я должна представить вам своего мужа, — сказала она.

Она позвала его. Роберт болтал на террасе с кем-то из гостей и не заметил, как пришли Харди. Вошел он с приветливой, сердечной улыбкой и с грацией, всегда восхищавшей Элеонору, пожал руку гостю. Затем повернулся к сэру Фредерику. Тот недоуменно взглянул на него.

— Мы не встречались раньше?

Роберт ответил ему равнодушным взглядом.

— По-моему, нет.

— Готов поклясться, что ваше лицо мне знакомо.

Элеонора почувствовала, что ее муж насторожился, и сразу же поняла, что здесь что-то неладно. Роберт рассмеялся.

— Это может показаться невежливым, но я уверен, что ни разу в жизни не видел вас. Возможно, мы случайно встречались на фронте. Тогда было много таких встреч, не правда ли? Леди Харди, позвольте предложить вам коктейль.

Элеонора заметила, что во время ленча Харди все время глядел на Роберта. Видимо, старался припомнить его. Роберт оживленно беседовал с дамами по другую сторону стола и не замечал его взглядов. Он старался развлечь гостей, и смех его раздавался на всю комнату. Хозяином он был прекрасным. Элеонора постоянно восхищалась его чувством общественного долга: как бы ни были скучны женщины, рядом с которыми он сидел, Роберт изо всех сил старался развлечь их. Но когда гости разошлись, веселость спала с Роберта, как мантия с плеч. Она почувствовала, что он чем-то недоволен.

— Принцесса была очень скучной? — дружелюбно спросила она.

— Это старая злая кошка, но сегодня она была сносной.

— Странно, что сэр Фредерик принял тебя за знакомого.

— Я не видел его ни разу в жизни, но знаю о нем все. На твоём месте, Элеонора, я общался бы с ним как можно меньше. По-моему, он не совсем нашего круга.

— Но ведь его род один из старейших в Англии. Мы смотрели в справочнике «Кто есть кто».

— Он бесчестный негодяй. Кто бы мог подумать, что капитан Харди... Фред Харди, — поправился Роберт, — о котором мне приходилось слышать, теперь уже сэр Фредерик. Я ни за что не позволил бы тебе пригласить его в мой дом.

— Почему, Роберт? Надо сказать, я нашла его очень привлекательным.

Элеоноре показалось, что на этот раз ее муж хватил через край.

— Многие женщины находили его привлекательным, и это им дорого обошлось.

— Ты же знаешь, какие люди сплетники. Нельзя верить всему, что болтают.

Роберт взял ее за руку и проникновенно взглянул в глаза.

— Элеонора, тебе ли не знать, что я не из тех, кто злословит о человеке за его спиной. Я не стану рассказывать того, что знаю о Харди; прошу лишь, поверь, что с ним не стоит поддерживать отношения.

Это был призыв, и не откликнуться на него Элеонора не могла. Такое доверие восхищало ее; он знал, что в реши-

тельную минуту ему нужно только воззвать к ее преданности, и она его не подведет.

— Роберт, — торжественно сказала она, — никто лучше меня не знает о твоей безупречной порядочности; я знаю, ты рассказал бы мне все, если б мог, но теперь, даже если и захочешь, я не позволю; получится, будто я доверяю тебе меньше, чем ты мне. Твое мнение для меня свято. Обещаю, что ноги их больше не будет в нашем доме.

Но когда Роберт играл в гольф, Элеонора часто заставляла где-нибудь одна и нередко встречала супругов Харди. С сэром Фредериком она держалась очень холодно, считая, что раз Роберт относится к нему неприязненно, она должна тоже; но сэр Фредерик или не замечал этого, или ему было все равно. Он был по-прежнему любезен, и она решила, что с ним очень легко ладить. Трудно было недолюбливать человека, откровенно считавшего, что все женщины оставляют желать лучшего, однако столь любезного и с такими восхитительными манерами. Возможно, он был не тем человеком, с кем стоило поддерживать отношения, но ей невольно нравился взгляд его карих глаз. Это был насмешливый взгляд, он заставлял настораживаться, и в то же время такой мягкий, что нельзя было заподозрить ничего недоброго. Но чем больше Элеонора слышала о нем, тем больше понимала, как прав был Роберт. Это был беспринципный повеса. Упоминались имена женщин, пожертвовавших ради него всем и бесцеремонно отвергнутых, едва они ему наскучили. Теперь, казалось, он остепенился и был привязан к жене и детям, но может ли леопард избавиться от своих пятен? Возможно, леди Харди приходилось сносить гораздо больше, чем кто-либо подозревал.

Фред Харди был безнравственным человеком. Красивые женщины, игра в карты и злосчастное свойство ставить не на ту лошадь привели его в суд по делам о несостоятельности, когда ему было двадцать пять лет, и это вынудило его подать в отставку. Потом он жил на содержании у очарованных им женщин не первой молодости и не видел в том ничего зазорного. Но когда началась война, он снова вступил в свой полк и был награжден орденом «За безупречную службу». Потом отправился в Кению, где ухитрился стать соответчиком в нашумевшем деле о разводе; Кению он покинул из-за каких-то осложнений с чеком. Его представления о честности были неопределенны. Покупать у него

машину или лошадь было рискованно, а от шампанского, которое он радушно рекомендовал вам, лучше всего было отказаться. Когда он со всем своим обаянием настойчиво предлагал вам соучастие в спекуляции, которая принесет состояние обоим, можно было не сомневаться, что, сколько бы ни получил от нее он, вы не получите ничего. Он был поочередно торговцем автомобилями, маклером, комиссионером и актером. Если бы в мире существовала какая-то справедливость, он должен был бы кончить если не тюрьмой, то трущобой. Но капризной волею судьбы унаследовав наконец баронетство и соответствующий доход, женившись далеко за сорок на красивой и умной женщине, родившей ему в свой срок двух здоровых, хорошеньких мальчишек, он приобрел богатство, положение в обществе и респектабельность. К жизни он всегда относился так же легкомысленно, как к женщинам, и жизнь была ласкова с ним, как женщина. О своем прошлом он вспоминал с удовлетворением; он неплохо пожил, превратности судьбы его только забавляли; и теперь, в добром здравии и с чистой совестью, он собирался стать сквайром, черт возьми, воспитать детей по всем правилам, а когда старый хрыч, представляющий в парламенте его избирательный округ, сыграет в ящик, сам, черт возьми, стать членом парламента.

— Я мог бы рассказать там кое-что, чего они не знают, — говорил он.

Возможно, он был прав, но ему не приходило в голову, что, скорей всего, «они» вовсе не желают этого знать.

Однажды под вечер Фред Харди зашел в бар на Круазетт. Он был общительным человеком и не любил пить в одиночестве, поэтому огляделся, нет ли кого из знакомых. На глаза ему попался Роберт, поджидавший после гольфа Элеонору.

— Эй, Боб, может, пропустим по стаканчику?

Роберт вздрогнул. На Ривьере никто не называл его Бобом. Увидев, кто это, он холодно ответил:

— Благодарю, я уже выпил.

— Давай еще. Моя старуха не одобряет выпивок перед обедом, но если мне удастся вырваться, то примерно в это время я заглядываю сюда. Не знаю, как считаешь ты, но, по-моему, Господь Бог создал вечер для того, чтобы мужчина мог промочить горло.

Он плюхнулся в большое кожаное кресло рядом с Робертом, позвал официанта, потом добродушно улыбнулся.

— Много воды протекло под мостами с первой нашей встречи, не так ли, старина.

Роберт, слегка нахмурясь, бросил на него взгляд, который сторонний наблюдатель мог бы назвать настороженным.

— Не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Насколько я помню, впервые мы встретились три или четыре недели назад, когда вы и ваша супруга были столь любезны, что пришли к нам на ленч.

— Да брось ты, Боб. Я догадался, что встречал тебя раньше. Поначалу ломал себе голову, а потом вдруг вспомнил. Ты был мойщиком в гараже на Брутон-стрит, где я держал машину.

Капитан Форестьер добродушно рассмеялся.

— Прошу прощения, но вы ошибаетесь. В жизни не слышал ничего более смехотворного.

— У меня чертовски хорошая память, особенно на лица. Держу пари, что ты тоже помнишь меня. Немало полукрон перепало тебе за то, что ты отгонял в гараж мою машину, когда мне не хотелось возиться самому.

— Вы говорите полнейшую чепуху. Я ни разу не встречал вас, пока вы не появились в моем доме.

Харди весело усмехнулся.

— Знаешь, я давно увлекаюсь фотографией, и у меня есть несколько альбомов со снимками. Тебе, наверно, приятно будет узнать, что я обнаружил снимок, где ты стоишь у только что купленной мною двухместной машины. Чертовски симпатичным парнем был ты в те дни, хотя там на тебе комбинезон и лицо не особенно чистое. Конечно, сейчас ты возмужал, волосы поседели, появились усики, но это тот самый парень. Вне всяких сомнений.

Капитан Форестьер холодно поглядел на него.

— Должно быть, вас ввело в заблуждение случайное сходство. Свои полукроны вы давали кому-то другому.

— Ладно, где, в таком случае, ты был между девятьсот тринадцатым и девятьсот четырнадцатым?

— В Индии.

— Со своим полком? — снова усмехнулся Харди.

— Я охотился.

— Врешь.

Роберт густо покраснел.

— Здесь не место для ссоры, но если вы думаете, что я стану терпеть оскорбления от пьяной свиньи вроде вас, то ошибаетесь.

— Хочешь знать, что еще мне известно о тебе? Если уж начнешь вспоминать, то вспоминается многое.

— Меня это ничуть не интересует. Говорю вам, что вы глубоко ошибаетесь. Вы меня с кем-то путаете.

Но попытки уйти он не сделал.

— Ты был бездельником даже в те дни. Помню, однажды я собирался за город рано утром и велел тебе приготовить машину к девяти, а она оказалась не готова, я поднял шум, и старик Томпсон сказал тогда мне, что твой отец был его приятелем, и он взял тебя на работу из милости, потому что ты дошел до ручки. Твой отец был буфетчиком в одном из клубов, не помню в каком, и ты сам был там на побегушках. Если мне не изменяет память, ты завербовался потом в Колдстримский гвардейский полк, какой-то малый выкупил тебя оттуда и сделал слугой.

— Слишком уж фантастично, — с презрением сказал Роберт.

— Помню, когда я был в отпуске и заглянул в гараж, старый Томпсон сказал мне, что ты зачислился в службу снабжения. Рисковать тебе не очень-то хотелось, так ведь? Рассказы о твоей доблести в окопах чуточку преувеличены, а? Офицерское звание, надеюсь, ты все же получил, или это тоже выдумки?

— Разумеется, получил.

— Что ж, в те дни много случайных людей становились офицерами, но знаешь, старик, если это было в тыловой службе, я на твоём месте не носил бы гвардейский галстук.

Капитан Форестьер машинально коснулся галстука, и Фред Харди, насмешливо глядевший на него, ясно увидел, что, несмотря на загар, он побледнел.

— Не ваше дело, какой галстук я ношу.

— Не злись, старина. Ни к чему становиться на дыбы. Я кое-что о тебе знаю, но выдавать тебя не собираюсь, так почему не выложить все начистоту?

— Выкладывать мне нечего. Говорю вам, это нелепая ошибка. И должен заявить, что, если вы будете распро-

странять эти лживые рассказы, я подам на вас в суд за клевету.

— Брось ты, Боб. Я ничего не собираюсь распространять. Зачем это мне? По-моему, вся эта история довольно забавна. Я ничего против тебя не имею. Я и сам пускался в авантюры, а тобой просто восхищаюсь за такой изумительный блеф. Начал мальчиком на побегушках, потом был солдатом, слугой, мойщиком, а теперь ты блестящий джентльмен, у тебя роскошный дом, ты принимаешь у себя всех тузов Ривьеры, побеждаешь на турнирах по гольфу, ты вице-президент яхт-клуба и не знаю кто там еще. Бесспорно, здесь ты видный человек. Это изумительно. В свое время я тоже совершал довольно сомнительные поступки, но твоя смелость... старик, я снимаю перед тобой шляпу.

— К сожалению, я не заслуживаю ваших комплиментов. Мой отец служил в индийской кавалерии, и, уж во всяком случае, родился я джентльменом. Возможно, я не сделал блестящей карьеры, но стыдиться мне решительно нечего.

— Да ладно тебе, Боб. Ты же понимаешь, я не проболтаюсь даже своей старухе. Я не рассказываю женщинам того, чего они еще не знают. Поверь, я попадал бы в еще худшие передраги, чем бывало, если б не завел себе такого правила. Мне казалось, ты будешь рад иметь поблизости человека, с которым можно бывать самим собой. Глупо с твоей стороны держать меня на расстоянии. Старик, я ничего не имею против тебя. Правда, теперь я баронет и землевладелец, но в свое время не раз попадал в переплет и просто удивляюсь, как не угодил в тюрьму.

— Этому удивляются многие.

Фред Харди разразился хохотом.

— Здорово ты поддел меня, старина. Кстати, не обижайся, но ты слишком уж хватил, заявив супруге, что я не тот человек, с кем стоит поддерживать отношения.

— Я не говорил ничего подобного.

— Говорил, чего там. Она великолепная старушка, но слегка болтлива. Или я ошибаюсь?

— Я не намерен говорить о своей жене с человеком вроде вас, — холодно сказал капитан Форестьер.

— Да не корчи ты со мной джентльмена, Боб. Мы с тобой пара бездельников, вот и все. Можно было б иной раз недурно провести вдвоем время, будь у тебя побольше здравого смысла. Ты лжец, мошенник и самозванец, но ты

очень порядочен по отношению к своей жене, и это делает тебе честь. Она, видимо, души в тебе не чает. Странная это штука — женское сердце. Она очень милая женщина, Боб.

Лицо Роберта побагровело, он сжал кулак и приподнялся.

— Прекратите говорить о моей жене, черт возьми! Если вы еще заикнетесь о ней, я изобью вас.

— Не может быть. Ты слишком джентльмен, чтобы ударить человека слабее себя.

Харди произнес эти слова насмешливо, не спуская с Роберта глаз, готовый увернуться, если громадный кулак устремится к нему, и был поражен результатом. Роберт опустил на стул и разжал руку.

— Вы правы. Но только подлая тварь может пользоваться этим.

Ответ прозвучал так театрально, что Фред Харди рассмеялся, но потом увидел, что Роберт это всерьез. Без всякой нарочитости. Фред Харди был неглуп; он не прожил бы двадцать пять лет на сомнительные доходы, если б ему не хватало сообразительности. И теперь, глядя в изумлении на крупного, сильного человека, так похожего на типичного английского спортсмена, он внезапно понял все. Этот человек не был заурядным мошенником, женившимся на богатой дуре, чтобы жить в роскоши и праздности. Она была лишь средством для достижения более крупной цели. Его манил некий идеал, и в стремлении к нему он не останавливался ни перед чем. Возможно, мысль эта зародилась у него, когда он был еще мальчиком на побегушках в фешенебельном клубе; его члены с их ленивой непринужденностью, небрежными манерами, должно быть, поразили его воображение; и позднее, будучи солдатом, слугой, мойщиком, он встречал многих людей, принадлежавших к другому миру, видел в них чуть ли не полубогов и проникался восхищением и завистью. Ему хотелось быть таким, как они. Ему хотелось быть одним из них. Это и был идеал, тревоживший его сны. Он мечтал — это было достойно смеха и жалости, — он мечтал стать джентльменом. Война и полученное там офицерское звание дали ему такую возможность. Деньги Элеоноры помогли ее реализовать. Этот несчастный прожил двадцать лет, изображая то, что ценится только своей подлинностью. Это было тоже достойно смеха и жалости. Фред Харди невольно высказал мысль, пришедшую ему на ум.

— Бедняга, — сорвалось у него.

Форестьер бросил на собеседника острый взгляд. Он не понимал, какое отношение это слово и этот тон могут иметь к нему. Лицо его вспыхнуло.

— Что вы имеете в виду?

— Ничего. Ничего.

— По-моему, нет смысла продолжать этот разговор. Очевидно, я не сумею убедить вас, что во всей этой истории нет ни слова правды. Я не тот, за кого вы меня принимаете.

— Ладно, старина, будь по-твоему.

Форестьер подозвал официанта.

— Заплатить за вас? — спросил он ледяным тоном.

— Да, старина.

Форестьер с величественным видом подал официанту деньги, сдачу велел оставить себе, потом, не сказав ни слова и не взглянув на Харди, вышел из бара.

Больше они не встречались до той ночи, когда Роберт Форестьер погиб.

Зима сменилась весной, и сады Ривьеры покрылись яркой зеленью. Склоны холмов запестрели дикими цветами. Весна сменилась летом. Улицы в прибрежных городах были залиты жгучей, слепящей жарой, заставляющей кровь бежать быстрее; женщины разгуливали в пижамах и соломенных шляпах. Пляжи были переполнены. Мужчины в купальных трусах и почти обнаженные женщины подставляли тела солнцу. Вечерами бары на Круазетт заполняла неутомонная, шумная толпа, пестрая, как весенние цветы. Дождя не было несколько недель. То тут, то там возникали лесные пожары, и Роберт Форестьер беспечно замечал, что, если загорится лес возле их дома, им придется туго. Кое-кто советовал ему вырубить часть деревьев, но он не хотел и слышать об этом: когда Форестьеры купили дом, деревья были в запустении, но теперь, после вырубки сухих стволов и уничтожения вредителей, они прекрасно разрослись.

— Да ведь срубить одно из них — это все равно что отсечь себе ногу. Большинству там, должно быть, не менее ста лет.

Четырнадцатого июля Форестьеры отправились на праздничный обед в Монте-Карло, а весь штат прислуги отпустили в Канн. Был национальный праздник, устраивались танцы под платанами, фейерверки, и люди отовсюду ехали туда повеселиться. Харди тоже отпустили своих слуг, но

сами остались дома и уложили детей в постель. Фред раскладывал пасьянс, а леди Харди возилась с чехлом для кресла. Вдруг раздался звонок и громкий стук в дверь.

— Кто там, черт возьми?

Харди отворил дверь и обнаружил мальчишку, сообщившего, что в лесу Форестьеров вспыхнул пожар. Несколько человек из деревни уже там и сражаются с огнем, но им нужна помощь. Не пойдет ли он туда?

— Конечно, пойду. — Харди поспешил к жене и сказал ей о случившемся. — Разбуди детей, пусть посмотрят. Черт возьми, после такой засухи там будет настоящий ад.

Он выбежал из дома. Посыльный сказал ему, что уже позвонили в полицию и там обещали прислать солдат. Пытаются связаться с Монте-Карло и вызвать капитана Форестьера.

— Раньше чем через час ему не вернуться, — сказал Харди.

На бегу они видели зарево над холмом, а добравшись до вершины, увидели и языки пламени. Воды не было, оставалось только сбивать их. Несколько человек уже занимались этим. Харди присоединился к ним. Но прежде чем удавалось сбить пламя с куста, соседний начинал потрескивать и мгновенно превращался в пылающий факел. Жар был нестерпимый, и люди медленно отступали. Дул бриз, с деревьев летели искры. После долгой засухи все было сухим, как трут, и едва искра попадала на куст, он тут же вспыхивал. Если б не было так жутко, зрелище пылающей, как спичка, громадной шестидесятифутовой пихты вызывало бы благоговейный трепет. Пламя ревело, как в шахтной печи. Лучшим средством остановить его продвижение была бы вырубка кустов и деревьев, но людей не хватало, и топоры были только у двоих или троих. Единственная надежда была на солдат, привыкших управляться с лесными пожарами, но они не появлялись.

— Если они не придут с минуты на минуту, нам не спасти дом, — сказал Харди.

Заметив жену, пришедшую с обоими сыновьями, он помахал им рукой. По его почерневшему от сажи лицу струился пот. Леди Харди подбежала к нему.

— Фред, там собаки и цыплята.

— Черт возьми, да.

Вольеры собак и курятник находились позади дома, и несчастные животные обезумели от ужаса. Харди выпустил их, и они бросились наутек. Оставалось лишь предоставить их пока самим себе. Зарево уже было видно издали. Но солдаты не появлялись, и горстка людей была бессильна против надвигающегося огня.

— Черт возьми, если солдаты теперь же не явятся, дом обречен, — сказал Харди. — Надо, пожалуй, вынести оттуда все, что возможно.

Дом был каменный, но вокруг него шли деревянные веранды, и они вспыхнули бы как щепки. Слуги Форестьеров были уже здесь. Харди с помощью жены и сыновей собрал их; они стали выносить на площадку перед домом все, что можно было вынести: белье, столовое серебро, одежду, безделушки, картины, мебель. Наконец на двух грузовиках прибыли солдаты и принялись методично валить деревья и рыть траншеи. Командовал солдатами офицер, Харди обратил его внимание на то, что дом в опасности, и попросил валить в первую очередь ближайшие деревья.

— Дом не моя забота, — ответил тот. — Я должен предотвратить распространение огня.

Показался свет фар, машина быстро неслась по извилистой дороге, и через несколько минут из нее выскочили Форестьер с женой.

— Где собаки? — крикнул он.

— Я выпустил их, — сказал Харди.

— А, это вы.

В этом грязном человеке с потным, измазанным сажей лицом трудно было узнать Фреда Харди. Форестьер сердито нахмурился.

— Я боялся, что дом загорится, и вынес все, что возможно.

Форестьер поглядел на пылавший лес.

— Да, — сказал он, — моим деревьям пришел конец.

— На склоне холма работают солдаты. Они пытаются спасти соседние владения. Пойдем посмотрим, удастся ли что-нибудь сделать.

— Я пойду сам. Обойдусь без вас, — раздраженно ответил Форестьер.

Вдруг Элеонора пронзительно вскрикнула:

— Смотрите, дом!

Оттуда, где они стояли, было видно, как вспыхнула задняя веранда.

— Ничего, Элеонора. Дом останется цел. Сгорят только деревянные части. Возьми мой пиджак. Я пойду помогу солдатам.

Он снял смокинг и отдал его жене.

— Я тоже иду, — сказал Харди. — Миссис Форестьер, вам лучше пойти к своим вещам. Кажется, все ценное мы вынесли.

— Слава богу, большинство драгоценностей было на мне.

Леди Харди была практичной женщиной.

— Миссис Форестьер, давайте соберем слуг и перенесем к нам все, что можно.

Оба мужчины направились к занятым работой солдатам.

— Вы поступили очень любезно, вынеся из дома вещи, — холодно сказал Роберт.

— Ерунда, — отмахнулся Харди.

Не успев отойти далеко, они услышали, что их кто-то зовет. Они оглянулись и увидели сквозь дым женщину, бегущую за ними.

— Месье, месье!

Они остановились, и женщина, простирая руки, подбежала к ним. Оказалось, это служанка Элеоноры. Она была в отчаянии.

— La petite¹ Джуди. Джуди. Я заперла ее, когда мы уходили. Она сгорит. Я посадила ее в ванную для слуг.

— Господи! — воскликнул Форестьер.

— Что там такое?

— Собачка Элеоноры. Я должен во что бы то ни стало спасти ее.

Он повернулся и бросился к дому. Харди схватил его за руку.

— Не будь дураком, Боб. Дом весь в огне. Соваться туда нельзя.

Форестьер стал вырываться.

— Пустите, черт возьми. Думаете, я допущу, чтобы собачка сгорела заживо?

— Брось. Сейчас не время ломать комедию.

¹ Малютка (фр.).

Форестьер отшвырнул Харди, но тот снова бросился к нему и обхватил поперек туловища. Форестьер изо всех сил ударил Харди по лицу. Харди пошатнулся, и Форестьер ударил еще раз. Харди упал.

— Грязный прохвост. Я покажу тебе, как ведет себя джентльмен.

Фред Харди поднялся и потрогал лицо. Было больно.

— Черт, ну и синячище будет у меня завтра.

Он пошатывался, немного кружилась голова. Служанка внезапно разразилась истерическими рыданиями.

— Заткнись ты, шлюха! — грубо прикрикнул он. — И не смей говорить ни слова своей хозяйке.

Форестьера нигде не было видно. Прошло больше часа, прежде чем удалось его найти. Он лежал на лестничной площадке возле ванной, мертвый, с мертвой собачкой в руках. Харди долго глядел на него.

— Дурак, — гневно процедил он сквозь зубы. — Безмозглый дурак.

Обман, в конце концов, обернулся против него самого. Как человек, предающийся пороку, пока тот не схватит его мертвой хваткой и не превратит в покорного раба, он лгал так долго, что сам поверил в собственную ложь. Боб Форестьер много лет притворялся джентльменом и наконец, забыв, что это фикция, оказался перед необходимостью поступить так, как по соображениям его тупого, косного ума должен поступать джентльмен. Уже не сознавая разницы между подлинным и мнимым, он пожертвовал жизнью во имя ложного героизма. Однако Фреду Харди предстояло сообщить эту вест миссис Форестьер. Она находилась с его женой на их вилле у подножия холма в полной уверенности, что Роберт вместе с солдатами валит деревья и расчищает кустарник. Харди говорил с ней так осторожно, как только мог, но он должен был рассказать ей обо всем. Сперва казалось, что она не может уловить смысл его слов.

— Погиб? — воскликнула она. — Погиб? Мой Роберт?

И тут Фред Харди, распутник, циник, бесчестный негодай, взял ее руки в свои и произнес единственные слова, какие могли помочь ей справиться с горем:

— Миссис Форестьер, он был истинный джентльмен.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

произведений Сомерсета Моэма, включенных в тома 1—9

	Том	Стр.		Том	Стр.
Безволосый мексиканец	9	7	Мэйхью	8	163
Белье мистера Харрингтона	9	44	На государственной службе	9	146
Брак по расчету	9	108	На китайской ширме	5	301
Бремя страстей человеческих	1	33	На окраине империи	8	172
	2	5	Непокоренная	8	386
В львиной шкуре	9	352	Нечто человеческое	9	174
В поисках материала	8	382	Острие бритвы	5	5
Вкусивший нирваны	9	336	Падение Эдварда Барнарда	8	345
Возвращение	8	249	Пирог и пиво, или Скелет в шкафу	4	5
Джейн	8	297	Подводя итоги	7	151
Дождь	8	62	Поэт	8	324
Друзья познаются в беде	8	224	Пустячный случай	8	229
Жиголо и Жиголетта	9	317	Ровно дюжина	8	103
За услуги	7	75	Рождественские каникулы	6	187
За час до фэйфоклока	8	270	Рыжий	8	40
Завтрак	8	258	Сальваторе	8	167
Записка	8	130	Санаторий	9	83
Источник вдохновения	9	282	Стрекоза и муравей	8	254
Корыто	8	329	Сумка с книгами	9	243
Край света	9	211	Театр	4	187
Круг	7	5	Узорный покров	6	5
Луиза	8	263	Человек со шрамом	8	378
Луна и грош	3	185	Человек, у которого была совесть	9	124
Маг	3	5	Чувство приличия	9	166
Макинтош	8	7			
Мираж	8	204			
Мистер Всезнайка	8	338			

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Безволосый мексиканец. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	7
Белье мистера Харрингтона. <i>Перевод И. Гуровой</i>	44
Санаторий. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	83
Брак по расчету. <i>Перевод М. Загота.</i>	108
Человек, у которого была совесть. <i>Перевод О. Холмской.</i> . . .	124
На государственной службе. <i>Перевод А. Васина</i>	146
Чувство приличия. <i>Перевод Норы Галь.</i>	166
Нечто человеческое. <i>Перевод Норы Галь.</i>	174
Край света. <i>Перевод Р. Облонской.</i>	211
Сумка с книгами. <i>Перевод Н. Куняевой</i>	243
Источник вдохновения. <i>Перевод М. Лорие</i>	282
Жиголо и Жиголетта. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	317
Вкусивший нирваны. <i>Перевод И. Гуровой.</i>	336
В львиной шкуре. <i>Перевод Д. Вознякевича</i>	352
<i>Алфавитный указатель.</i>	375

СОМЕРСЕТ МОЭМ

*Собрание сочинений
в 9 томах*

Том 9

Редактор *И. Кущин*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Т. Фатюхина*

ЛР № 071673 от 01.06.98 г. Изд. № 0101171. Подписано в печать 13.10.00 г.
Гарнитура Таймс. Формат 84×108¹/₃₂. Печать высокая. Усл. печ. л. 19,74.
Уч.-изд. л. 21,48. Заказ № 3480.

ТЕРРА—Книжный клуб. 113093, Москва, ул. Шипок, 2.

Оригинал-макет подготовлен ООО «Галатея».

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

